Библиотека Всемирной Литературы



Федор Абрамов

Деревянные кони
Повести. Рассказы



Деревянные кони. Повести. Рассказы

Федор Александрович Абрамов

Аннотация
Абрамов Ф. Деревянные кони. Повести. Рассказы
Предисловие
Повести
- Деревянные кони
- Пелагея
- Безотцовщина
- Поездка в прошлое
- Мамониха

Рассказы
- В Питер за сарафаном
- Сосновые дети
- Старухи
- О чем плачут лошади
- Золотые руки
- Из колена аввакумова
- Слон голубоглазый
- Самая счастливая
- А война еще не кончилась
- Бабилей
- Куст рукотворный

Жарким летом
Есть, есть такое лекарство!
Трава-мурава. (избранное)
I
Памятник
Вкус победы
Самая высокая награда
Сказка
Мартынов туес
Расчищенный заулок
II
Хлебная корка
Слово помогло
Родничок
Надежда и страх
Когда с Богом на «ты»
III
Пляс с ладошки
Стройное место
На страду с того света
Откуда в дом пришло счастье
IV
Мать и сын
Колькина любовь
V
Офимьин хлебец

Урок воспитания
Колдунья
О чем думал Женька перед смертью
VI
Урок. (Рассказ старого рабочего)
Зарок блокадницы
План выполняем
Завет отца
Как Нина вылечила сына от жестокости
Если пожалеть птицу
Русь уходящая
Секрет врачевания

Аннотация

Федор Абрамов – русский писатель, понимавший опасность догм, упрощенных суждений об истории, стране, народе, человеке. Художник-провидец, признававший неправедность бюрократической системы, считал невозможными никакие благотворные социальные преобразования в стране без интеллектуального и нравственного развития каждой отдельной личности. В своих произведениях писал о трагедии раскулачивания, о репрессиях, о непосильных налогах, о разрушении малых деревень – о трагедии народа и человека, которому не давали достойно жить, работать, думать. Романы, повести, рассказы, публицистика Ф. Абрамова – летопись народной жизни почти за полвека.

Абрамов Ф.
Деревянные кони. Повести. Рассказы

© Абрамов Ф. А., наследники, 2020
© Турков А. М., предисловие, наследник, 2011
© Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург), иллюстрация на суперобложке, 2020
© Самарский областной художественный музей (г. Самара), иллюстрация на суперобложке, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

Предисловие

На войну Федор Абрамов ушел добровольцем со студенческой скамьи. Синявинские болота под Ленинградом, где ему выпало воевать, накрепко запомнились многим.

Я сплю,
подложив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и Неву, –

писал впоследствии Александр Межиров, создавая обобщенный, гигантский образ солдата.

В жизни все было будничней и в то же время в чем-то многозначительней: невеликий ростом боец Абрамов «упирался» душой в свои северные, дальние края, откуда редко доходили до него весточки, но где были все его корни.

Он снова попал туда в отпуск после тяжелого ранения. Ну что, казалось бы, могло его поразить после фронта и госпиталя в блокадном городе? Но когда видишь, что к вековечным трудностям жизни и работы в этом суровом краю прибав-

ляются новые заботы, тяготы и лишения, когда невесомые листки «похоронок» — извещений о гибели отцов, мужей, братьев — рушат судьбы и семьи, когда люди надрываются от непосильного труда…

Долгим был путь к первой книге об этом.

После демобилизации Абрамов вернулся в Ленинградский университет, в 1948 году окончил его и поступил в аспирантуру. Три года спустя защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем, а позже — заведующим кафедрой советской литературы.

В этом неуклонном, по-крестьянски основательном и упорном восхождении примечательны два момента.

Один — выбор темы для диссертации. Конечно, Абрамов не первый и не последний, кто занимался исследованием «Тихого Дона» и «Поднятой целины». И все же в обращении будущего автора «Пряслиных» к изучению именно шолоховского опыта невольно подозреваешь подспудные, быть может, тогда самим диссертантом еще ясно не осознаваемые побудительные мотивы…

Другой существенный момент предыстории абрамовских книг — это его полемическая статья, опубликованная в 1954 году в журнале

«Новый мир», — «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Остро критикуя целый ряд произведений (дотоле восславлявшихся прессой и награжденных высокими премиями) за приукрашивание реальной жизни, автор писал, что «нужна только правда — прямая и нелицеприятная...».

Перечитывая эти строки ныне, думаешь, что пишущий не подает прекраснодушные советы «со стороны», а, говоря словами поэта, сам «собрался в дорогу, выбрал маршрут» и вдумчиво взвешивает, какие трудности ему предстоят и с чем придется спорить.

Он задумывал свою первую книгу еще в пору, когда официальная пропаганда всячески превозносила заслуги Сталина в одержанной Победе и явно умаляла роль народа — тех «братьев и сестер», к которым обратился вождь в первые трагические дни сорок первого года. И называя свой роман «Братья и сестры», Абрамов настойчиво напоминал об истинных героях не просто книги — войны.

И пусть в этом «дебютном» произведении автор еще только осваивается с ролью повествователя, подбирает ключи к читательскому сердцу, но уже здесь ощутимо желание приохотить нас к

своему, мало воспетому в литературе родному краю и его обитателям.

В целой веренице изображенных в книге лиц еще не угадывалось, кому предстоит стать главными, кому — второстепенными. Так бывает в забегах на длинную дистанцию, когда спортсмены вначале еще бегут почти слитной массой, несколько тесня друг друга.

И все-таки, все-таки… Когда десятки лет спустя московский Театр на Таганке поставит спектакль по абрамовским повестям, он начнется выразительной мизансценой: перед зрителями возникнут группы мужчин и женщин, молчаливо и строго глядящих в зал. И нечто похожее произошло в первой же книге писателя: еще не прочно или довольно наивно связанные между собой фабулой, герои тем не менее привлекали своими реальными тяготами, заботами, радостями.

Вот одна из лучших страниц романа: недавний простодушный подросток Мишка Пряслин разглядывает заплаканную, лишь к утру забывшуюся тяжелым сном после получения «похоронки» мать:

«Никогда он не задумывался, какая у него мать. Мать как мать — и все тут. А она вот какая — ма-

ленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А вокруг нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки…»

И читатель с болью представляет себе, сколько таких «поленниц» в те годы каждый день возникало на нашей земле…

В эти горестные дни и происходит подлинное человеческое рождение Михаила, хотя внешне и по многим поступкам он еще остается мальчишкой. На его полудетские плечи, «обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой», ложится нелегкий груз долга перед обезглавленной семьей. И не только за домашним столом занимает он отцовское опустевшее место, но и на колхозных работах сменяет матерых мужчин (не без совершенно ребяческого упоения положением «взрослого»!).

О том, каково пришлось ему и всей пряслинской семье, рассказано в следующем романе писателя «Две зимы и три лета»: «С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда — по неделям преешь на дальних сенокосах, — потом снова лес. И так из года в год».

Председательница пекашинского колхоза Анфиса Минина, сама великая труженица, говорила, что «за первого мужика Михаил всю войну

выстоял».

Тяжко приходится «братьям и сестрам» и в наступившие мирные годы. Драматичны судьбы и Пряслиных, которые все больше выходят на первый план повествования, и недавнего фронтовика Ильи Нетесова, истового труженика, выбивающегося из сил в тщетных попытках прокормить семью, и вернувшегося из плена Тимофея Лобанова. «Как болотная сосенка-заморыш» выглядит любимая сестра Михаила, не покладающая рук Лиза, да и меньшие братья — «худющие, бледные, как трава, выросшая в подполье».

Многообразно показан в книге жестокий административный нажим на деревню (чего стоят хотя бы сцены «добровольной» подписки на заем!). Секретарь райкома партии Подрезов столь ретиво исполняет все директивы и указания, что, по горестному выражению одного из персонажей, не вожжи в руках держит, а — «удилами рот рвет». «Я ведь только и знаю, что кнутом размахиваю», — горько говорит и новый председатель колхоза Лукашин (когда же он решил немного подкормить плотников, сооружавших необходимый колхозу коровник, то угодил в тюрьму за «незаконное разбазаривание зерна»).

По выражению языкастого пряслинского приятеля Егорши, пекашинцы все время попадают из одного хомута в другой и никак из нужды выбиться не могут, если не идут путем самого Егорши, который всеми правдами и неправдами вырывается из деревни, ловко пользуясь при этом разными очередными громкими лозунгами и кампаниями. «Чтобы подвеситься к ним и полетел куда захотел», — похохатывает этот ловкач, ухитрившийся прослыть «передовиком» и попасть в фавор к начальству.

«Вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, — писал Абрамову Александр Твардовский, прочитав рукопись романа «Две зимы и три лета», которая была вскоре опубликована в возглавляемом им журнале «Новый мир». — …Книга полна горчайшего недоумения, огненной боли за людей деревни и глубокой любви к ним…»

«Пути-перепутья» — так озаглавлен следующий роман писателя, полный все той же неостывающей боли за происходящее в деревне. «Четыре года войны… да шесть после войны… — вырывается однажды даже у Подрезова. — Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба».

Не может не вызвать недоумения и негодования разительный контраст между по-прежнему трудными буднями совестливейшего, работящего Михаила и удачливостью его былого приятеля. Происходящее можно охарактеризовать словами, сказанными самим Абрамовым по поводу сходной ситуации в повести вологжанина Александра Яшина «Сирота»: «Произошло как бы смещение ценностей: растили и вскармливали сорняк, а доброе зерно оставалось без присмотра».

С образа Егорши зарождается у автора и все более крепнет тревожная тема опаснейшего смещения в человеческих душах, умонастроениях, общественной психологии.

Казалось бы, только радоваться надо разительным переменам, которые наконец-то произошли на родине героев — в Пекашине в семидесятых годах: «домов новых наворотили с полсотни», повозвращались на твердый совхозный заработок (не чета былым горевым «трудодням») многие уехавшие прежде мужики; некогда Егорша поразил односельчан своим мотоциклом, теперь чуть не вся молодежь «на железных коней села», а малая ребятня — на «велики».

Последний роман пряслинской эпопеи недаром назван «Дом».

Дом — это и «малая родина» героев, неизбывная красота знакомой с детских лет земли с несмолкаемой «птичьей заутреней», с рекой Пинегой, которая «мать родная была для них», с чистыми борами над ней и отвоеванными отцами и дедами у лесов и болот полями и лугами.

Дом — это и портрет не только некогда воздвигнувших его предков-персонажей, но и его нынешних обитателей, когда, например, Егорша, порвав с женой Лизой и отсудив у нее часть их жилища, довел дело до того, что на месте былого, увенчанного деревянным конем красавца «торчала какая-то безобразная уродина».

Но даже когда в иных домах все вроде бы на месте, «народ другой стал», как горько говорит Лизка, чьи слова горячо подхватывает писатель в своей публицистике последних лет: «Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину».

Нет, далеко не все так ладно, как выглядит на вид, ни в самом Пекашине, ни даже в пряслинской семье, когда-то дружной и трогательной «бригадой» спешившей на покос (прекраснейшие страницы романа «Две зимы и три лета»!).

С директором совхоза Таборским у Михаила, по выражению Лизки, «никаких отношений нету — одна война». Когда Михаил восставал против посевов кукурузы, совершенно не оправдавших себя на Севере, директор уламывал его: «Платят тебе по высшему тарифу — не все равно, какой гвоздь куда забивать?» При Таборском в Пекашине утвердилась «хорошо накатанная колея» «благополучного» существования: «Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками и сервантами, обзавестись железным конем, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку… А что еще работяге надо?» И чтó с того, что окрестные поля зарастают (зрелище, потрясшее Лизиного свекра и ускорившее его кончину)?! Как писала архангельская уроженка поэтесса Ольга Фокина:

Рой, взрывай, стирая грани!
Лес в дыму, земля – в золе.
Лишь бы нынче – рубль в кармане
Да бутылка на столе…

И случайна ли сама фамилия — Таборский? Ведь табор — нечто временное, непостоянное («бивак», «шатры бродячего народа» — среди

прочих значений этого слова сказано у Даля), не связанное с землей, на которой стоит. Словом, в определенном смысле нечто противоположное дому. «Сегодня тут, а завтра там», — как говорилось в одной критической статье.

И не похож ли он на Егоршу? Такой же краснобай и балагур с ловко подвешенным языком, равнодушный к делу, но зато величайший умелец нравиться и производить впечатление. «Рано хоронить Таборского», — говорит он Михаилу, сообщая о своем назначении на очередную руководящую должность («Сегодня тут, а завтра…»!).

И неизвестно, настанет ли для него когда-нибудь момент жестокой самооценки, посетивший «неудачника, горюна и бедолагу», как сердобольно определяет Егоршу даже настрадавшаяся от его выходок Лиза:

«…Двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы… баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел».

Если бы к тому набату, которым звучали и правдивая, колючая проза Абрамова, и многие произведения других «деревенщиков», как их быстро окрестила критика, вовремя прислушать-

ся, — скольких бед избежала бы наша страна!

Но куда там… Власти только отмалчивались да клеймили за «очернительство», науськивали на писателя односельчан и земляков. Разгрому подвергся в прессе его очерк «Вокруг да около», вызвавший специальное постановление ЦК партии, поскольку автор выдал «государственную тайну» — что у колхозников не было паспортов. Нелегкая судьба была и у романов. Лишь в 1975 году за «Пряслиных» (еще трилогию до появления «Дома») писателю была присуждена Государственная премия СССР.

Однажды Абрамов пожаловался на то, что хотя половина его жизни была отдана повестям и рассказам, критики нередко смотрят на них как на нечто второстепенное.

В утешение ему можно было бы сказать, что подобное предпочтение «больших» произведений «маленьким» — вещь довольно обыкновенная и для читателей, и для критиков.

Что же касается самого «жалобщика», то ведь и он, по собственному признанию, в начале творческого пути почитал единственно «достойной» для себя формой только роман. «Немного смешно сейчас вспоминать, — говорил он в конце жизни, — как я думал тогда: вот, мол, я ученый

и не могу начинать с малых форм, с рассказов, а обязательно должен «потянуть» роман».

Разумеется, главной побудительной причиной обращения именно к этому жанру были не эти «амбициозные» соображения, которые Федор Александрович, пожалуй, комически утрировал. В том же разговоре он уже вполне серьезно сказал, что «не написать «Братья и сестры» просто не мог»: «яростно давил «материал жизни».

Первые опыты Абрамова в жанре рассказа относятся к тому времени, когда «Братья и сестры» были уже напечатаны, и, ощутив определенные художественные слабости романа, автор принялся оттачивать перо на малых жанрах. Примечательно, что с публикацией этих рассказов он не торопился.

Они тоже о любимом Севере и его людях. Перед нами то сенокос на отдаленных пожнях («Безотцовщина»), то глухие лесные уголки («Сосновые дети»), то один из местных, прочно тогда вошедших в сельский быт аэродромов, где в часы ожидания презанятную историю можно услышать («Собачья гордость»), то заброшенная деревня («Медвежья охота», потом характерно переименованная — «Дела российские»).

В последнем рассказе искусно сведены вместе

самые разные, зачастую противоположные и даже противостоящие друг другу характеры. В разговорах и воспоминаниях охотников воскресает и жизнь ныне заброшенного Корнеевского починка, и его былой хозяин, работящий и вместе с тем «ндравный», со своими весьма жесткими «нормами» и оценками («…девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины — лошадь»), и, наконец, роль, которую сыграл в его судьбе в пору коллективизации один из собравшихся. Есть зубоскал Паша, во многом близкий Егорше, и подобный Пряслину Иван.

«Аккомпанирует» происходящему и сам пейзаж этих заброшенных мест. «Виснет туман над озябшим полем да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба…» «Одичалость» звезды, прежде как бы входившей в привычный, «домашний» мир, ныне ушедший, — впечатляющий многозначительный образ.

Замечательны две повести, появившиеся почти одновременно с романом «Две зимы и три лета» — «Деревянные кони» и «Пелагея».

Героиня первой, Василиса Милентьевна, которую теперь, в старости, чаще просто Милентьевной зовут, — одна из тех крестьянских женщин, кем издавна любовалась и гордилась

наша литература.

Не баловала ее жизнь! Рано выдали замуж: выпал случай «сбыть с рук» почти бесприданницей, ревнивец муж чуть не убил, да и вообще нравы в деревне, куда она попала, были довольно дикие. А когда Милентьевна своим упорством и трудолюбием подняла семью, — покулачили…

Муж умер, двое сыновей на войне пали, третий долго числился без вести пропавшим, дочь в беде руки на себя наложила.

Но тот ровный свет, который смолоду источала душа Василисы Прекрасной, как прозвал ее свекор, не потускнел и по-прежнему притягивает к ней самых разных людей.

Прекрасный портрет героини, созданный в повести, заключен как бы в рамку из описаний удивительного дома, где происходит действие, с его простором, «целым крестьянским музеем» из всяческой утвари, где «все, что бы… ни взял, на что бы ни взглянул — и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало… особый мир красоты» — «красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом», и — наконец! — с возвышающимся на крыше

деревянным же коньком.

Если Милентьевна воплощает лучшие черты русской крестьянки, напоминая героинь народных сказаний и некрасовских поэм, то Пелагея из одноименной повести представляет собой случай несравненно более сложный и кричаще противоречивый.

Многие стороны ее недюжинной натуры в силу условий жизни были целиком обращены лишь на создание и упрочение материального благополучия собственной семьи. Добиваясь хлебного — в буквальном и переносном смысле — места в пекарне, Пелагея Амосова не была особенно брезглива в выборе средств, да и потом умела поладить «с кем нужно».

Все это, разумеется, не могло не сказаться на ее судьбе. И, пожалуй, с особенной силой нравственный надлом ее характера обнаруживается в предсмертные минуты. Овдовевшая, больная, оставленная дочерью, укатившей в город за легкой жизнью, тоскливо догадывающаяся, что все ею нажитое — лишь мишурная видимость счастья, она тем не менее все еще питает несбыточные надежды выдать свою непутевую Альку за сына «нужного» Петра Ивановича, хотя испытывает к нему страх и ненависть.

В свое время именно Пелагея «последний удар» нанесла «великану дому» свекра, настояв, чтобы его «разрубили пополам». И это еще один жесткий штрих в портрете героини.

Однако есть в ее характере и подлинное трудолюбие, стремление выполнять свое дело как можно лучше. Ведь помимо всех хитростей и уловок она устояла в пекарне самим качеством своего «хлебного воинства». И недаром тропа, протоптанная ею к месту работы, прозвана Паладьиной межой.

Обратим внимание на первые же строки повести:

«Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстный путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом».

Здесь чувствуется не просто утренняя бодрость героини, но и — пусть самое мимолетное, на ходу (некогда, работа ждет!) — любование всем окружающим. Река увидена «сонной, румяной» — словно милый ребенок.

Есть в утреннем настроении Пелагеи и что-то вызванное ее поистине святым отношением к

труду, как ни солоно ей одной подчас приходится в пекарне. Характерно, как после тяжелой болезни собирается туда Пелагея:

«Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная, — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка».

Постойте, — да ведь это похоже на паломничество нашей «идеальной» героини, старой Милентьевны, на Богатку, как называли расчищенное когда-то по ее почину поле (где теперь лесом все заросло…)!

И не в том, конечно, дело, что обе ныне бредут, на батожок опираясь, а в том, что, как магнитом, притягивает к себе место и память всех забот, стараний и трудов, принесенных и людям, и самим себе.

«Старорежимный человек», — полуиронически, полувосхищенно отозвалась о Милентьевне невестка, говоря, что та, как бы ни устала после хождения по лесу, пить-есть не станет, пока не переберет принесенные грибы. Та же истовость в труде свойственна Пелагее, и Абрамов готов ей многое простить за это.

Болезненная острота, с которой Пелагея воспринимает увиденное в пекарне, пришедшей без нее

в полный упадок, заставляет вспомнить переживания Лизиного свекра, Степана Андреяновича, в «Путях-перепутьях», когда он не нашел прежней своей пожни, на расчистку которой двадцать лет убил и которая снова заросла кустарником. (Милентьевна ничего не сказала об увиденном на Богатке, но это молчание не менее красноречиво, чем то, что она потом «два дня лежала лежкой».)

Абрамов горько тревожится, что «старорежимные» свойства — добросовестность в работе, способность болеть за свое дело и принимать близко к сердцу все с ним связанное — исчезают, «выходят из моды», чуть ли не как милый сердцу Пелагеи плюшевый жакет, на который теперь она одна позарилась в магазине.

В Алькиной душе диковинно разрослись отнюдь не лучшие материнские черты вроде готовности при случае пойти на сделку с совестью, а то, что было силой Пелагеи, захирело.

При этом писатель совсем не делает Альку чудовищем. В посвященной ей повести он с сожалением изображает, как треплет судьба эту «живую ветку амосовского дерева», как после «эффектного» прибытия ее, «процветающей» официантки, в родную глухомань после смерти матери она вроде бы проникается запоздалым

сознанием своей вины перед ней и нежностью к памятным местам. Ее трогает встреченная в лесу берестяная посудинка, сделанная отцом, чтобы Пелагее было из чего напиться во время ягодной страды. Кажется, не простой солнечный зайчик играет на мокрой бересте, а отблеск тихой и самоотверженной любви, какой самой Альке не довелось испытать.

Но, увы, невелика цена этим покаянным чувствам и порыву остаться дома совсем… Приходит день, когда она решает продать уже не материнские «тряпки», а сам дом, последнее, что еще связывало ее с родиной.

А вот один из персонажей абрамовской повести «Мамониха» свою деревню не бросил, но расцвел тут махровым цветом. Прежде этого лодырничавшего в школе здоровяка Геха-бык звали, а ныне он — Геха-маз, по имени мощного грузовика, который водит. Машина совхозная, но Геха сделал из нее могучее средство собственного обогащения. Можно сказать, пионер будущей «прихватизации»!

«Машинный человек, вся жизнь в его руках», — отзываются о нем люди, вынужденные нередко идти к нему на поклон. Наглея с каждым днем, Геха возвел целые хоромы на пепелище… некогда

сожженной барской усадьбы.

Остаться в деревне он остался, но любви к родной земле лишен начисто и ради собственной выгоды готов сделать с ней все, что угодно. Одна из статей его доходов — скупка за бесценок и продажа «на дрова» опустевших изб. А мы знаем, что дом для писателя — не просто строение, «недвижимое имущество», а память души прежде обитавших там людей.

Глядя на красные, вырезанные из жести звездочки на многих избах, напоминающие о том, что здесь жили павшие на войне, Абрамов в одной из своих миниатюр, похожей на стихотворение в прозе, уподобляет эти дома «сказочным бревенчатым мавзолеям, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина-солдата». И этими-то «мавзолеями» Геха спекулирует!

Знаменательно и то, что он спиливает возле дома своего школьного приятеля деревья, некогда посаженные в честь рождавшихся в семье детей и носившие их имена. Он, правда, не знал, что́ знаменуют собой эти посадки, но, и узнав, нимало не смутился!

Боже мой, думаешь, как бы тяжело переживал писатель новые напасти, выпавшие на долю его многострадальной земли в последующие

десятилетия! Чтó бы делал, в какой колокол бил, — а ведь обязательно бил бы, такой уж был характер!

Может показаться удивительным, что, начав с больших романов, писатель завершал свой творческий путь произведениями самого малого объема. «Трава-мурава» — называется раздел одной из его последних книг, состоящий из форменных миниатюр, а то даже из обрывков услышанного разговора, удачных реплик, остро сформулированных мыслей, броских, красочных выражений.

«Травка-муравка что, не знаешь? — говорится в эпиграфе. — Да чего знать-то. Глянь под ноги-то. На травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек, да и тот наполовину ощипан — это уж как бог даст».

В содержании и самой форме этого причудливого жанра сказались и пожизненная приверженность писателя к родным краям, к людям, их судьбам, их северной «говоре», и пристальная зоркость ко всем проявлениям окружающей жизни, стремление успеть запечатлеть их во всей непосредственности и неприкрашенности.

Душа подлинного художника не в силах примириться с возможностью бесследного исчезновения самой памяти о множестве людей, с которыми сводила жизнь. Пусть же на страницах книги останутся они — «коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек», да все же останутся! Остановись, мгновение человеческой жизни, — и когда ты и впрямь прекрасно, и даже если ты, наоборот, горько и тягостно, но остановись, запечатлейся в кратчайшем ли эпизоде, выразительном жесте, незабываемом слове, — «это уж как бог даст»!

Как ни густо населены романы Абрамова, обилие персонажей в его миниатюрах еще поразительнее. Люди разных поколений, характеров, судеб тут прямо-таки толпятся.

Чрезвычайно характерно для художественной манеры писателя то, что сильные душевные движения, сочувствие трудным судьбам и переживаниям людей не выставлены напоказ, а приглушены, замаскированы то юмором, то даже нарочитой грубостью.

Так, рассказывая о сватовстве инвалида Аркадия к брошенной возлюбленным девушке («Жарким летом»), писатель безбоязненно воспроизводит якобы ерническую, «бесстыжую» его

речь: «Имей в виду, эта посудина и впредь пустовать не будет». «Нахальные» слова прикрывают нежелание выглядеть «великодушным спасителем» и стремление подбодрить женщину.

Приходилось встречать читателей, которых смущали выражения вроде пресловутой «посудины» или отчаянное признание героини рассказы «Бабилей», что она «Гордю-то сама на себя затащила» в ту послевоенную пору, когда на мужиков «в очередь стояли» (по переписи 1959 года женщин в нашей стране было на двадцать миллионов больше!).

Как будто подобным читателям адресованы горестно-насмешливые слова Поли Открой Глаза из одноименного рассказа: «Что, что морщишься? небаско говорю! А баско-то в книжках…»

Вот уж рассказ, написанный поистине слезами и кровью, так что его и шедевром именовать как-то неловко! Тут и ранний рабочий «хомут», легший на неокрепшие плечи (ау, ау, Мишка и Лизка Пряслины!), и поневольное обучение заковыристым «матюкам», поскольку лошадь, к которой приставили на лесоповале четырнадцатилетнюю девочку, именно к «этой политграмоте у мужиков приучена», и бесконечное безрадостное девичество («Хороших-то на войне

поубивали»), и отчаянное насилие над собой в окаянную минуту («Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха… решила на случку идти, напилась»).

Помню, как трогал нас в юности финал знаменитого английского фильма «Леди Гамильтон» с последней фразой опустившейся и состарившейся героини: «Не было после, не было потом…» — А что же сказать про эту трагедию, где нет ни проблеска любви и счастья, где «пьяная развязная бабенка», в какую превратилась когда-то непомерно застенчивая Поля, после даровой рюмки завершает свой «небаский» рассказ словами: «Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала…»

«Але еще рассказывать? Могу», — кто это говорит? Только ли Поля или сам автор, томимый преизбытком всего пережитого, увиденного и услышанного — от горчайших плачей над такими незадачливыми судьбами до горделивых сказов о неизбывном мужестве, богатырской силе и часто кажущихся прямо-таки невероятными трудах и до искрящихся задорным юмором былей и небывальщин?

Лет пятнадцать тому назад был снят замеча-

тельный документальный фильм об абрамовских местах — деревне Верколе и окрестностях, воссоздававший атмосферу, которой дышал, которой жил Федор Александрович, — всю пестроту бытия, все слои истории, обнажающиеся в человеческих судьбах, как почва на речном обрыве. Временами даже начинало казаться, что не камерой кинооператора все это жадно схвачено, а глазами самого писателя, что перед нами как бы его ожившие, переведенные на иной образный язык записные книжки, — вся та, если воспользоваться астрономическим термином, «туманность» жизни, которая потом сгущалась, концентрировалась, преобразуясь в «планеты» — книги.

«Еще до войны, студентом, — говорится в одной «травке-муравке», — записывал я сказки на своем Пинежье. Раз попалась старуха — день записываю, два записываю, три — всё сказывает.

— Много ли еще, бабушка? — спрашиваю.

— А кто зна́. Не считала. Тут который год внучек заболел, фершалица приказала на улицу не пущать, дак я три недели сказками его удерживала. С утра до темени сказывала. Ну, всю-то себя не опорознила».

Так же, при всем обилии и разнообразии созданного, «не опорознил себя» и Федор Абрамов, чья жизнь оборвалась на всем лету.

Андрей Турков

Повести

Деревянные кони

1

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца — чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима — Евгения. Она все перемыла, перескоблила — в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.

В то время когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука — маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом — она на рев каждого мотора выбегает, — потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо — это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!..» — потом еще, еще голоса — бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина — без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра

до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса — глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи — не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло — редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие — хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженей семь в длину — на нее, бывало, заезжали на паре, — да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом — подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест — это было мне ясно. И на моих музейных занятиях — так я называл

собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, — тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяный туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь. Не смей! Старуха в доме.

2

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг — и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.

Меня звали. Звал сам Максим, звала Евгения, а я закусил удила — и ни слова. У меня даже одно время появилась было мыслишка укатить на ночлег в Русиху — большую деревню, километра за четыре, за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем чтобы

хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сидение в лодке. Может быть, два часа, может быть — три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть — давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь — от сырости, от ночного холода, и в конце концов — не пропадать же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому

что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи. — Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего неладно-то! — с раздражением сказала Евгения. Она тоже, оказывается, не спала. — Это вот для тебя светильню-то выставила, — кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике за спинкой широкой никелированной кровати. — Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему.

— Да нет, всяко бывает, — опять отозвалась с печи старуха. — Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибился. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмев поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

3

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению.

— А где же гости? — Про Максима я не спрашивал. Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокуренный завод, где он работал мастером.

— А гости были да сплыли, — веселой скороговоркой ответила Евгения. — Иван домой уехал — разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно, — за губами ушла.

— За губами! Милентьевна за грибами ушла?

— А чего? — Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. — Еще пяти не было, как ушла. Как

только начало светать.

— Одна?

— Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. — Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: — Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот такая у нас Милентьевна, — не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. — Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в пояснице — у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тридцать раз прошла свою реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой

вспрыснули. Железная кочерга не ворочалась, плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшенный — я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

4

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком

заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее — высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове. Но в то же время сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уже наработалась», — развернула бурную деятельность.

Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

— Думаешь, она сейчас исть-пить будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. — Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с избяным теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиловатые руки, которые она то и дело погружала то в коробку, то в ушатик, то в эмалированную кастрюлю с солью, — старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек,

рыжик, волнушка и царь солех — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. — Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

— А чего сказывать, — вздохнула Милентьевна. — Мало ли чего меж своих не бывает.

— Меж своих… Да ведь этот свой мало тебя не убил!

— А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

— Я не знаю, ты, мама… Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама:

— Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

— Да может, хоть не вся, — возразила Милентьевна.

— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух

портят — на всю деревню пальба. А дома у себя — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегает, другой — Мартынко-чижик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет — сарафан бабкин — да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

— Люди не без греха, — уклончиво ответила Милентьевна.

— Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей — поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело.

Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой.

И вот новобрачные в первую ночь милуются да

любуются, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря — да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

— Кажись, осенью, — не очень охотно ответила Милентьевна.

— Да не кажись, а точно, — убежденно сказала Евгения. — Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час — за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет?

Ну вот, возвращается у нас Милентьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще спят, а она уже с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки — бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает…

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась — она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приливала, то отливала от ее смуглого лица.

— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения. — Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, — говорит, — мой отец мать учил…» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет…

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны — как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:

— Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

— Пальба-то эта? — Евгения любила все называть своими именами. — Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то… Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой — нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А,

думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

— Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивый мужик был.

Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, — польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

— Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать…

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза. Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

— Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Семой десяток нынче пошел…

— Седьмой десяток, как вы вышли замуж за Пижму? — уточнил я.

— Да хоть не вышла, а выпихнули, — с легкой усмешкой сказала Милентьевна. — Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа…

— Ну вот, — не без злорадного торжества воскликнула Евгения, — призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все неладно.

— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, — еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды — мокрую, переспелую чернику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще дулась, хотя нет-нет

да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.

— Старые люди любят хвалить бывалошные времена, — говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, — а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да и из-за шали…

— Неужели? — в страшном волнении воскликнула Евгения. — А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впилась своим пылающим взглядом в свекровь.

— Так, — сказала Милентьевна. — Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем…»

— А братья-то где были? — опять, не выдержав, перебила Евгения. — Хорошие у мамы были бра-

тья. Беда как ее жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали…

— А братья, — сказала Милентьевна, — в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

— Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне — из хорошего житья мама брана, — сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда тебя сватали…

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом.

— Беда, беда, что могло быть! — размахивала она руками. — Братья услыхали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых бала-

мутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли…»

Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. — Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь, в сущности, была добрый человек.

— Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло быть. Братья распалились — чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой

Прекрасной называл.

— Называл, — вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, видавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

— Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урваи. — В Пижме все носят одну фамилию — Урваевы. — И Мирон Оникович, мой свекор-батюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории знаешь как повел себя? Тише воды ниже травы. А этот такая поперечина — за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступиться за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

— Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошой был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама — ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, и не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была.

Да чего говорить? — Евгения махнула рукой. — За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость,

виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили… Да радоваться надо, бога вечно молить, что дети не в тебя…

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

— Урваи! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная — та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных

краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый. Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

— А раньше их поболе у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, — заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из

сеней берестяной пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

— Куда, бабушка? Не опять в лес? — полюбопытствовал я.

— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, — по-старинному выразилась Милентьевна.

— А пестерь зачем?

— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор — она собиралась на работу, — тут не выдержала:

— Сказывай — намало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшней, старым полуразвалившимся гумном

на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь старыми костями, так это Прохор — один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.

Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.

— Тета, тета! — закричал он, подъезжая. — Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами — у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — ко-

гда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было. Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой дранки, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашеные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

— Надо бы выбросить все это барахло, — сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, — ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается — мои родители кормились от этого…

С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, — я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты.

Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол, а я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул — и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож — мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и андреевна, допотопной раскоряжкой стоявшая в темном углу) прошли в поле и

на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

6

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.

Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.

— Не должна бы она сегодня далеко-то убрести, — говорила Евгения. — Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полок.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной, в половодье, бани топит, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирающих льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся:

— А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дроби в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было, и как там старая Милентьевна? Все ли с ней в порядке?

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

— Не знаю, не знаю, что и подумать, — сокрушенно качала она головой. — Это уж она на Богатку уперлась — не иначе. Вот какая ведь упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее

ли годы под таким дождем лешачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

— Учесала, учесала — больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку — это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слыхал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

— С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть — все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит — с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слыхал. Поскотина да поскотина — и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

— Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили?

Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом — страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцев, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа — хорошо переклал каменку! — потом заодно уж прошлась по другим жителям деревни:

— Все тут урваи! Я вчерась для-ради мамы похвалила Онику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай. До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой норов у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха. Мама, мама их всех в люди

вывела, — убежденно сказала Евгения. — При ней урваи пошли в рост…

— А как?

— Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько пожен расчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых — знаешь какая силушка!

А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежанья не было. Сколько деды накопали, расчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до нового года не всегда хватало. Правда, когда на зверя в лесу урожай, у них песни. А когда на бору голо, и они, как сычи, голодные.

И вот мама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит — так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить…

Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выру-

чайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес долой — которо вырубили, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь.

Вот тут урваи и започесывались. Беда, какая рожь вымахала — мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай, рыбка. За топор взялись.

Ну и робили! Я-то не помню, мала еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой — прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А то урваи. Расчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лопотину-то — не теперешнее время.

А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать — я не верю. Мыслимо ли дело — ребенка как собачонку на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знаешь, чтобы ребята пожару дома не наделали.

Так, так дичали урваи, — еще раз подчеркнула Евгения. — А чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали — сам знаешь, сколько у них силы накопилось.

Ох, мама, мама… Хотела как лучше, а принесла беду. Ведь их покулачили, когда зачались колхозы…

Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!

Евгении, однако, мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

— Старое время ноне не в почете. Все забыли — и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензией идут, одна другой толще да здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме как бы подольше пожить да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты. Пензия капает каждый день.

Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно,

говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе». Подумай-ко, что на уме у старого человека? Урваиха, чистая урваиха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки — хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

— Нет, я какой-то выродок по нонешним временам. У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я понадрывала сердце. Что ты! Робила-робила, да ты и виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, — говорит мама, — ничего, я-то бы стерпела. Да каково, — говорит, — людей под монастырь подвести».

— Каких людей?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал.

— Пять хозяйств распотрошили. Что ты, у них еще в гражданскую войну по амбару хлеба выгребли, а к колхозам-то они уж и вовсе разъехались. Ну и урваи еще. Все одно к одному. Кабы тихо-мирно, может, и не тронули бы — кто не знает, с чего пошли? А то ведь их в колхоз записывать приехали, а они: не желам. У нас и так колхоз. Вот власти-то и психанули, невзлюбили

их. Ну, правда, четырех-то мужиков вернули, и мой свекор, мамин муж Мирон Оникович, вернулся, хоть и больным, а сам-то Оника Иванович так и остался там.

Беда, беда, что тогда было! Кой год мама тут рассказывала, я не рада была, что и слушать стала. Заревелась.

Евгения шумно ширнула носом, вытерла платком глаза.

— Ты подумай только, как все иной раз в жизни оборачивается. Мама как раз рожь молотила на гумне, когда гроза-то над ними пала. Да, на гумне, — кивнула она, немного подумав. — Радуется. Вот, думает, опять бог дал хлеба. Хорошая, крупная рожь уродилась, может, за всю жизнь такой не видали. И вдруг девка прибегает: «Мама, бежи скорее домой. Татю да дедушку повозят».

И вот, говорит мама, сама знаю, что бежать надо. Тогда ведь круто поворачивались, раз-раз — и прощай навек, а у меня, говорит, и ноги подкосились. С места не могу двинуться. Дак я, говорит, до ворот на коленцах доползла. Страшно. Из-за ей ведь расплата пришла. Кабы она свекра не подбила на эти самые расчистки, кто бы урваев тронул? Век голь перекатная.

Ну, не страхом убил свекор маму — добрым

словом. Она-то чего только для себя не ждала, к каким казням не приготовилась — сам знаешь, человек в такую минуту что может натворить, а свекор вдруг, видит, на колени встает. Да при всем честном народе. «Спасибо, — говорит, — Василиса Милентьевна, за то, что нас, дураков, людями сделала. И не думай, — говорит, — худа против тебя на сердце нет. Всю жизнь, до последнего вздоха благословлять буду…»

Евгения заплакала и досказала, уже давясь слезами:

— Так мама и не простилась с Оникой Ивановичем. Замертво упала…

7

Милентьевна вернулась из лесу в четвертом часу пополудни — ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и узнал ее приближение к шалашику на той стороне, под елями, — я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог

избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая, краснолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор — оба на взводе — уже не первый раз сегодня наведывались к нам. И каждый раз твердили одно и то же: где гостья? Почто прячете от людей?

На Милентьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху, потом достала с печи нагретые валенки, натянула на них красные покрышки.

— Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдем.

— А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя, — веско сказал Прохор. Он сидел у малой печки и покуривал в душничок.

— Сиди! — прикрикнула на него Евгения. — Они шары нальют, не знай, чего начнут молоть.

— А чего не знай-то? По медицине.

— По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

— Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в рас-

терянности на Милентьевну — та, тяжело дыша, с закрытыми глазами сидела на прилавке у печи, — посмотрела на меня — я еще меньше ее понимал в медицине — и в конце концов решила не рисковать.

Короче, Милентьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

— Ну, рассказывай, где была, чего видела.

— А чего надо, то и видела, — тихо ответила с печи Милентьевна.

— А ты нам скажи чего, — ухмыльнулась баба Мара. — Поди, опять на Богатке была да клады искала?

— Ладно, давай, — миролюбиво заметила Евгения, — чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь, едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

— Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про расчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о расчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего в одном городе с главным начальством нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот, взят курс на ольху да осину? (Он так и выразился.)

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

— Так, так, — воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору, — теперича невыгодно? А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимаешь, с ребятишками все до последней пяди засевали…

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара — ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов — бутылкой «Столичной».

Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришелся такой способ выпро-

важивания непрошеных гостей, но, когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое окончательное отношение к гулякам Евгения выразила, когда стала убирать со стола, — она терпеть не могла всякий беспорядок и разор.

— Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урваи в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мама-то идет, ребятишки возле взрослых шалят: «Тише вы, бесенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали. Исть-то как будешь? — спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи. — Спустишься? Але на печь подать?

— Не надо, — чуть слышно ответила Милентьевна. — Потом поем.

— Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ко поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

— Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:

— Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты,

может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

— Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы — хорошо бы — губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

— Ну, мама, мама! И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину…

Тем не менее Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (пестерь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

8

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха старая, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем невеселый вывод.

— Вот беда-то, — сказала она. — Ведь Милентьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала.

Она вздохнула многозначительно.

— Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала — она железная. Ничего не берет. Ох, да при

ейной-то жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж — чего-то с головой сделалось — три раза стрелялся — каково пережить? Мужа схоронила — хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, сколько лет без вести пропадал, а потом и Санюшка петлю на матерь накинула… Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость. На десятерых разложить — много. А тут все на одни плечи.

— Санюшка — дочь?

— Дочь. Разве не слыхал? — Евгения отложила в сторону кухонный нож, которым чистила грибы. — У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а живых-то осталось шестеро. Марфа, старшая дочь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором — оба на войне сгинули, потом мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван.

Ну вот, сыновей Милентьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Тоже как на войну… Ох и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видела. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет — вся, говорят, в матерь, а может, еще и покрасивше была. И тихая, воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины. И вот через

эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то подлеца — обрюхатил.

Я не дивлюсь, нисколешеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал — пущай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла — всего насмотрелась.

Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь — еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться — живо в угол затащут…

И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной в Русиху пришла — залилась краской: бабы глаз не спускают — как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели — навалом лезут. А тут, может, еще матерь, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали.

Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай — хуже врага всякого

будешь.

Евгения прислушалась, заговорила разгоряченным шепотом:

— Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимко-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вроде как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на Страшный Суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла.

И вот она, горюша горькая, подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

— Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы, — заговорила она на всякий случай опять шепотом, — неужели, говорю, уж сердце материнское ничего не подсказало? «Под-

сказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне рассказывала, не скрывала. И про то говорила, как сапоги на крыльце увидела.

Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про матерь помню. Сам знаешь, как с обуткой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродим, а по реке-то лед несет. И вот Санюшка с жизнью прощается, а про матерь не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день Покрова — каждый пальчик на снегу видно.

Прибежала — а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-то, холодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную…

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамах всхлипывали как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется.

Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

— Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоет-завоет во всех печах да трубах да кольцо на крыльце забрякает — хоть с ума сходи. Я по первости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне? А теперь, пожалуй, и я нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим…

9

Милентьевна два дня лежала лежкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось. На третий день Милентьевна сама слезла с печи. И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

— Ну как, бабушка? Поправилась?

— А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

— Домой? Сегодня?

— Сегодня, — спокойно ответила Милентьевна. — Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не

меньше, чем я.

— Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли?.. Ты ведь и грибов еще не наносила.

— Грибы подождут, а завтра школьный день — Катерина в школу пойдет.

— И это ты ради Катерины собираешься ехать?

— Надо. Я слово дала.

— Кому, кому слово дала? — Евгения аж поперхнулась от изумления. — Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется — не докличешься.

— А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено. — Милентьевна повернулась в мою сторону: — Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, — говорит, — бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею…

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой —

чтобы никакой задержки не было из-за нее. Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что, раз сын не приехал, она поедет сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь — стекла в рамах вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю… Да это ведь самоубийство, верная смерть — вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь, как могла. Стращала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна. Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу…

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал больную старуху за реку. Ев-

гения до того распсиховалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибыла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому обычно примыкают лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу, когда мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлюпает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас хлопнется старуха…

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на своего верного помощника — легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось. Ибо только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор.

Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед. Машина остановилась.

К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с ново-

рожденным на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него, как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я еще долго видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком.

10

После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхвования над крестьянской стариной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый солнечный день.

От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одеревенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив головы с тесовых крыш, провожали меня деревянные кони. Целый косяк деревянных коней, вскормленных Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услыхать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву. То молодое, заливистое ржанье, каким они оглашали здешние лесные окрестности в былые дни.

1969

Пелагея

1

Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером — нет. Вечером, после целого дня возни у раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара — зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Оводы-красики беснуются — будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша — в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем — иначе не назовешь, — Пелагея говорила себе:

надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это и деньги большие — двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих — за троих…

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли — все пополам: и дрова и вода. И тесто месить — не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница — будет и глаз. А будет глаз — и помои пожиже будут. Не набахтаешь в ведро теста — поопасешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом…

У мостков за лыву — грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, — Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает — и

летом и зимой, с сорок седьмого. С той самой поры, как встала на пекарню. Потому что деревенская гора немалая — без отдыха не осилишь.

На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы — жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди — девья матерь), — затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе — там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще, — не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему — надо правду говорить — она не знала забот. И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю — на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все — и дом, и пекарня, — все на ней одной.

Глаза у Пелагеи были острые — кажется, это единственное, что не выгорело у печи, — и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и звонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

2

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных опорках, в стеганой безрукавке с ее плеча, — она терпеть не могла этого стариковского вида! — сидел на кровати и, по всему видать, только что проснулся; лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы…

— На, господи, не вылежался! — выпалила она прямо с порога. — Мало ночи да дня — уже и вечера прихватываешь.

— Нездоровится мне ноне, — виновато потупился Павел.

— Да уж как ни нездоровится, а до угора-то, думаю, мог бы дойти. И сено, — Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати, — срам людей — с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь — дочи есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул.

Невелика барыня!

— День андела у Онисьи сегодня.

— Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату — просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

— А та где, кобыла?

— Ушла. Девка — известно.

— Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо…

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашеный пол.

Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выров-

нялось — крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела, — и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана — Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел, — не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чаю без сахара — пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня — отпали руки и ноги…

— Нет, не могу, — сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем. — За вином-то сходил — нет? — спросила она немного погодя.

— Сходил. Взял две бутылки.

— Ну, то ладно, ладно, мужик, — уже другим голосом заговорила Пелагея. — Надо вина-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

— Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого, и

красного.

— Как уж не много, — вздохнула Пелагея. — Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?

— Нет.

— Приехала — поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером, — вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет. — Пелагея помолчала. — А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

— Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощенье у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе — не нужны.

— Ладно, — сказал Павел, — у нас у сестры праздник. Была даве — звала.

— Нет уж, не гостья я ноне, — строго поджала губы Пелагея. — Рук-ног не чую — какие мне гости?

— Да ведь обида ей будет. День андела у человека… — несмело напомнил Павел.

— А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного андела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и — легка же на помине! — в избу вошла Анисья.

3

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки — не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж — из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила), — пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пытала. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала, но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья не то что любила — обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой

Павла, — тут прямо надо говорить — просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита — у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках, жизнь загадывает вперед и в женском деле — камень.

Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет, — Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

— Чего лежишь? — сказала Анисья. — Вставай! Вино прокиснет.

— Все ты со своим вином. Не напилась.

— Да ведь как. В такой день насухо! — Анисья кивнула брату. — Давай, давай — подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

— Не тронь ты его, бога ради! — раздраженно закричала Пелагея. — Человек не в здоровье — не видишь?

— Ну тогда хоть ты пойдем.

— И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

— Да что вы, господи! Самая близкая родня… Что мне люди-то скажут…

— А пущай что хошь, то и говорят, — ответила Пелагея. — Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. — Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке. — Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огородце выкосила, корову подоила, а пошла за реку — ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

— Да разве я виновата?

— А я на пекарню-то пришла, — продолжала выговаривать Пелагея, — да другую печь затопила — одно полено в сажень длины, — да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок налила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла — слышала я, как вы робили, за рекой

от ваших песен стекла дрожали, — да не успела пот согнать — машинка: фыр-фыр. Домой поехали… — Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

— Тяжело. Известно дело — пекарня. Бывал. Знаю.

— Дак уж не придете? — дрогнувшим голосом спросила Анисья. — Может, я не так приглашаю? — И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: — Брателко Павел Захарович, сделай одолженье… Пелагея Прокопьевна…

Пелагея замахала руками:

— Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не просила. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

— Про людей вспомнила! — хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. — «Что люди скажут?» А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?

— Что уж, известно, — сказал Павел. — Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра…

— Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет…

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

4

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят. Да и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом — ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало…

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то

что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса. А кроме того, у тетки всегда люди — не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки — кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья — где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке — и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости — и у тетки, и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.

— Ты ведь уже не маленькая — сломя-то голову

летать, — заметила ей Анисья, когда та — в который уже раз за вечер! — вбежала в избу.

— А, ладно! — Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие — оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

— Тетка, тетка, эвон-то!

— Чего еще высмотрела?

— Да иди ты, иди скорей! — Алька захохотала, заерзала по табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

— А, вон там кто, — сказала она. — Подружки.

Подружками в деревне называли Маню-большую и Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок, — это Маня-маленькая. А другая — ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме. Потому и прозвище — Большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника — сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает, что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в ме-

сяц — первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брусе, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

— Чего-то вот тоже морокуют меж собой, — усмехнулась Алька.

— Люди ведь, — сказала Анисья.

— Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

— С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

— Какую? — Алька живо обернулась к тетке. —

Это в огородице-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

— Ладно, давай — чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

— Тетка, — сказала немного погодя Алька, — я позову их?

— Да зачем? Мало они сюда бродят?

— Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня — в душе она все еще надеялась, что невестка одумается — придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею — лед крещенский растопит.

Первой вспорхнула в избу Маня-большая — легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского — только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

— Давай, не в монастырь пришла, — съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое

своей товарки, когда та стирала на монахов.

— А что? — пробасила Маня-маленькая. — И не в сарай.

— Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

— Ничего, — все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая. — Власти от бога.

— Верно, верно, Егоровна, — сказала из-за занавески Анисья. — Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

— А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? — спросила с намеком Маня-большая.

— У тебя в глазах шатается, — усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырканье мотоцикла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

— Алька, — полюбопытствовала Маня-большая, — какое у тебя там приспособленье? Под самый зад чулок заправляешь.

— Пояс. Неуж не видала? — Алька удивленно выгнула круглую бровь — бровями она была в тетку, — спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

— Ловко! — одобрительно цокнула языком Маня-большая.

— Како тако поесье под платьем? — Маня-маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. — Нуто те — трусики.

— Трусики! Пень бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! — И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

— Тоже кабыть шелковые, — пробурчала Маня-маленькая.

— Я вся шелковая, — хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

— Алька, Алька, бесстыдница! — крикнула из-за занавески Анисья. — Разве так баско?

— А чего не баско-то? Не съедим.

— Нельзя так. Она еще ученица, — сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.

— Ученица! Нынешняя ученица — знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видела — огороду с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

— Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.

— Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

— Вишь ведь, вишь ведь, — опять зацокала языком Маня-большая, — кровь-то в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!

— Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

— И я не люблю, — подала свой голос Маня-маленькая. — У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем — верная примета, что где-то уже подзаправилась. И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску — звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку — поскорее бы только выпроводить такую гостью.

— Пейте, кушайте, гости дорогие.

— Тетка сегодня именинница, — сказала Алька, вытирая слезы.

— Разве? — У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. — А чего это брата с невесткой нету?

— Не могут, — ответила Анисья. — Прокопьевна на пекарне ухлопалась — ни ногой, ни рукой

пошевелить не может. А сам известно какой — к кровати прирос.

Маня-большая ухмыльнулась.

— Матреха, — закричала она на ухо своей глуховатой подружке, — мы кого сичас видели?

— Где?

— У Прошичей на задворках.

— О-о! Нуто те — Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги сверкают — при мне о третьем годе покупал. И сама на каблучках, по-городскому… Богатые…

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила — пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы — по фунту каждый, семга; три каши, три киселя; да мясо жирное, да мясо постное — нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.

И вот сердце загорелось — все выставила. Нате, лопайте! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной — три дня мытарила за него на огороде у Игнашки-денежки — она сперва не вынесла.

А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву…

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала…

Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине…».

Вдруг Анисье показалось — в руках у Альки рюмка.

— Алька, Алька, не смей!

— Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.

— Траву? — удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

— Да я не обманываю, Онисья, — с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. — Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.

— Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько от-

колется. Отколется, Матреха?

— Куда от тебя денешься? Выманишь…

Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:

— Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять…

— Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, — сказала Алька.

— Нет, не лучше. Травки-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают…

Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет…

Ее стала утешать Маня-большая:

— Давай дак не стони. Расстоналась… Вон к Ониске и брат родной не зашел… В рожденье…

— Не трожь моего брата! — Тут к Анисье сразу вернулась трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу так, что посуда зазвенела. — Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не

бывать этому!

— Алевтинка! Чего это она? Какая вожжа под хвост попала?

— А ну вас! — рассердилась Алька. — Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):

— Гуляем, тетушки?

— Маленько, товарищ… Старухи пенсионерки… — Маня-большая икнула для солидности. — Советская власть… Крепи оборону… Правильно говорю, товарищ?

— Уполне, — в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

— По-нашему, товарищ, — одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: — А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

5

Место им досталось неважное — с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске — скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этим местом была довольна. Это раньше, лет десять-двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять-двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину — сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит — не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу — такова и пекарихе. На что же тут обижаться? Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот наособицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, покланяешься Аркаше-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима, да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые — чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу — летнюю кухню показывать, — да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все

рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет — пожалуйте шинпанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке — никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашеные…

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой. Грамоты большой не имеет, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало — всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь! И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут — не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей. И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел — с грамотой мужик, — и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать — не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит,

Пелагея, выручу. Не виновата ты — точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той бухгалтерше урок преподал. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал — так и сделал. Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антониды. Антонида в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партейный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной — обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться — и она вслед за ним. Встала в конец огородца — дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет — никто не переймет. А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха — его, кажись, рубаха белая мелькнула — выбегал на крыльцо. Да, верно, увидел, что его опередили, — убрался.

Ну и удозорила — и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула. С сеном — вот уж не думала — оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о Первом мае, начал крутить:

— Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пущай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд — основа…

— Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, — взмолилась Пелагея. — Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная…

— Ну, ты-то не тетера.

— Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь — его

подымаешь).

Председатель — кобелина известный — потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

— Не тронь мое костье. Упаду — не собрать.

— Эх, Полька, Полька… — вздохнул председатель. — Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать — выдержат ли? Золото — не косу ты носила.

— Давай не плети, лешак, — нахмурилась Пелагея. — Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька…

— Тебя! — заупрямился председатель.

— Ну ладно, ладно. Меня, — согласилась Пелагея. Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза — слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь — не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать…

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала — не затем дожидалась этого борова, чтобы

вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце напоказ.

— Ладно, подумаем, — проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом — как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста — за партой сидит…

— Хо, она, может, еще три года будет сидеть. — Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

— А-а, тебе мой парень не гленется?

— Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть ни к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка. Тоже губан. Помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин — за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела

его в комнаты.

Так под ручку с Советской властью и заявилась — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать. И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает — умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек — молодежь шла мимо.

— Пелагея, Пелагея! Алька-то у тебя…

— Апельсин! — звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

— Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата…

— Мне, как директору, такие разговоры об ученице…

— Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности…

— Гулять с ученицей неморально, — громко отчеканил Афонька, — но которая ежели выше средней упитанности…

Тут, конечно, все заржали — весело, когда по чужим прокатываются, — а Пелагея не знала, куда и глаза девать. Сука-девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?

Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:

— Давайте, дорогие гости, за наших детей.

— Пра-виль-но-о! Для них живем.

— От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал? Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит — обязательно поперек.

— Отставить! — опять заорал Афонька и встал. — За нашу советскую молодежь!

— Пра-виль-но!

— За молодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.

— За всемирный форум молодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.

— Пить — всем! — опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел — прошагал по столу и вдруг уставился на Павла — Павел один не поднял рюмку.

— Афанасий Платонович, — заступилась за

мужа Пелагея, — ему довольно, у него сердце больное.

— Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся. А тот ирод как с трибуны:

— Я прыцыпально!

— Да выпей ты маленько-то, — толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: — Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! — уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович внаклон). — Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.

— Ура! — гаркнул Афонька.

— Ур-ррр-а! — заревели все.

Потом был еще «посошок» — какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, — потом была чарка «мира и дружбы» — под порогом хозяин обносил желающих, — и только после этого выбрались на волю.

На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

— Звук! Пей-гуляй — не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхи-

мартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности, за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь — Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

6

— Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год — в восьмой класс осенью пойдет, — и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом — неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое — та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно. Кончилось ее времечко — кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на Альку глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, — да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул: «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все. Иди, ломай себе голову.

Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собой, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По

зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сын умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

— Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке. Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу — и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились — Павел совсем огрузнел, и тут, как назло, — Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна — с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала — клюнула на удочку Мани-большой.

Та — шаромыжина известная:

— Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

— Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый воздух…»

А как же иначе? Не у себя дома — на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту — что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха — мало того что бревно, еще и глуха — просто бухнула, а не заговорила:

— Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были…

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья — шары налила — давай высказываться на всю улицу: «Вы признавать меня не хочете… вы сестры родной постыдились… ты дом родительский разорила…» — это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом…

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена-длинные зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки

поточить; Толя-воробышек прилетел… В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.

И только одно успокаивало Пелагею — не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было — пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

7

— Ты как золотой волной накрывшись… Искры от тебя летят…

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке — вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже,

откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

— Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.

— А ты что — опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отходила! Не посмотрю, что начальник.

— Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

— А вот и убыдет. Ты, небось, в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

— А сколько твой билет?

— Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

— Ну, говори, сколько твой билет стоит? — опять завел свою песню.

— Дорого! Денег у тебя не хватит.

— Хватит!

— Не хватит.

— Нет, хватит, говорю!

— А вот устрой пекарихой за рекой — без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать,

что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

— Ладно, устрою. Показывай.

— Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. — И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок — дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая…

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И если сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке — вот что осталось от прежнего золота, — она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, — чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и — с чего? почему? — опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром,

когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

— У нас баня сегодня, — сказал ей тогда Павел. — Когда пойдешь? Может, в первый жар?

— В первый, — сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле — в памяти следа не осталось от той ночи.

Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех. Это еще пустяк — кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля… Восемь месяцев… Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь. Алька, как кочан капустный, выкатилась из нее.

Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закравшееся в душе подозренье — не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Подозренье, как мутная вода, все делает нечистым и неясным. И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой гонится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипяток в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и этой уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подушку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

8

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы

(эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат — не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы…

Пелагея пошла полем: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет — не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась — даст сдачи. А что делать, когда дочь начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день. В тот день как раз случилась у них беда — Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету — в районе. Что делать?

Вспомнили про молодого зоотехника — все больше понимает, чем они сами.

И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время столковались, покамест матерь за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстала, на цыпочки

приподнялась, чтобы понадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватилась. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродальнюю дыру в районе — в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему — все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородой, а Альку обязательно. И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности…

У клуба стоном стонала земля — такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень — моторы, начавшие завывать на реке с полудня, все еще не смолкли, — и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огороду, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было!

— Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна?

Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни, — так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для нее дороже на свете нет, чем эта краснорожая баба с хмельными глазами.

— Здорово, здорово, сватьюшка! — сказала нараспев Пелагея да еще поклонилась: вот мы как свою родню почитаем. — На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть…

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

— Посмотри, посмотри на свою дочерь! Я посмотрела — глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, дура пьяная», когда народ кругом. А через минуту она сама, по своей доброй воле, обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее

в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где? На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле — на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве станет партийный человек себя марать — с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам — офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят — за десять шагов жарко.

— Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через край хватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышло еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашеные кусает. И вот как все одно к одному — Петр Иванович

подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых очков глазки кверху поднимет), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро — короткий век у радости, — и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком — глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

— Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово — растерялась. Замолола что-то насчет жары. Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

— Ничего, — сказал офицер, — мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не пожурить ли для ее же пользы? — подошла Антонида Петровна:

— Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов…

Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

— Нет, нет, Антонида Петровна, — быстро ответила за дочь Пелагея. — К нам милости просим. У нас гостья не поена, не кормлена, — вот где пригодилась сватьюшка! — Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела

оглянуться назад. Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

9

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю — плотно, почти впритык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород — этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями — на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородой. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца

двускатного разорялся. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду и дрова надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

— Шикарно, шикарно живешь! — сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано — да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал — не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула. Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями

вошла на усадьбу. И, боже, что тут поднялось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию — городской все-таки человек, — то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено. Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его сваляли да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась — сама смеялась пуще всех.

Смеялась… А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него…

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Владислав Сергеевич? Алька пе-

репугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети… А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

— Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор полощи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подоспела к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил — да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

10

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка,

в свою скорлупу на задворках да так и захорони себя заживо.

Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думала, и Павел. По первости районный доктор, как обухом, оглушил Пелагею: «Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах…» А Павел поднялся — на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила… А корова и поросенок? А вода и дрова? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня — отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае, так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом. И внове ей была она

сама — такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила. Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый вечер заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

— Да что тут нехорошего-то? — возражала ей Пелагея. — Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

— Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

— Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошалят немного, дак на то им и молодые годы дадены. Мы с тобой свое отшалили…

— Все равно не дело это — с сеном огонь рядом, — твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила своими глазами посмотреть, из-за чего разоряется Анисья.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над

самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антониду Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная — большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, — книжка, как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, — не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

— Что, Антонида Петровна, — спросила Пелагея, — все красу наводишь? Солнышко на себя

имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают…

Ужалила — и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антониду и Сережу. Бог знает, в кого они — беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

— Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами крупитчатыми — знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

— Нет, нет, спасибо… Мне домой надо… — скороговоркой пролепетала Тонечка.

Пелагея вздохнула и — что делать — пошла к лодкам.

11

Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди

да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты — дрова пилят — остановились: «Что это, тетка, с тобой?» А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой простроч ила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.

А в пекарне — тоже небывалое с ней дело — не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощекими ребятками — так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы, — все так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах. Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской

человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

— Ты ошалела тут, срамница! — вспылила Пелагея. — Давай уж и это долой! — Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

— Жарко ведь, — огрызнулась Алька.

— А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. По первости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила, ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой непорядок — хлебы.

Одна, другая, третья… Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных — не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что

вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь. — Не видала, как матерь делает?

— Ладно, — отмахнулась Алька, — исть захотят — слопают.

— Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!

— Испужали… Нашла чем стращать…

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, — а не ейный отросток эта девка. Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет. Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да

красу на себя наводить. Тут ее никакая усталь не берет.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь — нарочно так делала, чтобы позлить мать, — стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

— Мамаша не бывала в городе? — спросил он учтиво. — А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

— Да ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас… к нам городское житье неприменимо…

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид — надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери — зад. Любуйся!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у

мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне — сразу пол заблестел, — прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка худо-хорошо целыми днями работает. В жаре. В духоте. А главное — Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером — он как раз в то время вернулся с улицы. Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

— Алевтинка, — сказала она ласковым голосом и улыбнулась, — ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

— Когда чаи-то распивать? Не без дела сижу…

— Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать… — Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: — Ставь самовар, а я за живой водой сбегаю.

12

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник — за самовар. Чтобы в самое темное время — зимой — солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше. Кто только не забегал к ней тогда! Но — что говорить — такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес — через стену все видит.

Пелагея не поскупилась — две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно — через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула — никто не видал.

А вот какой у него глаз — увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

— А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь — в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина — две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово. Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой — так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) — и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть — заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет — по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы

намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется называть мамашей.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и, уж со своей стороны, маслила и кадила, как могла.

Но Алька… Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал — это дается с годами, да и то не каждому, — да ведь девушка не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно — в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они? Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки — глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растелишься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась, как неук. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее

думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик — и минуты не прошло — сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком — только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца…

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь. Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

13

Пелагея за этот месяц помолодела и душой, и телом.

Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целоваться с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу ей отдался в руки.

А этот вихрь, огонь — того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме — тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша…» — и на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда — другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девки-

но имя? А потом — ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала — созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича — там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит — деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать? Две-три буханки лишних скормить борову — вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо — это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на

цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю — та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.

О другой ягоде — малине — Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году — по уторам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую — сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом — раззадорилась — загнула коробку из бересты, да еще и коробку наполнила.

Домой притащилась еле-еле — дорога семь верст, ноша в три погибели гнет, и за весь день сухарик в ручье размочила.

— Отец, Онисья! — заговорила она с порога, через силу улыбаясь. — Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите…

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и по первости она подумала: спит. Но

он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица. Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

— Где Алька? Не за фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

— Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

— Нету Альки…

— Н-не-ту-у? — У Пелагеи ноги подкосились — едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей — чужому незнакомому человеку машет.

— С тем, пройдохой, уехала? — спросила глухо Пелагея.

— Одна.

— Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

— Тот еще вчера уехал.

— Отец, отец… — истошным голосом заголосила Пелагея, — чуешь, что дочи-то у нас наделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так, по крайности, она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с

пекарни, вдруг начала собираться в город.

14

…То не кустышки в поле расстоналися,
Не кукушка серая на жизнь плачется,
То у нас в селе вдова народилася…

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы…»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьей и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские, — это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсионер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер…

Не было возле покойного только его родного детища — Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца — это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки… Живьем готовы закопать в могилу родителя… Рости их, дрожи над ними…» — то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святый боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Правда, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закричал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр

Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи:

— Беззаветный труженик… С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте… Честный… Пример для всех… Никогда не забудем…

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки — не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. А начали речи говорить — и земля зашаталась под ногами.

— Беззаветный труженик… С первого дня колхозной жизни… Честный… Пример для всех…

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда. Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на санях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правленье? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его непо-

движное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо-хорошо — она прожила целую жизнь…

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку…

15

Вот и дождалась она долгожданного отдыха… Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И ежели кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай…

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солехами да два раза за обабками, натолкла

ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная — с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки. А та не писала. Уехала — и ни одной весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, дак ты и матерь хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще пуще жалела дочь. Где она теперь? Что делает? В чужом городе… Без паспорта…

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведерко рыжиков — ведь должна же она когда-нибудь объявиться, — уплелась далеко, верст за пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек — семь лет тут

возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спускаться с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала?

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года, как установлена в колхозе, а она и не видала.

Скотницы встретили ее шутками:

— Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

— Нет, не потому, — возразил им пастух Олекса Ланин, который, сидя у огонька, попивал чаек, — а потому, что много спите.

— А и верно, что много, — согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И неудивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково

это каждый день два раза мерить дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшенная, до колена, — и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь — машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить лясы!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время. Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню, тащишь буренку на дойку. Глотку сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доильне, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут.

— От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахромеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчонка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец — чистый кипяток! — распорядился: «В скотницы! Раз человечьей грамоты не понимаешь, коровью учи!»

Лида плакала, умоляла отца, матерь, валялась в ногах у председателя, из города дядю военного призывала — только бы не в навоз, не к коровам.

А сейчас — посмотреть на Лиду — и человека счастливее ее нету. Смеется. Во весь рот смеется. От души. А уж одета — картина! Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжищи огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и матерь ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возились с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой. И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

16

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать. Та еще за три дня до смерти просила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пе-

карне — где уж ей теперь тащить такой воз? — но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо — да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

— Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

— Ну и ну!

— Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром — и куда девалось хваленое железо? — не пошевелить ни рукой, ни ногой. И нет дыхания — сперло в груди.

К полудню она все-таки расходилась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома: то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан — всегда зимой один угол промерзает — и

часто-часто выходила на горочки — на угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишье, многое вспоминалось — и хорошее и плохое, — но чаще всего Пелагея возвращалась к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросалась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала с чужим мужиком. Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспишь. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди. И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же участь?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за каки таки заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хлебом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И они завоевали. Никто не мог устоять против ее хлеба — легкого, душистого, вкусного и сытного.

17

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичах и говорить нечего — их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались…

Так ведь то кирпичи — из глины, камень, можно сказать. А что же говорить о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыхала? Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постели…

К Пелагее редко кто заходил. Маню-большую

она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал — это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни, — это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает — тоже жизнь. А ночью как в могиле. Ночью караул кричи — не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комоде.

Афонька, когда переберет, места себе не может найти. Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле. Из улицы в улицу, из заулка в заулок. И, ох же, как выходила из себя Пелагея,

когда Афонькины громы середи ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову. А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист…

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя ни лучше, ни хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, затем подмыла пол, переменила скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов — это уж обязательно: к каждому празднику обнова! — потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель… Да каждый тайком, с оглядкой, чтобы разговоров лишних не было. А в

избу-то забежали — тоже с потехой. Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, вглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять не было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб — весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи, — повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз — шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привстала с кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня-большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте над порогом.

Пелагея и раз и два хватила открытым ртом воздух, а сказать — и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать — не придумать

такого оскорбленья!

Наконец она собралась с духом.

— Не ошиблась адресом? — спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не дойдет, хватила как обухом по голове: — А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновками? Как сборы-то ноне?

Христово богатство — это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег — в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленых» крестов.

Эти «моленые» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест — редкость. А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину — жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней — и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали —

беспощадно вырубали «моленые» кресты. Но разве вырубишь лес?

Маня-большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея — не сорвала свою злость на старухе.

Маня-большая не только не бросилась опрометью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте. Маня-большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди без спроса не курили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пустыми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека — на прощуп — спросила:

— Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

— Да есть кое-что. Не без того же, — уклончиво ответила Маня.

— Грызут друг друга?

— Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

— Да, да, — вздохнула Пелагея, — верно это, верно. Кто и радуется.

— Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

— Я? — Пелагея от удивления даже приподнялась.

— Знамо дело.

— Что ты, что ты, плетня… Мужа схоронила, сама не могу…

Маня против этого не возражала.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось в избу.

Она быстро встала с постели.

— Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу, как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу, — неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять. — Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку — праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин в

здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печи достану…

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки, — Пелагея сразу поняла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

— Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? — переспросила Пелагея и — не могла удержаться — всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать, даже в постель слегла. К губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила — все без толку. «Не то время сейчас, — сказал ей Петр Иванович. — Поворот молодежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта — да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч — Алька с паспортом.

— Да когда это было-то? — все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

— Позавчерась.

— Позавчерась? И у тебя хватило терпенья, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

— Матерь-та эта еще не знаешь как и встретит.

— Ну, ну, — живо замахала руками Пелагея, — чего старое вспоминать. На солнце и на то затемненье находит, а наш брат — баба глупая… Говори, говори, Марья Архиповна!

— Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчерась в лавке сказывал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует…»

— Ну и дали справку-то?

— Да как не дашь-то? Говорю, армия требует…

— Армия?.. — повторила с раздумьем Пелагея. — Дак ведь это он, Владик, хлопочет… Ей-богу, Маша! Господи! — воскликнула Пелагея и прослезилась. — Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать…

— Матерь, — многозначительно заметила Маня.

— Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть, — мечтательно разоткровенничалась Пелагея. — Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Матерь вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомянут…

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем — только мать расстраивать, раз с паспортом нелады. Потом вдруг предложила:

— А терпежу нету — выписывай командировку. В два счета слетаю.

— Ты? В город?

— А чего? Обрисую положенье. Все как есть.

Пелагея строго поджала губы — это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка. Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она, что деньги? Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

— Рублей двадцать пять дам, — сказала осторожно Пелагея.

— За четвертак в город? Шлепай сама! — Маня-большая быстро и деловито начала загибать пальцы: — Билет туда да обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные — на сугрев старухе… — Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, подорожников,

которые напечет Пелагея.

18

Маня ездила в город девять дней — на целых три дня больше, чем они договаривались, — и Пелагея последние ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы. Где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке — не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла — ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шали-завязухи, рукавицы — с крупного мужика — по локоть, какая-то шубенка драная шерстью наружу… В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

— Ну как она? — нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел — третий день с утра до ночи стоял под парами.)

— Хорошо живет. На большой! — ширнула

простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец. — Фицианкой работает.

— Кем, кем?

— Фицианкой, говорю. С подносом со светлым бегает.

У Пелагеи погасли глаза.

— Ох, Алька, Алька! Нету у нас с тобой счастья. Что уж тут хорошего — с подносом бегать…

— А чего нехорошего-то? Там ведь не у нас — чего хватил, и ладно. Под музыку лопают…

— Под музыку?

— Ну! Поедят, поедят, попляшут, чтобы утряску продуктам в брюхе сделать, да снова за стол…

— Дак это она не в том… не в сторани, где мужики выпивают?

Маня коротко кивнула:

— В сторани.

— Ну, а как она из себя-то? Видом-то как? — продолжала допытываться Пелагея.

— А чего видом-то… Работа не пыльная… И деньги лопатой загребает…

— Плети-ко… Кто это там такой щедрый?

— Есть в городах народ. А особенно ежели он выпимши да перед ним задом вертят.

— Задом вертят? И Алька вертит? Да что она,

одичала?

— Сторан, — с умственным видом пояснила Маня. — Положено. Чтобы человек, значит, за свои любезные полное удовольствие получил…

— Ну уж это не дело, не дело, — сказала с осуждением Пелагея и, обращаясь не столько к старухе, сколько к себе, спросила: — Да куда Владик-то смотрит? Он-то как позволяет?

И вот тут-то и посыпалось на Пелагею одно за другим: Владика Маня не видела… На фатере у Альки не была… Как живут молодые — не знает…

— Да чего ты и знаешь-то? — возмутилась Пелагея. — Зачем я тебя посылала? Да ты, может, и в городе-то не была?

Нет, в городе, заверила ее Маня, была. И в «сторани» была. А ежели домой ее Алька не приглашала, то как будешь врать?

— Молодые… — по-своему объяснила Алькино негостеприимство Маня. — Не до старухи дело…

Да, не бог весть как много поведала Маня об Альке и ее городском житье-бытье (даже насчет беременности ничего толком не сказала), а вот что значит материнское сердце — успокоилось немного, и Пелагею снова потянуло на жизнь.

Первым делом она все перемыла да перечи-

стила — самовары, рукомойник медный, таз (любила, чтобы все в избе горело), затем принялась за просушку нарядов.

Нарядов — ситцевых и шелковых отрезов, шалей летних и зимних, платков, платьев, юбок — у Пелагеи были сундуки и лукошки, и для нее не было большей радости, чем летом, в солнечный день, все это яркое, цветастое добро развесить по своей усадьбе.

Нынче из-за болезни Павла наряды не сушили. И вот пришлось это делать сейчас, в самое хмурое время, потому что нельзя откладывать до тепла — запросто может все пропасть.

В натопленной избе было жарко и душно, пахло залежалыми ситцами, красками, а Пелагея блаженствовала. Она вынимала очередной отрез из сундука, шумно развертывала его, пробовала на ощупь, на нюх, на зуб, затем вешала на веревку, натянутую под потолком.

А по вечерам у нее была другая радость — приходила Маня-большая пить чай, и они разговаривали. Обо всем. О том, что делается в большом мире, в районе, в своей деревне. Старуха все знала, везде бывала, а уж если насчет топтать да лягать кого — заслушаешься.

Больше всех от Мани-большой доставалось

семье Петра Ивановича, ее она терпеть не могла, потому что, как ни старалась, как ни изворачивалась, не нашла лаза в ихний дом, и Пелагея не останавливала старуху. А чего останавливать? Не все в чести ходить Петру Ивановичу, пускай и ему маленько почешут бока. Разговор у них обычно начинался так.

— Ну, видела нашу красавицу? — спрашивала Пелагея.

— Каку?

— Каку-каку… Ясно каку — Антониду Петровну…

Тут темное морщинистое лицо Мани передергивалось, как от изжоги: она почему-то особенно яростно невзлюбила тихую и беззлобную Тонечку.

— Нашла красавицу. Ни рожи ни кожи… Как уклея сухая…

— Нет, нет, Марья Архиповна, — притворно возражала Пелагея. — Не говори так. Неладно. Всем люба Антонида Петровна. Кого хошь спроси…

— Да чего спрашивать-то, когда я сама ощупку сделала! Тут недавно в клуб зашла… Мельтешится с зажигалками.

— С кем, с кем? — переспросила Пелагея.

— С зажигалками, говорю, с девочошками —

ученицами… И сама-то зажигалка. За пазухой-то небольно. Разве что ватки сунет — какой бугорок подымется…

— Ватки? — удивленно округляла глаза Пелагея. — Вишь ты, мода-то нынче какая. Ватку за пазуху суют… И красиво с ваткой-то?

Маня дальше не выдерживала — вскакивала, начинала плеваться, бегать по избе, а уж насчет речей и говорить не приходится: всю грязь выливала на дочь Петра Ивановича.

Впоследствии, когда Пелагея опять отказала Мане-большой, она частенько и с раскаянием вспоминала эти постыдные разговоры со старухой, и ей все казалось, что именно за это злоязычие наказал ее бог. И как наказал? Через кого? А через ту же самую Тонечку.

Однажды в полдень, незадолго до Нового года, когда Пелагея развешивала у себя в комнате крепдешиновые отрезы — к этой материи она была особенно неравнодушна, — к ней забежала продавщица Окся.

— По плюшевкам скучала — привезли! — с ходу объявила Окся.

Пелагея не знала, как и благодарить Оксю: у всех замужних женщин были теперь плюшевые жакеты, а она три года не может достать.

Прошли те времена, когда продавцы сами на дом приносили ей товары.

На улице было холодно, северило, мела поземка, а она бежала легко, без устали, так, как бегала в лавку раньше.

Она любила ходить в магазин. Для нее это был праздник. Праздник красок и запахов, от которых она просто пьянела. Ну, а что касается полок с мануфактурой, то она перед ними готова была простаивать часами.

Народу в магазине не было, и Окся сразу, без задержки выбросила плюшевую жакетку. Из-под прилавка. Так что Пелагея без слов поняла, какое одолжение делает ей Окся.

Жакет был в самый раз, может, разве чуть-чуть ширил плечи, да тут капризничать не приходилось, раз такой спрос на этот товар.

— А для Альки-то не возьмешь? — спросила Окся. — А то уж бог с тобой, разоряй. Подождут другие.

И Пелагея, недолго раздумывая, взяла и для Альки. В ту, бабью, сторону двигается Алька. И жакет пригодится.

— Спасибо, спасибо, Оксенья Ивановна! За мной не пропадет, в долгу не останусь, — поблагодарила прочувствованно Пелагея и, завязав жакеты

в большой плат (нельзя подводить человека, который добро тебе сделал), отправилась домой.

И вот на обратном пути против клуба она и столкнулась с Антонидой Петровной. Идет, сапожками модными поскрипывает, лицо уткнула в белый пушистый воротник — сто рублей, по словам матери, заплачено — и замечталась, ничего не видит.

Пелагея, как всегда, первая поздоровалась, чем страшно смутила Антониду Петровну, а потом — бес ее толкнул в бок! — не удержалась, развернула плат. Смотри, смотри, Антонида Петровна. Да не заносись больно-то. Еще кое-кто считается с нами.

Жакет Антониде Петровне понравился.

— Симпатичный… — протенькала.

— А вы-то купили? Нет? — поинтересовалась Пелагея.

— Нет… Кажется, нет… — замялась Антонида Петровна и глазки отвела в сторону.

Да ведь она, наверно, зимой-то, когда очки обмерзают, совсем ничего не видит, на ощупь ходит, подумала Пелагея, и ей опять, как тогда летом у реки, вдруг жалко стало дочь Петра Ивановича.

На Пелагею доброта нахлынула: не подумавши, выхватила из плата жакет — красиво, росомахой

взыграл черный плюш на белом снегу.

— На, забирай, Антонида Петровна! Я, старуха, и без плюшевки проживу. Чего мне надо.

— Нет, нет, спасибо, что вы…

— Да чего спасибо-то! Что ты, Антонида Петровна… Разве я добра не помню? Разве я без сердца? Петр Иванович сколько раз из беды меня выручал… Нет, нет, Антонида Петровна, бери! И слушать не хочу…

Антонида Петровна совсем растерялась. Завертела каблуком, зашмыгала носиком, потом что-то забормотала насчет того, что плюшевки, мол, сейчас не в моде.

— Как не в моде? — удивилась Пелагея. — У нас который год нарасхват…

— То раньше… Вы, пожалуйста, извините меня, Пелагея Прокопьевна, но эти жакеты в магазине висят с лета прошлого года…

Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея пошатнулась от них.

19

Плюшевки все-таки у нее взяли обратно — до самого председателя сельпо дошла.

Но это для нее был удар. Удар страшный. И не

то ее повергло в изумление, что ее надули. Нет, об этом она не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась, попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью, выпала из телеги. А как же иначе? Лейтенант приезжий надул, эта стерва надула… Да как тут жить дальше?

Нет, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза. Отстала. Вышла из моды. Как те плюшевки, на которые накинулась сегодня…

Дома на веревках висели яркие пахучие отрезы крепдешина — ее любимой материи, а в раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не пошевелила. И даже не поглядела.

Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года, думала об отрезах — и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?

Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои, выкармливала

поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется… Да, да, тряпками. Зачем себя обманывать?

Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки. Потому что люди в те годы обносились донельзя.

Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками загребать мануфактуру? Годами загребала, не могла остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя…

С этого дня Пелагея опять слегла.

20

Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все помаленьку топталась, но

работать не могла. Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало…

От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как в глухом лесу.

Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.

Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный, — и она не ради Петра Ивановича, а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить…

— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как заправский пьяница, ударил себя кулаком в грудь. — А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей орбиты сошла?

— Да чего твоей душе надо? Человек с высоким образованием, у всех на виду, здоровьем, слава богу, не обижен — чего еще пытать судьбу?

— Не понимаешь ты, Пелагея… Не понимаешь…

Да, Пелагея и в самом деле не понимала, из-за чего мучается человек. И добро бы он один, Сере-

жа, а то ведь нынешняя молодежь только и знает, что на настроение жалуется. А почему? Отчего? Нет, ей, Пелагее, в их годы было не до настроений. Дай бог кусок хлеба добыть. Да с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уж в суд повели.

— Не в отца ты, Сережа, не в отца, — сказала Пелагея. — Нету у тебя отцовской хватки…

— И слава богу! — петухом вскинул голову Сережа.

А чего же петушиться? Отец-то себя и с малой грамотой вон как в жизни поставил. А ежели ему бы да такое образование, как у сына!

— Жениться тебе надо, Сережа, — посоветовала Пелагея. — Да жену бери покрепче себя. Без настроений…

— Не буду я, Пелагея, жениться. Вовек! — наотрез заявил Сережа.

— Ну уж это не дело, Сергей Петрович, не дело… Надо жениться. Тогда и с бутылкой скорее расстанешься…

— Не буду! — опять с пылом вскричал Сережа. — У меня сердце разбито… Вдребезги!

— Да кто его разбил?

— Кто? Эх! — Сережа пьяно замотал головой, потом вдруг вскочил на ноги, забегал по избе, и

только по тому, как он со вздохом посмотрел на переднюю стену, где рядом с зеркалом висела увеличенная Алькина карточка, Пелагея поняла, кого он имеет в виду.

Она, конечно, не очень верила Сережиным вздохам, мало ли куда занесет человека во хмелю. Но дочери написала: так и так, мол, Алюшка, дорога тебе домой не заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе…

А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься…»

После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да что же это такое? — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо…

Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.

21

Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.

Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом — и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье. И вообще

она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.

Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за стужи. Из-за снежных заносов. Страхи страшные, что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют — так что же говорить о ней, хворой бабе?

И вот дождалась она первой затайки.

Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.

Антоха-конюх догнал на санях перед самым спуском к реке — когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:

— Ты ли это, Прокопьевна? — Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: — Ну-ко, поедем вместе. Скользко спускаться. — И так по-хорошему улыбнулся.

Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.

Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе — так разве оборвет она ее сама?

И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня-большая, щупала отмякшую дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен…

Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя… И хорошо, на реке ей опять повстречалась подвода — на этот раз бригадир из соседней деревни ехал, — а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому. Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются…

— Да куда это власти-то смотрят? — возмутилась она. — Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер наведывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?

Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок. Бросился ей под

ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.

— Да как же так? — опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помои, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недосмотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка — да как его можно терпеть рядом с хлебом?

Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она переступила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все не мыто, засалено, в окошке веник торчит — вот отчего весны на пекарне нету.

Но больше всего Пелагею поразило помело.

Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные, избави боже — сажа; муку, само собой, требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой….

Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем — только что сама села за стол, управившись

с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.

И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищеный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленую после ее ухода, она не посмела бросить даже прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее...

22

За окном кипела весна.

Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, взахлеб, с присвистсм. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.

В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья. Пришла сама.

Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьи здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти

лежит, а этой ничего не деется — все рожа заревом. Нет, если бы Маня-большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что поделаешь — Маня стала прицеливаться к хозяйкиному добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.

Однажды поздно вечером — уже белые ночи на землю пали — к ней зашел Петр Иванович.

Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укатало, что она едва и признала его. Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах — глянул — тоска волчиная. Но и это еще не все. Петр Иванович был под хмельком — вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше? Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой вину не давал. Выпивать, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется — столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло — кулем шмякнулся на прилавок к печи.

— Зашел проведать. Болеешь, говорят.

— Болею, — ответила Пелагея.

Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый, — но Петр Иванович замахал рукой:

лежи, не надо.

Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издалека: о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабатывает народишко. К примеру, Оська-пастух. Кто когда за человека считал? А ведь в прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.

— Да, так вот ноне, — вздохнул Петр Иванович. — А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?

Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни — большие перемены в жизни — и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не затем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?

— Не вовремя мы с тобой родились, вот что, — продолжал Петр Иванович. — Поторопились маленько. Вот Алька твоя, та в пору... Письма-то ходят?

У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.

— Ходят, — сказала она.

— А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума…

— Да ведь угоришь не угоришь, — опять спокойно ответила Пелагея, — а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.

Петр Иванович похрустел пальцами — знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается. И вдруг хватил ее дубиной по голове:

— Имею сведенье: не живет она с этим военным… Одна живет…

По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Альки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки, и другое — когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь кинулась на защиту родного детища.

— А хоть бы и одна, дак что! — с вызовом сказала Пелагея. — Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина…

Намек был страшный — самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглу-

шит ее Петр Иванович.

А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.

Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал. По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.

— Паладья, — сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович. — Я тебя выручал? Не забыла еще?

— Выручал, Петр Иванович… как забыть…

— Ну, а теперь ты меня выручи… Помоги… Ради бога, помоги…

Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще не знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович… Ее, Пелагею…

— Парень у меня погибает… — через силу выдавил из себя Петр Иванович.

— Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете…

Петр Иванович безнадежно махнул рукой:

— Змий этот зеленый сосет, вот что… — Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку. — Ты бы написала Альке… Чего ей там на чужой шататься стороне… Может, и получилось бы дело…

Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет… Чтобы Алька взяла в руки Сережу… Вот зачем пришел…

Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей.

Господи, она с ума сходила из-за этих пяти тысяч, ночей не спала, чуть ли не в прорубь нырнуть хотела. А он, ирод проклятый, вишь, молодую бухгалтершу проучить решил. Чтобы нос не задирала. А заодно чтобы и хлеб даровой с пекарни получать. Да, да, хлеб! Погрел он руки от нее. Без булки белой за чай не садился. А за что? За какие такие милости? За то, что в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол посадил? Да пропади она пропадом и компания евонная, и хорошие люди! Всю жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добилась? Одна… Насквозь больная… Без дочери… В пустом доме…

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются… Но вслух она сказала:

— Ладно, напишу. Может, и послушается.

Пелагея плохо помнила, как ушел от нее Петр Иванович. Ее душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычно хорошо. Хорошо до слез, до знойного жара в груди. И она хватала запекшимися губами избяной воздух и все больше и больше распаляла свое воображение надеждами.

Теми радужными надеждами, которые заронил в нее Петр Иванович.

Она не сомневалась — приедет Алька. Ведь не дура же она круглая. Как не понять, что это счастье. Правда, сам Сереженька, может, и не ахти что, хоть и инженер, да зато отец всем кладам клад. Ах ты господи, говорила мысленно себе Пелагея, в одной упряжке с таким человеком шагать… Да ведь это каких дел можно наворочать!

На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко.

На пол, на пол надо, по старой привычке подумала она. Крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела…

Так лежащей на голом полу возле кровати и нашла ее наутро Анисья. Она бросилась поднимать ее. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом.

* * *

Альки на похоронах не было — с открытием навигации она плавала буфетчицей на одном из видных пассажирских пароходов, ходивших по Северной Двине.

Приехала Алька лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по здешним местам. С участием чуть ли не всей деревни.

Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезов на платья, самоваров и прочего добра, нажитого матерью.

А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

1967–1969

Безотцовщина

1

Грибово — единственное место по Черемшанке, где не держится комар. Высокий, широко расползшийся холм, как шляпа гриба-великана, поднимается над зелеными лугами. В погожие страдные дни там никнет трава от жары, а с тонких говорливых осинок, угнездившихся по скатам холма, все лето не сходит загар. По вечерам же с лугов тянут сквозняки. Словом, как ни хитри комар, а зацепиться тут не за что.

Именно поэтому, выбирая место для новой избы на здешнем покосе, облюбовали Грибово. Изба, сложенная из крепкого, все еще сочащегося слезой сосняка, получилась добротная, просторная. Только на одних нарах, опоясывающих стены, может разместиться десятка полтора людей, а если еще застлать пол сеном, то живи хоть всем колхозом.

Днем, когда люди на пожне, у избы остаются Володька да Пуха.

С обязанностями своими Володька справлялся походя. Присмотреть за пятью-шестью лошадьми,

согреть утром и вечером чайники, нарубить дров для костра — разве это работа для пятнадцатилетнего крепыша? Правда, он мог бы спуститься на пожню — лишние грабли там никогда не помеха, тем более что в горячие дни приходилось специально подбрасывать из деревни домохозяек и голосистый актив — молоденьких девушек из контор, студенток-отпускниц, школьниц, но Володька предпочитал другие занятия. Целыми часами бродил он с удилищем по отлогим осотистым берегам Черемшанки, валялся в избе, дурея от сна и скуки, а то опять заберется на каменный лоб, круто нависший над речкой, и сидит неподвижно и окаменело, как ястреб-рыболов, высматривающий добычу.

В последнее время Володька нашел для себя еще одно занятие — подглядывать за купальщицами. По вечерам, когда машина с домохозяйками и активистками возвращалась домой, Петька-шофер на несколько минут делал остановку напротив избы за рекой — по просьбе девчонок, которые, выскочив из кузова, со смехом наперегонки бежали к плесу.

Впрочем, смотреть, как шумно и бестолково хлопается, трется о камешник мелюзга, ему не доставляло никакого удовольствия. Но вот когда

на яме показывалась светлая головка Нюры-счетоводши, сердце его схватывало непривычным холодком. Облитая розовыми лучами солнца, она, как семга, играла в кипящей воде, а потом по-мальчишески, без брызг, выгребала саженками.

Сегодня Володька напрасно лежал, затаившись в кустах, — машина, то ли потому что было уже поздно, то ли еще по какой причине, не останавливаясь, прогромыхала к броду.

Володька встал, уныло побрел к избе. Пора было разжигать огонь, кипятить чайники. Пуха, обогнав его, с лаем бросилась отгонять от избы гнедуху, немолодую, но еще довольно резвую кобылу, которая из-за любви к хлебной корке вечно торчала около жилья.

— Стой, стой! — закричал вдруг Володька.

В несколько прыжков он подбежал к гнедухе (она всегда ходила в узде), с разбегу закинул на нее свое небольшое цепкое тело, спустился с холма и галопом понесся к броду.

Машина уже проскочила речку и с воем брала пригорок.

— Девки, девки! — закричали женки, заметив Володьку под кустами. — Смотрите-ка, разбойник!

Володька с силой поддал каблуками в бока

гнедухе — и началась потеха.

Машину трясло, подбрасывало на кочках и выбоинах, девчонки и женки мотали головами, визжали, когда полуторку заносило на поворотах, — кто от страха, кто от удовольствия. Володька распластавшейся птицей летел за машиной. И если в ручьевинах ему удавалось догнать ее, он начинал отчаянно работать плеткой, стараясь добраться до какой-нибудь зубоскалки. Потом грузовик отрывался от него, и он, мокрый, распаленный игрой, опять скакал за ним.

Больше всего ему хотелось дотянуться до Нюры-счетоводши — она смеялась всех громче. Но поди достань ее: забилась в самую гущу — только голова, как подсолнух, мотается. И все-таки на последнем повороте, где дорога круто забирает в лес, он сумел добраться и до Нюрочки, да так славно вытянул, что она захлебнулась от боли, а сидевшая рядом с ней Шура, бледная, недавно родившая молодуха, которой, видимо, тоже попало, заругалась:

— Дурак бестолковый! Разве так за девушками ухаживают?

Машина въехала в рослый березняк, завизжала, захлопала на корневищах, переходя на третью скорость, затем, выскочив на прогалину, послед-

ний раз махнула цветастой россыпью платков.

Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющемуся смеху девчонок — то-то перемывают сейчас ему косточки, — потом вдруг вспомнил, что ему давно пора быть у избы, и резко повернул кобылу. Пуха, казалось, только этого и ждала: вырвалась вперед и, как клок пестрой шерсти, подхваченный ветром, бесшумно покатилась по влажной от росы тропинке.

В низинах уже свивался туман, было свежо в отсыревшей рубахе. На ближайшем плесе, как всегда об эту пору, закрякала утка, скликая своих детушек, — глупая, никак не может понять, что их убил Володька еще в первый день приезда на сенокос. Пуха моментально насторожила уши, но он с раздражением махнул рукой, и она послушно засеменила по тропинке.

Володька поторапливал гнедуху и ругал себя ругательски.

Люди теперь наверняка вернулись к избе, и нагоняя ему не миновать. Да нагоняй что! Ну поворчит, поразоряется Никита — так, для видимости больше, потому что бригадир; ну вцепится еще эта ехидина Параня — баба злющая, как все старые девы… Но в конце концов у него тоже не тряпка во рту, да и среди баб найдется заступни-

ца. Нет, не предстоящая головомойка беспокоила Володьку. Его тревожило другое: приехал или нет Кузьма?

Володька не то чтобы побаивался или как-то особенно уважал Кузьму. По правде говоря, он даже презирал его, презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить, извернуться, где надо. Ну не дурак ли в самом деле? Где хуже да труднее работа — туда и его. На Шопотки, например, сроду никто с косилкой не езживал — дорога туда грязная, с выломками, зимой едва добираются, — а этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильевич, выручай — кроме тебя, никто не проедет», — Володька сам слышал этот разговор в правлении. Кузьма Васильевич и раскис.

И все-таки ему сейчас ох как не хотелось позориться перед Кузьмой.

«Хоть бы он заболел, хоть бы в яму какую свалился по дороге», — думал Володька.

Напрасная надежда! Едва он выехал на луг, опоясывающий холм, как тотчас же увидел лошадей Кузьмы. Высоко на холме, будто под самым небом, жарко горел огонь, и отблески его алой попоной пламенели на белой Налетке, стоявшей рядом с рослым угольно-черным Мальчиком. Колхозни-

цы, сгрудившись вокруг костра, готовили ужин, а один мужчина, потряхивая светлой большой головой — это был Кузьма, — рубил дрова.

Володька призадержал лошадь, мучительно соображая, как ему поступить: то ли подъехать с повинной головой, то ли, напротив, подкатить этаким чертом, которому все нипочем.

Верх взяло последнее. Пропадать — так уж пропадать с музыкой!

На вечерней заре громом раскатился топот копыт. Перепуганные лошади, бродившие по лугу, ошалело всхрапывали, шарахались в стороны. Холодный ветер — откуда только взялся — резал лицо, расчесывал волосы.

У избы, едва не сбив какую-то женщину, Володька на всем скаку осадил гнедуху, лихо спрыгнул наземь.

А дальше, как и следовало ожидать, открылся целый митинг.

— Это тебя где черти носят? — кричал, наседая, Никита. — Кто за тебя чайники греть будет?

Володька огрызнулся:

— А если у меня гнедуха убежала?

— У тебя гнедуха-то особенная — за девками бегает, — поддела Параня.

— Я не согласен. Ежели он за кашевара, то что-

бы к моему приходу все было в аккурат.

Володька метнул свирепый взгляд в сторону Кольки. Чистенький, волосики влажные, причесаны, уже и переодеться успел: белая рубашка с коротким рукавом, на ногах тапочки. Как же, воображает себя рабочим классом, культурно отдыхающим после трудового дня!

— Что глазищами-то завзводил? — накинулась Параня. — Правду парень говорит. На год тебя старше, а за взрослого робит.

И пошло, и пошло. Манефа, Устинья, кривой Игнат, даже старик Егор, молчун по природе, и тот что-то прошамкал…

Володька едва успевал поворачиваться — так и рвали со всех сторон, как худую собачонку.

Наконец бригадир Никита, медлительный, с обвислыми, как у медведя, плечами и весь заросший черной щетиной, как бы подводя итог, обратился за сочувствием к Кузьме:

— Беда с этим парнем. И работенкой-то, кажись, не неволим, а совсем от рук отбился. Одно слово, безотцовщина…

Володька с вызовом уставился на Кузьму — ему даже пришлось приподнять подбородок, чтобы встретиться с его глазами, — дуракам всегда везет на рост. Пускай только вякнет. Он такое

ему врежет — век будет помнить. Нет, ежели ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу — это Володька хорошо усвоил за свои пятнадцать лет.

Но Кузьма — вот уж не от мира сего — словно спал, словно не слышал того, что тут творилось.

— Сведи лошадей. Да Налетку на веревку — понял? А то уйдет — бедовая кобыленка.

И все. Володька, приготовившийся было сорвать свою злость на Кузьме, с удивлением и нескрываемым презрением усмехнулся, а затем не спеша, нарочно подчеркивая свою независимость, отвязал от косилки лошадей и повел вниз, на луг.

Когда он вернулся к избе, люди уже сидели за столом — кто, обжигаясь, ел кашу-огневицу, кто подкреплялся похлебкой, а кто по привычке северянина нажимал на чай.

Володька прошел в сенцы, отсыпал из своих пожитков муки в миску и, пройдя к огню, начал приготовлять еду для Пухи.

— Вот как хозяин-то настоящий, — усмехнулась Параня и кивнула Кузьме, — сперва собаку, а потом уж сам.

— Да не в собаку корм, — лениво поморщился Никита. — Ну что Пуха — Пуха и есть. Осенью

шкуру содрать — рукавицы не выйдут.

Володька отлично понимал, к чему гнет Никита. Обычное дело — как вечер, так и потеха над Пухой. И ему, конечно, лучше бы промолчать, но разве стерпишь такую обиду?

— Ты своего Лыска обдирай, он весь в лишаях, а я осенью охотиться буду.

— Это с Пухой-то охотиться? Нет, парень, с котом и то больше толку. По крайности, мышь какую добудешь.

Все захохотали. Колька, подлаживаясь к начальству, съязвил:

— Твоя Пуха только сорок гонять.

— А белку не при тебе облаяла?

— Белку? — Колька вытаращил глаза. — Это когда же?

Эх, и влепил бы ему Володька, будь они наедине, — небось сразу бы вспомнил!

— Ешь! — прикрикнул он на Пуху.

Пуха, как нарочно, вся перемокла в росе, когда они водили лошадей на луг, и теперь, мокрая, со свалявшейся на спине и боках шерстью, с пугливо поджатым хвостом, казалась еще меньше. И начала она лакать похлебку тоже не по-собачьи: с краешка миски, неуверенно, то и дело поглядывая своими черными блестящими глазами то на

Володьку, то на людей.

— Он пять раз на дню ее кормит, — завела опять Параня, — все думает откормить.

— Балда ты, Володька, — сказал Никита, — маленькая собачка до старости щенок. Вишь ведь, глаз-то у нее хитрый, старый.

— А сколько этой Пухе? — спросил Кузьма.

— Беспачпортная, — услужливо разъяснил Колька. — Умные люди на улицу такое добро выбрасывают, а дураки подбирают.

Пуха, видимо догадываясь, что разговор идет о ней, все чаще отрывалась от еды, вопросительно посматривала на Володьку и наконец тихонько скрылась с людских глаз.

— Да, парень, — сказал Кузьма, вставая из-за стола, — если ты всерьез охотиться думаешь, собаку надо искать не на улице.

— А я говорю, что она белку и сейчас берет!..

Но Володьку уже никто не слушал. На землю незаметно спустилась ночь — короткая, страдная, и надо было отходить ко сну. Женщины начали наспех ополаскивать посуду. Из открытых дверей повалил дым: каждый раз на ночь — для воздуха — в избе курили сеном.

Володька, допивая остывший чай, морщился от дыма и нет-нет да и поглядывал на Кузьму

и Никиту, уединившихся в стороне у косилки. О чем они толкуют? И почему Колька вертится как на угольях? В руках газета для маскировки, а сам шею вытянул, глазами ест бригадира. Ага, понятно, Кузьма помощника себе просит.

И Володька со злорадством посмотрел на Кольку. Поезжай-поезжай! Девчонки на Шопотки не приедут. Живи вдвоем, как в берлоге.

Но черт бы побрал этого тугодума! Ни да ни нет. И за что только в бригадирах держат?

— Ежели такая сушь, мне без Николая тоже не управиться…

Володька, не допив, выплеснул из кружки чай.

В этот вечер долго не спали. Никита в который раз начал рассказывать, как он впервые увидел спутник на небе. Потом оказалось, что спутник видели и Параня, и Колька, и даже кривой Игнат. Брешут, конечно. Небось, ежели бы видели, рот на замке не держали. А то будто специально Кузьмы дожидались.

— А вы, Кузьма Васильевич, видели? — Это Колька. На «вы», по-культурному.

Володька, лежа на полу недалеко от дверей, приподнял голову. Кузьму послушать интересно — в городе человек жил, по партийной мобилизации, говорят, в колхоз прислали.

— Нет, не приходилось.

Слава богу, нашелся хоть один человек, который, как и он, Володька, не видел спутника! Но зато, как выяснилось, Кузьма досконально знал, что за звезды вокруг Земли и сколько до них расстояния.

— А правда, что скоро на Луну полетят? — спросила Параня.

— Скоро не скоро, а полетят. А пока собак в космос запускают.

На нарах заворочался Никита:

— Володька, ты бы свою Пуху пожертвовал, а то хороших собак переводят.

— Для науки… — захихикал Колька.

Нет, не вышел номер. Кривой Игнат давно уже раздувал свои старые мехи — тяжко, старательно, словно и во сне продолжал махать косой. Тихо, невнятно что-то бормотал себе под нос вечно молчаливый Егор — людей послушать, так это он разговаривать учится. Кто его знает, может, перед смертью и разговорится. Вскоре сон подкатил и к остальным.

Володька встал тихонько, вышел на волю.

Густой туман заволок все кругом. От росы щиплет босые ноги. На огневище чуть-чуть тлеют головешки.

Заслышав шаги хозяина, из-за угла тотчас же выпорхнула Пуха, теплая, с былинками сена в шерсти. Она лизнула Володькины ноги и робко и заискивающе подняла к нему лисью мордочку с черным пятачком.

Володька долго разглядывал ее. Потом он достал из кармана веревочку, присел на корточки.

Пуха съежилась.

— Стой как следует, — с угрозой прошипел Володька.

Подросла ли сколько-нибудь? Не поймешь. Вроде и подросла, а вроде и нет. Во всяком случае, узелок на веревочке, как и три дня назад, по-прежнему тонул в Пухиной шерсти.

2

Утром проспали — обычная история, когда к избе приезжает свежий человек. Пока умывались внизу, на речке, кипятили чайники, солнце съело росу. Чай пили второпях — вот-вот, с минуты на минуту, подгонит лошадей Володька. Но напились чаю, прибрали посуду, а Володька не появлялся. Где Володька?

Стали кричать на разные голоса: «Володька, Володька!» — ответа не было.

— Порядочки, — покачал головой Кузьма.

Всем понятно было, почему нервничает Кузьма. Другим только спуститься под гору, перейти речку — и пожня, а ему надо попадать на Шопотки, куда и без машины не каждый заедет.

— Николай, — сообразил наконец Никита, — бежи за лошадями.

Колька вскоре вернулся верхом на гнедухе.

— Нету лошадей — ушли! — весело, точно радуясь, отрапортовал он.

Кузьма побагровел:

— Как нету? Я же ему что сказал? Связать?

— Ну да, там и веревками-то не пахло.

— Ах, сукин сын, сукин сын! Навязали мне ирода на шею. Николай, выручи…

— Ладно, — Колька покровительственно кивнул бригадиру. — Лошади сейчас будут. Но что это? Бах, бах…

— Вот он, дьяволенок, — торжествующе сказал Никита, указывая рукой на лес. — Ружьичишком забавляется, а мы жди…

Поднялась страшная ругань: сколько еще терпеть? До каких пор этот прохвост будет измываться над ними! В трудколонию его — там живо шелковым сделают… Да, многое прощали Володьке: сирота, без отца растет. Но должен же быть предел!

…Сначала, как и положено, появилась Пуха, а потом уже следом за ней, раздвигая кусты, вышел охотник. На минуту он остановился, победно оглядывая людей, затем высоко поднял правую руку, и все увидели в ней рыжего зверька с белым окровавленным брюшком. Володька шел не спеша, вперевалку, в такт шагам покачивая светлой взлохмаченной головой. За плечом ружье, вокруг пояса широкий брезентовый патронташ — самый заправский охотник.

А Пуха? Что творилось с Пухой? Она юлой кружилась вокруг своего хозяина, забегала вперед, на секунду останавливалась, глядя на него своими маленькими блестящими глазами, затем поворачивала ласковую, торжествующую мордочку к людям: да посмотрите же, посмотрите на него! Ведь это Володька, Володька…

Сияло солнце, птицы пели на каждом кусте…

И вдруг все померкло. Большой, громадный человек тучей надвинулся на Володьку, выхватил у него белку. Раз, раз — и прямо по лицу. На скулах у Володьки показалась кровь.

Пуха завыла.

Никто не ожидал такой развязки. Женщины зароптали:

— С ума сошел! Свет перевернется — на час

опоздал.

— Нехорошо, Кузьма Васильевич! Не своего бьешь — сироту.

Кузьма отбросил белку в сторону, круто обернулся к бабам:

— Какой он, к черту, сирота! Меня отец в его годы драл как сидорову козу.

— Дак то отец…

— А мой отец, ежели напакостил, одинаково драл и своих и чужих. И мне наказывал. Понятно? — И Кузьма широким, размашистым шагом пошагал к косилке.

Внизу, за избой, раздался топот, веселый захлебывающийся крик — это Колька поскакал за лошадьми.

Володька, бледный, закусив губу, водил зелеными, округлившимися от злости глазами вокруг себя. Он одинаково ненавидел сейчас и тех, кто ему сочувствовал, и того, кто так жестоко обидел его. Возле него виновато терлась Пуха со злополучной белкой в зубах. Володька в ярости отбросил ее пинком. Пуха перевернулась в воздухе и, жалобно взвизгивая, покатилась по выкошенной пожне.

Колхозницы, еще несколько минут назад выказывавшие ему сочувствие, замахали руками:

— Дурак! Худо тебе попало!

— Собачонка вокруг него так и эдак, а он куражится.

— Чего набычился? Вытри рожу-то — не на спектакле.

В самом деле, глупо было стоять вот так, у всех на виду. Володька прошел в сенцы, скинул с плеча ружье, снял патронташ и, войдя в избу, бросился на постель.

За стеной, на улице, разговаривали, смеялись бабы, стучал ключом Кузьма, выверяя косилку перед отъездом, время от времени подавал голос Никита: «Ни-колай!» А Володька, уткнувшись лицом в старый, заскорузлый и провонявший потом ватник, одновременно служивший ему подушкой, молча глотал слезы, скрипел зубами. Временами он забывался — сказывалась бессонная ночь, потом внезапно просыпался и снова, истерзанный бессильной яростью и усталостью, проваливался в зыбкую, как болотный мох, дрему…

Что случилось? Откуда топот, ржанье? Ах, да, Колька привел лошадей…

Он поднял отяжелевшую голову, сел. Как быть? Выйти на улицу или уж лучше обождать, когда все уберутся на пожню? Нет, черт подери, он

выйдет! Выйдет! Хотя бы только для того, чтобы увидеть, какая кислая рожа будет у Кольки, когда его попрут на Шопотки.

Володька вскочил на ноги, отыскал на окошке осколок зеркальца, перед которым наводила красу Параня, начисто стер с лица следы беличьей крови.

Возле избы, как всегда перед отъездом на работу, взнуздывали лошадей, прилаживали к спинам войлоки — хоть и близко до пожни, а на лошадях лучше, по крайней мере, ноги не замочишь, перебираясь через речонку. Кузьма с помощью Никиты запрягал Налетку — дрянь кобыленка, ни секунды не постоит спокойно. И лишь Колька, картинно развалясь у стола и попыхивая папироской, не принимал участия в общей суматохе. Как же, герой! Что, мол, ему пустяками заниматься. Он свое дело сделал… Ладно, посмотрим, как запоешь сейчас!

Володька, до сих пор поглядывавший на людей сквозь щель в сенцах, подался к проему раскрытых дверей.

— Кузьма Васильевич, а Кузьма Васильевич! — живо воскликнул Колька. — А Володьку не хочешь? Он на тебя уж час смотрит влюбленными глазами.

Ну, гад, погоди! Дорого ты заплатишь за это! И Володька, трясясь от бешенства, шагнул через порог.

Он был уверен, что и на сей раз все кончится злой шуткой, но, к его великому удивлению, Колькины слова приняли всерьез: надо сначала с Грибовом управиться, а потом уж наваливаться на Шопотки. Пускай спервa Кузьма один едет, а для веселья хоть Володьку возьмет — не все ли равно, где тому хлебы переводить?

Кузьма подумал, коротко сказал:

— Уговорили.

— Не поеду! — отрезал Володька. Он давно уже ждал этого момента.

Его стали упрашивать, уламывать — один Кузьма ни слова.

— Сказал, не поеду. Чего пристали?

— Пристали? — Кузьма вдруг выпрямился во весь свой громадный рост, повел бровью: — А ну, живо! Забирай свое барахлишко!

Володька с ненавистью посмотрел ему в лицо, потом плюнул себе под ноги и, сопровождаемый тревожными и по-собачьи преданными взглядами Пухи, пошел в сенцы.

3

От Грибова до Шопотков считается пять верст. Но кто хоть раз попытался установить, что такое крестьянская верста!

Впрочем, дорога вначале как дорога — даже радуешься, попадая с солнцепека в лесную прохладу.

Внизу — Черемшанка: всплеснет, взыграет на дресвяных перекатах и снова нырнет в густой, непролазный ольшаник. Иногда в отлогом берегу увидишь песчаные размывы с лунками, с помятой травой вокруг и порыжелыми обломанными ветками — не иначе как зверь выходил на водопой. Хороша и правая сторона дороги: высокий сосняк, прошитый белой березой, и, куда ни глянь, всюду россыпи голубики — будто небеса спустились на землю. Но так только вначале. А вот переедешь мокрую ручьевину, сплошь заросшую собачьей дудкой да кустистым лабазником, и начинается черт-те что: замшелый ельник, сырость, комар разбойничает…

Володька, ворочаясь, ерзая на мослаковатой хребтине, бился, как на муравейнике. Но вскоре стало и того хуже: на голову надвинулись еловые лапы, и ему пришлось раскланиваться чуть ли

не с каждой елью. И всякий раз, когда он разгибался, глаза его натыкались на одно и то же — на ненавистную спину Кузьмы. Крепкую, широкую, окутанную серым облаком гнуса. Но тот хоть бы рукой пошевелил. Качнется, когда колесо косилки наскочит на корень или колодину, и снова как пень. Неподвижный, молчаливый.

И это каменное спокойствие и невозмутимость больше всего бесили Володьку. Как будто так и надо — съездил человеку по морде — и радуйся. Конечно, он, Володька, виноват: надо было эту кобыленку связать, раз она такая прыткая. Но если правду говорить, для кого он торопился к избе? Может, Никиту да Параню не видал?

А всю ночь не спал, за белкой гонялся?

И чем больше он распалял себя, тем с большей изощренностью обдумывал будущую месть. Поджечь дом, изувечить корову — пусть-ко он без коровы с ребятишками помается… Нет, не то. Не по-мужски. Уж если сводить счеты, то сводить с ним самим. Подкараулить, например, ночью и камнем из-за угла или залезть на крышу и чурку на голову…

Так думал Володька, качаясь под низким навесом ельника и отбиваясь от комаров. Иногда он доставал сухарь, грыз сам, бросал Пухе, семенив-

шей сбоку — ведь они с утра ничего не ели, — и снова, наткнувшись взглядом на широкую, несокрушимую спину Кузьмы, возвращался к мыслям о мести.

Миновали еще один ручей с высокой, жирной, годами не выкашиваемой травой, потом переезжали небольшое болотце. Лошади проваливались, колеса косилки вязли. Кузьма рубил ольховые кусты, елки — все, что попадало под руку, бросал под колеса. Помогать? Нет, Володька и не подумает.

За болотцем снова ельник и снова поклоны направо и налево. Когда же это кончится?

А кончилось неожиданно: впереди вдруг распахнулись синие ворота неба, дорога покатилась вниз, и они выехали к речке. Кузьма остановил лошадей перед самым спуском к воде, слез с косилки, расправил занемевшие плечи — с наслаждением, до хруста. Прислушиваясь, сказал:

— Слышишь, журчит? Тут ключи со дна бьют, дресва шевелится — вот и похоже на шепот. Верно?

Володька, не отвечая, хмуро смотрел по сторонам. Шепот-то есть, а где же трава? Действительно, кроме маленькой и то наполовину затянутой ивняком пожни, на которой они сейчас стояли,

вокруг не было никаких покосов. Справа — лес, слева — лес, и на том берегу, за кустами, тоже лес.

Кузьма, похрустывая галькой, спустился к Черемшанке, перешел ее вброд — вода была чуть-чуть повыше щиколотки.

— А ну, давай сюда.

Чего давать? Ехать? Пешком идти? Володька поехал.

— Сейчас начинается самое трудное, — сказал Кузьма. — Попробуем сперва без машины.

Раздвигая кусты, он пошел вперед. Володька — за ним. Замелькали просветы, потом показался калтус — зыбкая болотина, затянутая реденькой осокой и лопушкой.

Кузьма ступил на калтус — начал проваливаться.

— Вишь что делается. — Он выбрался на твердую почву, поковырял носком сапога трухлявую валежину из березы — такие валежины, как белые кости, из конца в конец покрывали калтус. — Тут раньше настил был — вон туда, на кусты. Ну-ко, толкни коня.

Володька «толкнул». Валежины хрупнули, и конь провалился до брюха.

— Да, задача… — Кузьма, задумавшись, почесал

затылок.

Чеши, чеши! Надо было раньше чесать. А в общем, какое ему дело? Не он затеял эту прогулку на Шопотки. И Володька с подчеркнуто безучастным видом продолжал горбиться на коне.

— Ладно, — сказал Кузьма, — двигай к избе. Ты бывал на Шопотках? Нет? Тут она близко. Калтус да кусты проедешь — и изба. Никита говорил, что в сенцах коса должна быть. В общем, обживайся, а я что-нибудь стану соображать.

Да, помирать будет Володька, а и тогда вспомнит этот калтус. Качалось небо, качался лес — все ходило ходуном. Конь натужно, с храпом выбрасывал передние ноги, хлопался мордой в жидкую грязь, отфыркивался и снова месил болотину. У Володьки несколько раз мелькало в голове — все, конец, не выбраться, и он уже намеревался сползти с коня или как-нибудь завернуть его обратно, и он бы сделал это, если бы не Кузьма. Унизиться перед заклятым врагом, признать себя побежденным — вот, мол, без тебя никуда не попал — ну, нет! Лучше издохнуть в этом калтусе! И, чувствуя, как его до слез прожигает новый прилив ненависти, он стискивал зубы, рывком бросал свое тело вперед, чтобы помочь коню…

Когда он выбрался из трясины, у него не было

сил, чтобы оглянуться назад. Да и не все ли равно, смотрит на него Кузьма или нет…

Вид избушки окончательно доконал его. Старая, скособочившаяся, она со всех сторон заросла высоким ельником крапивы — непременной спутницы всякого запустения. На обомшелой крыше грелись ящерицы, и, когда он бросил на землю заплечный мешок, они с сухим треском зашуршали по тесницам.

Он заглянул в сенцы (для этого пришлось ползком пробираться через обвалившийся проход) — крапива; заглянул в избу — зеленый полумрак, комары всхлипывают. На рухнувших нарах дотлевает сенная труха, вместо каменки — груда камней…

Надо было, однако, что-то делать. Коса, о которой говорил Кузьма, оказалась не в сенцах, а на потолке избушки. Заржавела, косье свело: кто-то, видно, вырубил елку, обстругал, кое-как приладил к пятке и бросил — ни себе, ни людям.

Но как попала сюда коса? В этом году Никита не был на Шопотках — Володька знал точно. Может быть, прошлым летом кто заезжал? Ведь уж который год идут разговоры: надо взяться за Шопотки. А вот охотников не находилось — дошлый народ! Поджидали, когда этот Кузя из города приедет.

Володька выкосил крапиву в сенцах, около избы, отгреб. Кузьма не подавал о себе никаких вестей.

Палит солнце. Мрачный ельник стеной упирается в небо. Лупоглазые ящерицы смотрят с крыши… И такая тоска вдруг взяла его, что он не выдержал — закричал. Никто не ответил ему. Даже эхо, хоть маленькое эхо, и то не откликнулось на его призыв.

Он откинул ногой полость свернувшегося войлока, пал на него ничком. И за каким дьяволом он поехал сюда? Девок испугался — засмеют, бедного. Ну и что? Разве от смеха умирают? Губы пересохли, хотелось пить.

Он сходил к речке, напился.

Где Кузьма? Неужели все еще «соображает»? Люди глупее его были — калтус мостили. А он, поди, особенный, по воздуху на машине проскочить хочет…

Сморенный жарой, усталостью, Володька незаметно для себя задремал. Во сне ему снилось раздольное Грибово, девчонки, со смехом купающиеся на плесе, Нюра-счетоводша в красном купальнике и почему-то в больших меховых рукавицах, вывернутых наизнанку шерстью, бегала за ним по лугу…

Вот оно что! Пуха, сатана, привалилась. Володька с досадой оттолкнул ее от себя, сел. Ему показалось, что в кустах, у реки, справа, будто что-то треснуло. Пуха, поджав хвост, настороженно смотрела туда. Неужели зверя чует? А что, вылез к реке пить, а тут конь на лугу… И, холодея, Володька невольно скосил глаз на избу. Без дверей…

— Но-но!.. — вдруг отчетливо услышал он человеческий голос.

Да ведь это Кузьма!

Володька вскочил на ноги, побежал к речке. Верхушки кустов над речкой качались, треск, шум — будто жернова ворочают. Как он туда залез? Под ногами обрывистый спуск к воде… Володька не раздумывая прыгнул на дресвяный берег… Невероятно! Рекой… Прямо рекой ехал Кузьма! Точно водяной на своих рысаках — Володька видел где-то картинку: старик с длинной седой бородой, на голове корона, в руках вилы…

Володька кинулся в воду, закричал:

— Давай, давай! — Потом, сообразив, что надо делать, зашлепал вверх по реке. — Сюда, сюда! — опять закричал он, увидев впереди, за поворотом, отлогий берег.

Лошади, навьюченные мешками, корзиной,

вышли на берег, пошатываясь. С них ручьями стекала вода.

Кузьма отжал подол рубахи, штаны, шумно, как конь, отряхнулся. Глаза его, залитые потом, возбужденно блестели.

— В одном месте все-таки нырнул. Хлебы, наверно, подмокли.

Володька готов был слушать до бесконечности. Черт знает что! Из реки дорогу сделать… Надо же придумать такое! Но Кузьма коротко бросил:

— Поехали.

У избы сняли мешки, корзину, распрягли лошадей.

Кузьма заглянул в сенцы, заглянул в избу.

— Ты что, на курорт приехал?

Все вернулось к старому. И Володька, сразу помрачнев, буркнул:

— Ты сказал, у избы выкосить…

— А сам-то не понимаешь, что надо? На крапиве спать будешь? Разжигай огонь.

Пухе явно была по душе трудовая суматоха. Она покрутилась возле пылающего, как вызов, брошенный дремотным небесам, костра, побывала у лошадей, бродивших по брюхо в тучной траве, и даже осмелилась заглянуть в кусты — туда, где, будорожа эхо, гремел топором этот непонятный

и страшный для нее человек.

Кузьма вышел из кустов с огромной ношей свежих лесин, с грохотом бросил у избы.

— Давай подновим ее маленько.

Он выбрал еловую лесину, подал Володьке. Потом, став на колени, подвел свое плечо под осевший угол сенцев и начал приподыматься. Угол и крыша дрогнули и медленно поползли вверх.

— Ставь.

Володька, обхватив обеими руками стойку, поставил. Угол сел на стойку.

— Так, — сказал Кузьма, разгибаясь и вытряхивая из-за ворота гнилушки. — Одно есть.

Вслед за тем выбросили прогнившие нары из избы, перебрали каменку, затопили избу. Густой белый дым, поваливший из дверей, дымника, окошек, стал медленно расползаться по вечерней земле.

— Вот теперь можно и себя привести в божеский вид, — сказал Кузьма, не без удовлетворения оглядывая свое новое жилье.

Он развязал мешки, достал белье, кожаные тапочки и начал не спеша раздеваться. Снял рубаху, скинул сапоги, стащил порванные на одном колене штаны — остался в одних трусах.

Володька, ставя чайник на огонь, искоса посматривал на него. Здоровый, черт!

Кузьма вскинул на руку полотенце, белье, взял мыло.

— Тебе бы тоже не мешало. Посмотри, на кого похож.

— Мы не городские, — съязвил Володька. — Это в городе к одиколону привыкли. — Слово «одеколон» он нарочно произнес на простецкий лад.

— Дурак, — сказал Кузьма и направился к речке.

Он шел осторожно, непривычно ступая босыми ногами по смятой траве и заметно припадая на левую ногу — ниже колена она была сплошь исполосована глубокими рваными рубцами.

«На войне был», — подумал Володька и тут же довольно усмехнулся: Кузьма, подстегиваемый комарами, вынужден был перейти на бег. Сначала качнул одним плечом, потом другим и закачался, как лось на разминке, — лениво, нехотя выбрасывая длинные ноги.

В предзакатной тишине слышно было, как он плещется в воде, шумно отфыркивается. Пуха, томимая любопытством, раза два приближалась к прибрежным кустам, но спуститься к речке не решилась.

Вернулся Кузьма посвежевший, с мокрыми, зачесанными назад волосами, в белой чистой рубашке, заправленной в легкие матерчатые штаны, на ногах тапочки — совсем как с прогулки. Выстиранную рабочую одежду развесил на кольях около огня.

— У тебя что из харчей? — спросил он, роясь в своей корзине.

Володька промолчал. Какое ему дело до его харчей? И, глядя, как Кузьма засыпает в котелок пшено, подумал, что неплохо было бы и ему что-нибудь сварить, хотя бы трески — валяется где-то в мешке звено. Но тут же мысленно махнул рукой: не привыкать — и чаю похлещет.

Чайник давно уже вскипел, но Кузьма затеял еще точить косу. Как будто нельзя подождать до утра! Володьку мутило от голода, ноздри щекотал вкусный аромат пшенной каши, булькающей в котелке, и, вращая брызжущее искрами точило, он на все лады клял этого бесчувственного чурбана.

Когда они сели наконец за ужин, солнце уже закатилось. Холодная сырость наползала из кустов.

Володька достал из мешка бутылку с постным маслом, налил в кружку, запустил туда ржаной

кусок.

— Единоличниками будем? — сказал Кузьма, снимая с огня котелок с кашей.

Володька ниже наклонил голову к кружке. И какого черта ему надо? Может, еще, как жрать, учить будет?

Кузьма поставил дымящийся котелок на середину стола, положил в него огромную ложку топленого масла.

— Ешь.

— У меня свое есть, — проворчал Володька.

— Ешь, говорю. — Кузьма сел напротив, подвинул к нему котелок. — Насмотрелся я вчера на вас на Грибове — тошно… Каждый уткнулся в свой котелок… Ну? — Кузьма нетерпеливо повел бровью.

Володька полез в мешок за ложкой. «Хрен его знает, что у него на уме. Тяпнет еще ни за что ни про что. Ладно, пущай мне хуже будет, — решил он, подумав. — У меня сухари да треска — немного поживишься».

— А Пуху-то мы и забыли! — Кузьма встал, кинул несколько ложек каши на газету, положил на землю сбоку стола. — Надо будет корытце ей вырубить.

Пуха, облизываясь, несмело подошла к каше,

вопросительно уставилась на Володьку.

— Ладно, чего уж… — Володька отвел взгляд в сторону, и Пуха бойко захлопала языком.

После этого Володька думал, что Кузьма начнет извиняться, оправдываться — так и так, мол, погорячился давеча. На Грибове всегда так делали: сначала прикормка, а потом примирение.

Ничуть не бывало!

Поужинав, Кузьма молча поднялся, сам вымыл посуду на речке и стал устраиваться на ночлег. Володька собрался было вязать лошадей.

— Не надо, — сказал Кузьма. — Сегодня намаялись — никуда не уйдут. А вот от зверя, пожалуй, что-нибудь надо.

Он сходил в лесок, зажег старый муравейник.

В избе легли на полу — окошки и дымник заткнули травой, вместо дверей подвесили парусиновую мешковину.

Тихо, темно, как в погребе. Где-то над головой пищит одинокий заблудившийся комар. За стеной бродят, похрустывая травой, лошади.

Володька достал папироску, закурил.

— Ну вот что, — сказал Кузьма, — этого я не люблю. Хочешь — выходи на улицу.

Володька, чертыхаясь про себя, нащупал сбоку траву, вдавил папироску. Ну и жизнь — дышать

скоро по команде. И тут ему опять вспомнилось житье на Грибове — вольготное, бездумное, с шутками, с разговорами. Нет, удирать надо, удирать. А то зачахнешь, дикарем станешь в этой берлоге.

Он прислушался к дыханию Кузьмы. Спит. Не выйдет! Задобрить, прикормить хотел… И новая вспышка ненависти опалила Володьку.

Первый раз так обидели его и даже не сочли нужным оправдываться.

4

— Вставай, вставай, соня!

Володька продрал глаза. Полость в дверях откинута, светло. Он нащупал рядом с собой сапоги, натянул на ноги. На улицу вышел заспанный, злой.

Солнце еще только-только отделилось от кромки леса. Густая роса, как крупная соль, крыла траву. Жарко трещит огонь.

Увидев Кузьму, Володька остолбенел. Кузьма без рубахи, голышом сидел за столом и брился. Для кого это он старается? Кобыле, что ли, хочет понравиться?

— Пошевеливайся, — сказал Кузьма, не оборачиваясь.

Когда Володька вернулся к избе, Пуха ела вчерашнюю кашу. Он с презрением посмотрел на нее: продалась, подхалимка!

Попили чаю.

Володьку разморило. Шею, спину пригревало солнцем. Сладкий дымок муравейника, все еще тлеющего в леске, приятно дурманил голову. Облокотившись на стол, он угрюмо, исподлобья поглядывал на Кузьму, запрягавшего лошадей в косилку. И за каким дьяволом он встал ни свет ни заря? А еще в городе жил. У них в деревне и то понимают, что к чему. На Грибове сейчас изба трещит от храпа. Но сам он — пускай. А зачем его-то будить? Добро бы лошадей привести надо, а то тут они — от избы не отгонишь.

— Ну, ты готов?

Куда еще готов? Володька нехотя поднялся.

— Поехали! — Кузьма вскочил на косилку, пружины сиденья жалобно охнули.

И опять, как вчера, торчит перед ним спина — широкая, необъятная, только на этот раз в белой рубахе. Что же он, так и будет изо дня в день любоваться этой спиной?

Проехали узкий перешеек, заросший ивняком.

Мать честная, мыс! Большой, опоясанный Черемшанкой мыс. Как на Грибове. А за мысом еще

мыс, а за тем мысом тоже мыс. А трава? Пырей самолучший, по пояс.

Володька подивился: сколько добра каждый год пропадает, а коровы весной от бескормицы дохнут.

Кузьма натянул вожжи, опустил пальчатый брус.

— Учти, — сказал он, оборачиваясь к Володьке, и улыбнулся. Первый раз улыбнулся за два дня. — Учти, — повторил Кузьма, — момент, можно сказать, исторический. До нас здесь никто с машиной не бывал.

Дрогнула, рассыпала дробь косилка. Лошади, помахивая головами — нелегко тащить такую телегу по брюхо в траве, — пошли вдоль речки, тесно прижимаясь к кустам.

Правильно, подумал Володька, надо сперва от кустов откосить, а потом только кружи. Но зачем его-то сюда было тащить? Момент исторический запоминать?

Он сбил сапогом росу с пласта травы, сел, закурил. Пуха, привстав на передние ноги, внимательно смотрела в сторону Кузьмы.

— Не видала, как косят! — Володька схватил клок травы, запустил в Пуху.

Меж тем Кузьма сделал круг:

— Хочешь попробовать?

Володька пожал плечами, встал. Чего пробовать? Неужели он думает, что Володька круглый идиот? На сенокосе третье лето живет, да чтобы такой техникой не овладеть?

Володька решительно подошел к косилке, взгромоздился на сиденье. Попробовал ножные педали — порядок, попробовал ручной рычаг — порядок. «Пуха просто расцвела. Любит, глупая, всякие машины».

Володька околесил мыс, подъехал к Кузьме.

— А ну, дай еще круг.

Володька дал еще круг.

— Так что же ты молчал? Я все утро ломаю голову — машина будет простаивать... Давно косишь?

Предательская краска залила лицо Володьки. По правде говоря, его и близко не подпускали к машине — разве так, нахрапом проедешь у Никиты, потому что больно уж задается Колька. Но, с другой стороны, нечего и прибедняться: трава-то одинаково свалена что Кузьмой, что им. И потому, слезая с косилки, он уклончиво ответил:

— Приходилось.

— Ладно, — сказал Кузьма. — Я пройдусь по пожням. Тут весной топит — хламу, наверно,

пропасть. — И пошел, пошел, как двухметровку, переставляя ноги.

У Володьки перехватило дыхание. Так что же это? Ему косить? Так надо понимать?

— Заело чего-нибудь? — спросил, оборачиваясь, Кузьма.

Как бы не так! Володька живо вскочил на сиденье. Огромный сияющий мир, расцвеченный утренним солнцем, закачался перед его глазами. Блестит, переливается зернистая роса на траве, высокие ели с поднебесья смотрят на него…

Ну, Колька, берегись! Нос-то теперь поопусти маленько. Да и Нюрочка: «Привет колхозному конюху». Придется новые словечки выучить. А Никита. Параня? Глаза на лоб вылезут, когда увидят его на косилке. И в правленье — руками разведут: «Вот тебе и Володька! Слыхали, что, стервец, делает? На косилке на пару с Кузьмой строчит».

Все эти мысли, набегая одна на другую, разом пронеслись в голове Володьки. Глаза его щурились от непривычной улыбки, от солнца. Рядом по свежескошенной траве семенила Пуха, мокрая, но очень довольная, постоянно поглядывая на него сбоку. Изредка хлопал топор — это Кузьма расчищал от хлама пожню. И когда он нес

на плече валежину, поднимая из травы ноги, на каблуках его мокрых сапог слепяще вспыхивали шляпки железных гвоздей.

«Подковался, как конь», — подумал Володька.

Но вот и Кузьмы нет — перебрался на соседний мыс. Володька остался один — один на целом покосе. Полный хозяин! Вот как жизнь обернулась. А потом приедут люди, будут сгребать сено — сено, накошенное им. Надо только почище косить. Чтобы не говорили: «Володченко тут, бес, чертил. Что с него взять?» А вот так не хотите! «Ну и золотые руки у косильщика — дай ему бог здоровья! Грабли сами бегают». И когда на взгорбинах, на поворотах или на кротовых холмиках коса шла юзом, подминая траву, Володька терпеливо поднимал пальчатый брус, очищал его от земли, пятил лошадей назад и снова прокашивал.

Один за другим ложатся травяные ряды. Лошади уже в мыле — густая трава, да и жара. Ему приходится время от времени слезать с косилки, щупать под хомутами. Не хватало еще, чтобы лошади у него сбили плечи… Паршивая эта кобыленка Налетка — все время, тварь, хитрит. Мало ему из-за нее досталось, так нет, и тут номера выкидывает: то мордой в траву зарывается — будто век не жрала, то в сторону норовит, а то опять из

хомута назад вылезает — тащи, Мальчик, один. Володька хлестал ее ременкой, приговаривал:

— Вот тебе, вот тебе! Я тебя выучу.

Душно, пот одолевает. Сыромятные вожжи в руках раскисли. Пуха — тоже бестия не последняя — забралась от жары в траву. А все-таки чувствует, что к чему. Раз хозяин работает, то и она по своей собачьей вере трудится: ползет сбоку, путает траву.

Ах, ежели бы выкупаться… Мысль эта появлялась у Володьки каждый раз, как он приближался к речке, но он тотчас же отгонял ее, как надоедливого овода. А ну увидит Кузьма? Хрен его знает, как он посмотрит. Все же Володька догадался снять верхнюю рубаху — стало немного легче…

Когда из-за кустов показался Кузьма, мыс был выкошен наполовину.

Володька еще издали увидел в руке Кузьмы порядочную щуку — пожалуй, не меньше топорища, — болтающуюся на прутике, но подъехал к нему внешне спокойный, никак не выказывая своего удивления. Во-первых, Володька сам немало ловил щук на Грибове, а во-вторых, пусть-ко он удивляется.

И Кузьма удивился.

— Порядочно сдул, — сказал он, оглядывая

мыс.

— Ничего, лошаденки тянут, — уклончиво, тоном опытного косильщика сказал Володька.

— Отдыхал? Надо давать передышку. — Кузьма пощупал под хомутами, вытер о траву руку.

Володька все же сказал, указывая глазами на щуку:

— Большая дура. Килограмма на полтора будет.

— Щука-то? — Губы Кузьмы, обветренные, в трещинах, расползлись в довольной улыбке. Он приподнял полосатую рыбину, словно пробуя на вес. — На мели зарубил. Харчи у нас неважнецкие — придется на довольствие к реке вставать.

— Можно, — сказал Володька.

Кузьма поправил топор на ремне, кивнул:

— Ладно, покрутись еще с часик, а потом я сменю.

Большой, высокий был Кузьма, но до чего же все у него складно! Даже топор на ремне не отвисает, как у других, — влип в железную скобу, как «маузер». И сапоги — обыкновенные кирзовые сапоги, не лучше, чем у Володьки. Но тоже как-то по-особому выглядят — может быть, оттого, что немножко голенища отогнуты?

«А волосы-то у него, как у меня, светлые», —

вдруг подумал Володька, провожая глазами шагающего по лугу Кузьму, и это неожиданное открытие немало удивило и в то же время обрадовало его.

Вскоре над кустами, там, где была изба, задрожал прозрачный дымок.

Интересно получается, думал Володька, он косит, а начальство кашеварит. Ежели сказать кому, не поверят. Но сам-то он находил это в порядке вещей. Не удивляются же на Грибове, когда Никита лежит, а Колька косилку мозолит. А почему он, Володька, не может?

Кузьма явился с Тузом — таким же, как Мальчик, рослым и ступистым мерином рыжей масти.

— Ну, отдыхай, — сказал Кузьма. — Заработал. Там тебя щука ждет.

Володька связал на веревку Налетку, с достоинством, не спеша, все еще расправляя занемевшую спину, подошел к избе. Культурненько! Стол накрыт газетой, в миске под зеленым лопухом — полщуки, ровно полщуки. Вот человек — поровну делит!

Ему страшно хотелось есть — щука рассыпчатая, в больших желтых крапинках коровьего масла, но он скинул сапоги и, раздевшись до

трусов, побежал к речке.

Все хорошо — и купанье, и еда. Володька мог поклясться: никогда еще в жизни не ел такой щуки! Какая-то особенная!

Он сидел у избы один. Березы, сморенные жарой, не шевелили ни единым листышком. Но осинки лопотали, тихо, но лопотали. Пуха, похрустывая, продолжала еще перебирать щучьи кости.

«Надо будет и мне заарканить щуку, — подумал Володька. — Долг платежом красен. На ночь можно крючки лягухой наживить, а сейчас пройдусь с блесной».

В кустах напротив избы он срезал немудреное удилище, приладил к нему жилку с блесной. Отправляясь на рыбалку, он нарочно решил пройти мимо Кузьмы — пусть посмотрит: и мы умеем расплачиваться.

Кузьма докашивал мыс — только маленький островок травы оставался посредине. Завидев его, окликнул:

— Куда?

Володька солидно, становясь на равную ногу, ответил:

— Да вот, не могу ли щучонка какого зацепить.

— Я же тебе что сказал? Отдыхай! Носом кле-

вать будешь! — И Кузьма, считая вопрос исчерпанным, погнал лошадей.

Володька постоял-постоял и, покачав головой, повернул обратно. Ну, отдыхать так отдыхать. У избы, поставив к стене удилище, он опять задумался. Смехота! Отдыхать…

Пуха сунулась было за ним в избу, но Володька строго на нее посмотрел:

— Твое дело какое? Сон хозяина охранять. Поняла?

В избе прохладно, пахнет продымленным сеном. Сквозь окошки, заткнутые травой, просачивается зеленый свет, и кажется — ты нырнул на дно реки, заросшей водорослями. Но Володька все еще не мог свыкнуться с мыслью об отдыхе. То есть в том, что он лежит сейчас в избе, не было ничего особенного. На Грибове иной раз до того долежишь — бока одеревенеют. Но тут… Тут другое. Тут прямо тебе говорят: отдыхай. Вот, мол, поработал — и отдыхай. И Кузьма там знает, что его напарник не просто лежит, а отдыхает.

Да, так среди бела дня — по всем правилам — и отхрапел Володька часа два, пока не явился Кузьма и не разбудил его.

Кузьма был мокрый от пота, дышал тяжело, как лошадь, только что выпряженная из косилки.

Сидя у стола и отирая ладонью мокрое, блестящее лицо, он поделился своими огорчениями:

— Тяжело. Кроты землю изрыли — коса все юзом.

— Это на новом мысу? — посочувствовал Володька.

— На новом.

— Надо косу поднять, — сказал Володька.

— Подымал — не помогает. И колеса вязнут. Земля тут рыхлая. — Кузьма натянуто усмехнулся. — Бог, наверно, когда делал эти Шопотки, не рассчитывал, что тут на машине будут ездить. А мы забрались.

Володьке очень нравилось, что с ним вот так, по душам, на полном серьезе, ведут деловой разговор, и он не без внутреннего сожаления сказал, принимая подобающую позу:

— Пойду поскребу сколько-нибудь.

— Погоди. — Кузьма тяжело поднялся. — Коса засеклась — надо поточить.

Володька взял косу, стоявшую у стены, с готовностью протянул Кузьме.

— Давай ты, — сказал Кузьма и взялся за ручку точила. Володька покраснел:

— Я не умею.

— А я вчера точил, ты глазами хлопал? И посуду

тоже мыть надо, — жестко добавил Кузьма, кивая на стол. — Няньки здесь не положено.

Черт знает что за человек! Начали было жить по-человечески, так нет — обязательно настроение испортить надо.

Володька уходил на покос мрачный, насупленный. Но, поразмыслив дорогой, он должен был признать, что Кузьма, пожалуй, прав. На самостоятельность бьет. Чтобы он, Володька, значит, по всем линиям… Ох и хитер мужик!

И когда он сел на косилку, жизнь снова гремящим, многоцветным праздником заиграла вокруг него.

Ему повезло, по-настоящему повезло. То ли оттого, что та часть пожни, на которой он косил, была меньше изрыта кротами, то ли потому, что он был намного легче Кузьмы и лошади шли свободнее, или оттого, что сам он был ловчее Кузьмы, — и такая мысль приходила ему в голову, — но как ни гадай, а за этот упряг он обскакал Кузьму. И Кузьма, когда увидел скошенный им участок, просто ахнул:

— Здóрово! Крепко выдал, Владимир.

Да, так и сказал — «Владимир».

Шуршит под ногами подсохшая за день трава. Огромные, богатырских размеров тени шагают

рядом с ним и Пухой. И, глядя на эти качающиеся, распростершиеся по всему лугу тени, Володька чувствовал себя большим и сильным, круто повзрослевшим за один день.

«Вот где в рост пошел! На Шопотках!» — думал он, приближаясь к избе. То-то он в последнее время каждую ночь летает во сне.

Закат угасал медленно. Воздух еще не остыл, а в низинах уже ночь расстилала белые холсты туманов. Ожили, заговорили ключи на речке. О чем они шепчутся, бормочут?

В тот вечер, сидя у избы (надо было дать лошадям передышку), они разговорились.

— Кузьма Васильевич, — спросил Володька, — а целина — это только там, в Сибири? Больше уж нигде нету?

Кузьма, подтягивая гужи у хомута, озадаченно поднял голову.

— Ну вот здесь, у нас, на севере… Не может быть этой целины? Или надо, чтобы трактора, комбайны?..

— А, ты вот о чем! — Кузьма улыбнулся. — Думаешь, что и мы с тобой целину подымаем? Подходяще бы! А в общем-то, не совсем. Русь-матушку расчищаем. Раньше тут под каждым кустом выкашивали — ужас сколько сена ста-

вили…

— Интересно, — сказал Володька. — А на собраньях — все подъем да подъем…

— Ну и что! Дела-то в колхозе пошли лучше. — Кузьма помолчал, пытливо присматриваясь к Володьке. — А у тебя шарики шевелятся. В каком классе шагаешь?

— Отшагал… В шестой ходил.

— Что так? Науки не по нутру?

Володька напыжился, сказал:

— За дисциплину. С учительницей общего языка не нашел.

— Ничего! Жизнь припрет — найдешь. Я тоже не последний балбес был. А вот видишь, нашлись добрые люди — обломали.

Володька, сдерживая дыхание, весь подался вперед. Неужели и его выперли из школы?

Но Кузьма — непонятный все-таки человек — встал, накинул хомут на плечо.

— Хватит — посидели. Никита нагрянет, а у нас задела нет. Придется поднажать.

И они поднажали. Как следует поднажали! Косили днем и ночью. Ночью — хорошо, прохладно. А днем — чистое наказанье: зной, дышать нечем, жгут оводы, и Володька, как на жаровне, крутился на железном сиденье. Кончив смену, он

добирался до избы, выпивал кружку кислого чая и замертво сваливался на постель.

Кузьма оброс рыжей щетиной, лицо его стало кумачово-красным, и, когда он открывал черные, запекшиеся губы, белые зубы его блестели нестерпимым блеском.

— Лошадей, лошадей смотри! Чтобы плечи не сбили, — постоянно твердил он одно и то же.

К вечеру четвертого или пятого дня их житья на Шопотках — все перепуталось в голове у Володьки — на западе засинело.

Кузьма забеспокоился:

— Что же они, проклятые, не едут? Зарядит дождь — все наше сено кобыле под хвост.

«Действительно, — возмущался Володька, — чего они там копаются? Ведь и работы-то оставалось от силы на три дня».

За ужином Кузьма, тяжело ворочая негнущейся шеей, сказал:

— Ну, корежит меня — сил нет. Неужели погода сломается?

За ночь погода не сломалась, а вот Кузьма — Кузьма сломался.

Утром, когда Володька проснулся и вышел из избы, он увидел его возвращающимся с речки. Шел Кузьма вялым стариковским шагом, по-ста-

риковски сгорбившись и вытянув вперед шею, обмотанную белым вафельным полотенцем.

— Чирьи вскочили. Наверно, оттого, что с жары выкупался.

— Бывает, — посочувствовал Володька.

Нет, это невероятно! У такого мужика заклепки сдали, а он, Володька, хоть бы что. Как кремень!

Гордость распирала его. Вот если бы сейчас кто-нибудь его увидел! Каково! Кузьма лежит у избы, а он, Володька, накручивает за двоих.

Но никто не видел его. Даже Пуха сегодня не плетется рядом с косилкой — прошла круга три и забилась в траву — жарко. Но что же спрашивать с Пухи, ежели сам Кузьма не выдержал.

На этот раз Володьку не ждал готовый обед. Заслышав его шаги, Кузьма буквально выполз из избы. На четвереньках. Как раненый зверь.

— Устал?

— Есть немного, — признался Володька.

— Сено как? Все пересохло?

— Еще бы! По валку идешь — труха.

— Вот народец! Ну, я до этого Никиты доберусь.

Скрипнув зубами, Кузьма сел на чурбак, начал разматывать полотенце на шее:

— Посмотри-ко, нельзя ли их к чертовой ма-

тери?

Крутая загорелая шея Кузьмы чудовищно распухла, налилась нездоровой краснотой. И из этой красноты злыми пауками проглядывали фурункулы — черные головки их угнездились у самого основания шеи — знали, где выбрать место.

— Ничего не выйдет, — сказал Володька. — Подкожные.

Невесело почаевничали, посидели за столом. Потом Кузьма встал, посмотрел на запад:

— Чего зря траву переводить. Отдыхай.

Вдруг Пуха подняла голову, настороженно уставилась на кусты, скрывавшие калтус.

Кузьма и Володька переглянулись.

— Вроде треск какой, — сказал Володька, прислушиваясь.

Конечно, треск. А вот и крик. Едут!

Кузьма облегченно вздохнул:

— Беги за водой — пои гостей чаем!

Володька схватил чайник, сломя голову побежал к речке. И зря, совершенно зря, потому что вместо гостей из кустов выехал Колька…

Завидев Кузьму и Володьку, он помахал им рукой:

— Привет колхозным трудягам!

«Ну и задавала! — подумал Володька, вглядыва-

ясь в бледное, но улыбающееся лицо Кольки. — Сам еле на коне сидит, а делает вид, что ему все нипочем».

Подъехав к избе, Колька спрыгнул с коня, небрежно поддал ему сапогом под зад:

— Иди подкрепись.

— Где остальные? Сзади? — спросил Кузьма. Колька не спеша сощелкал пальцем комки грязи со своей полосатой рубашки, причесал мокрые волосы.

— Дорожка, однако. Как вы машину протащили? Я смотрел-смотрел — следов-то нет.

Володька решил поддержать авторитет Кузьмы:

— Кузьма Васильевич новую трассу проложил…

— Ладно, не в трассе дело, — нетерпеливо оборвал Кузьма. — Почему долго не ехали? Ждете, когда дождь грянет?

— Экий ты быстрый… У нас актив два дня носа не показывал, а ты захотел…

— У вас и без актива делать нечего, — опять вмешался Володька. Его до глубины души возмущал тот снисходительный, небрежный тон, каким Колька разговаривал с Кузьмой.

— Твоя забота, знаешь, — поел и на бок.

Володька не удостоил Кольку ответом. Что ему расписывать себя! Пускай Кузьма скажет.

Но Кузьма — странное дело — промолчал.

— Грабли одни, двое везете? — спросил он у Кольки.

— Завтра те и другие будут.

— Завтра? — Кузьма, закусив губу, попытался разогнуться.

— А тебя здорово, друг, скрутило. Чирьи?

Кузьма недобрым взглядом уставился на Кольку:

— Я говорю, почему завтра, а не сегодня?

Колька делано усмехнулся, но марку выдержал:

— Чудак-человек. Сено-то огородить надо? И потом — смотри, как парит. Умные люди говорят, к дождю.

— Так, — сказал Кузьма. — Дождичка ждете? А на Шопотках навоз разводить будем? Ну вот что, передай Никите: ежели он завтра — слышишь? — ежели он завтра утром не пригонит грабли, я из него душу вытряхну. Так и скажи.

— Скажу. — Колька, еще не веря своим ушам, пролепетал: — Так мне, значит, на сто восемьдесят?

— А чего тебе здесь делать? Нам грабли нуж-

ны!

Через минуту Колька уже сидел на коне. К нему снова вернулась прежняя уверенность. Глядя сверху на согнувшегося Кузьму, он спросил тоном начальника:

— Сводка готова?

— Какая сводка, завтра бригадир приедет.

Колька нахмурил брови:

— Не одобряю. Нынче насчет дисциплинки, знаешь?

Кузьма поморщился:

— Езжай. Да лучше рекой — мы рекой ехали.

— Нет, ты серьезно? — Колька даже привстал от удивления. — А что? Это подходяще.

Уже спускаясь к Черемшанке, он оглянулся, крикнул:

— Володька, там бабы по тебе убиваются. Говорят, заели комары бедного. Что сказывать? — Колька громко рассмеялся и въехал в кусты.

— Паскудный растет парнишка, — сказал Кузьма.

В другой бы раз эти слова несказанно обрадовали Володьку, но сейчас он не придал им никакого значения. Страшное подозрение закралось ему в душу. Как же так? Он работал, работал, как проклятый работал, а на поверку выходит все

по-старому. И там, на Грибове, по-прежнему думают, что он, Володька, дурака валяет. А что? Докажи, что ты не верблюд. И почему Кузьме было не сказать Кольке: так и так, мол, Владимир выручает. А то как воды в рот набрал. Нет, это неспроста. Ты ишачь, а трудодни дяде. Ловко придумано. Многовато заработаешь, Кузьма Васильевич. Нет, поищи другого. Мы тоже не из лаптя щи хлебаем.

И остаток дня Володька работал спустя рукава. Стали лошади — пусть стоят. Захотелось выкупаться — пошел выкупался.

Пуха с явным неудовольствием посматривала на него. «Ох, Володька, — казалось, говорил ее взгляд, — смотри, Кузьма узнает…»

— Да пошла ты к дьяволу! — взрывался Володька. — Шкуреха продажная! Прикормили кашей.

Вечером он пришел к избе угрюмый, подавленный, избегая встречаться глазами с Кузьмой.

— Что невесел? — спросил Кузьма.

— Голова болит.

— Плохо дело, не хватало еще, чтобы ты раскис. Пей чай да ложись — может, за ночь и отлежишься.

Нет, за ночь Володька не отлежался. Утром он вышел из избы сгорбившись, болезненно мор-

щась от яркого света и шумно дыша — что-что, а разыгрывать сироту Володька умел как следует.

— Не полегчало? — с беспокойством спросил Кузьма.

Володька покачал головой.

Пополоскали кишки чаем. Солнце калило вовсю — только по краям, над кромкой леса, кое-где клубились легкие бурачки.

— А погодка-то разгулялась, — сказал Кузьма. — Вот наказанье. Приедут с Грибова, а мы оба на больничном.

Да не приедут, дурак ты эдакий, — хотелось крикнуть Володьке. Завтра Ильин день — все к вечеру укатят. Специально тянут, чтобы поближе домой ехать. Он, Володька, например, еще вчера догадался, когда Колька начал дипломатию разводить. «Сено огораживать надо…» А от кого? Скот-то сейчас не на отгуле. Нельзя подождать? То-то и оно. Как Ильин день, так людей на цепях не удержишь на сенокосе. Но с конюха спрос маленький, мысленно махнул рукой Володька. Чего он будет просвещать его? Грамотный. Должен понимать.

Меж тем Кузьма поднялся на ноги:

— Пойду. Может, сколько покошу. А то скоро нагрянут — задел у нас небольшой.

И он, согнув обвязанную полотенцем шею, пуще обычного припадая на раненую ногу, заковылял к лошадям, связанным на колу за избой. Чтобы отвязать веревку, он опускался на колени, потом медленно, точно поднимая стопудовую тяжесть, выпрямлялся. Снять веревки с лошадей ему все-таки не удалось, и они, извиваясь, ослепительно вспыхивая на солнце, поволоклись сзади лошадей.

Долго ни единого звука не было слышно в той стороне, куда ушел с лошадьми Кузьма. Но вот утреннюю тишину, как строчка пулемета, разорвал стрекот косилки.

«Поехал, значит», — с облегчением вздохнул Володька. Он представил себе, каких мук стоило Кузьме запрячь лошадей в косилку, как качает его на каждой кочке и в каждой ложбинке и как судорожно, до темноты в глазах, ворочает он распухшей шеей, и ему стало не по себе.

Но он не сдвинулся с места. Пускай. Раз он так, то и ему так. «Дурак, идиот! — ругал себя Володька. — Тебе на глазах у всех в рожу заехали, а ты разнюнился, сочувствие выказываешь. Как мог забыть?»

Он вслушивался в далекий стрекот косилки, невольно вспоминал, как еще вчера сам лихо

разъезжал по лугу, и с тоской думал о том, что уже никогда не повторится то, что он пережил в эти дни. Он чувствовал себя обкраденным, униженным. И слепая ярость, отчаяние душили его…

Смахивая слезу, он посмотрел на Пуху, которая, приподняв голову, внимательно прислушивалась к звукам, доносившимся с мыса, и вдруг разразился неистовой бранью:

— Паскуда! Сума переметная! Думаешь, не замечаю, как ты к нему липнешь! — Он схватил со стола кружку, швырнул в Пуху.

Пуха увернулась и вдруг пулей бросилась по тропинке на покос.

Володька позеленел, затопал ногами:

— Смотри, убежишь — все!

И Пуха, одумавшись, повернула назад.

После этого он сходил к речке — в самый бы раз искупаться, но не искупался, полежал в избе, потом снова вышел на воздух.

С запада угрожающе надвигалась темень. Солнце перекрывало рваными облачками. Их полосатые тени медленно скользили по искрящейся листве деревьев, по сникшей траве на пожне, изнывающей от жары. Вокруг избы тучами носились оводы.

«К дождю беснуются, проклятые, — подумал

Володька. — А тот косит, ни черта не замечает».

Вопреки его ожиданиям Кузьма вернулся с покоса веселый, возбужденный, довольно свободно поворачивая голову.

— Разработался. Ну, сначала гнет — каюк, думаю. А потом ничего — прорвало… А их все нет? Ну и народ! Это они не иначе к Илье собираются.

Володька презрительно скривил губы: дошло. Раньше-то не мог догадаться.

Кузьма с тревогой глядел на небо:

— Неужели не пронесет? А как у тебя? — Он дотронулся рукой до Володькиного лба. — Плохо, брат. Жар вроде. Ну ничего, мы сейчас тебя немножко подлечим, а потом посмотрим.

Он сходил в сенцы, вынес оттуда четвертинку. Водки в ней было примерно с половину.

— Это у меня энзэ — на крайний случай. Иной раз так скрючит ногу — хоть караул кричи. Пьешь? — спросил он Володьку.

Володька угрюмо молчал. Придумает же, о чем спрашивать. Но нет, дешево хочешь откупиться. Сначала маслом да щукой задабривал, а теперь водкой…

Кузьма налил в кружку подогретого чая, всыпал песку — много песку, ложек пять, потом вылил водку — всю вылил, размешал.

— Выпей!

— Не хочу.

— А ты через «не хочу». Средство верное. Это мы на фронте так лечились. Даже девушки пили.

Володька махнул про себя рукой: играть, так уж играть до конца. Поздно теперь отступать.

— А ты парень с опытом, — заметил Кузьма, когда Володька опорожнил кружку.

Володька не успел собраться с ответом, как вдруг тугой порыв ветра налетел из-за кустов, вихрем взметнул сухую щепу вокруг них. С крыши с грохотом полетела тесница.

— Буря идет! — крикнул Володька, давясь от ветра.

Все кругом стонало, ухало. Огромная иссиня-черная туча вздыбилась над их головой, заслонив солнце.

Молча, не сговариваясь, они кинулись к столу и начали перетаскивать вещи в сенцы. Раздался оглушительный треск. Володька, ослепленный жгучей вспышкой, покачнулся, но тотчас же большие, крепкие руки подхватили его, втащили в сенцы.

— С тобой ничего? — Кузьма, мокрый, шумно дыша, воскликнул: — Ах, черт побери, какое сено упустили! А мы-то жали — ни себя, ни лошадей

не жалели.

Косой дождь хлестал в сенцы через порог. Опять слетела тесница с крыши.

— Может, пройдет… — сказал нетвердо Володька. — Больно круто началось.

— Да, без всякой артподготовки. Сразу в штыки. Ты не вымок? — Кузьма пощупал Володькину рубаху. — Иди ложись. Пропотей хорошенько.

Володька, вспомнив про свою роль, вздохнул, поплелся в избу.

— Неужели это они домой навострились? Хоть бы за сводкой заехали, — все еще сокрушался Кузьма.

Лежа в избе, Володька видел, как он достал из корзины тетрадку, надел очки в железной оправе и, пристроившись к корзине, начал писать.

«Сводку пишет», — решил Володька.

Томительное беспокойство овладело им. Кто же повезет сводку? Ах, нечистая, слишком он перегнул, пожалуй. А то бы сейчас поехал на Грибово, а оттуда домой. И его воображению живо представилась картина сегодняшнего гулянья в деревне. Песни, пьяные — со всех сенокосов люди выедут. А в клубе-то веселье. Да, начнут гулять, не дожидаясь Ильи. Да и кому этот Илья нужен?

Володька сглотнул сухой комок, подкативший

к горлу, встал, прислонился к косяку дверей. Голова у него кружилась.

— Что, не лежится? — спросил Кузьма, поднимая очки на лоб. — А ты прав, посветлее стало. — Он снова опустил очки. — А мне придется, пожалуй, махнуть на Грибово. С этим праздником у них сейчас мозги набекрень… Уедут без сводки. Да и тебе порошки надо.

— Давай я поеду, — вдруг неожиданно для себя бухнул Володька.

— Где тебе! Едва на ногах держишься. Лежи.

— Чего лежать-то? Хватит, вылежался. — Володька схватил со стены узду, выбежал из сенцев и под проливным дождем побежал к лошадям.

Он не помнил, как отвязывал коня, как, настегивая его поводом, бежал рядом с ним по мокрой траве, но когда он, приблизившись к избе, поднял голову и увидел перед собой Кузьму, то вдруг все понял.

Кузьма стоял громадный, несокрушимый, широко расставив ноги. По бледному, перекошенному лицу его ручьями стекала вода.

«Сейчас ударит», — подумал Володька. Но больнее всякого удара хлестнули слова:

— Дрянь! Я с тобой, как с человеком… А ты?.. Убирайся к чертовой матери! И чтобы духу твоего

здесь не было!

5

Шумит дождь. С еловых лап сочится вода, стекает за ворот. Вокруг темно, как осенним вечером. Один раз у самой дороги, тяжко хлопая крыльями, взлетел старый глухарь. Пуха с бешеным лаем погналась за ним.

Он равнодушным взглядом посмотрел за дорогу и снова закачался под ельником. И снова, как прежде, перед глазами вырос Кузьма — громадный, с бледным, перекошенным лицом. Лучше бы уж он ударил его — все не так обидно. А то вот, мол, даже руку о тебя пачкать противно.

Ну почему, почему у него все через пень-колоду? — задавал себе Володька все один и тот же вопрос. Только начнет взбираться в гору — хлоп и в луже. Неужели все оттого, что контрабандой на свет заявился?.. Да, у других отец дак отец — железный. Ежели в живых нет — на войне погиб. А у него? Сколько раз он допытывался у матери! Затвердила одно: шофер Максим из леспромхоза. А что за Максим? Такого, говорят, и слыхом не слыхали. Но отец — черт с ним! — и без отца прожить можно. А вот как на люди теперь показаться? В правленье головомойка — это уж как

пить дать. Девки на смех поднимут. И Колька, вражина, начнет расправлять крылья… Удирать, удирать надо, вдруг решил Володька. А куда удирать? В леспромхоз? На целину податься? В ремесленное? Но везде нужна бумажка. А кто ему даст бумажку?

На Грибове, как и следовало ожидать, никого не было. Возле избы неприкаянно стояли конные грабли, и о них глухо выстукивали капли дождя.

«Специально выставили, — подумал Володька. — Вот, мол, собирались, да дождь помешал». А в общем, не все ли равно ему теперь?

Он снял в сенцах с крюка свое ружье с патронташем, забрал свой чайник. Кажется, ничего не забыл. А удилища? Два тонких удилища, белевших под крышей, ему попались на глаза, когда он уже садился на коня. Эти удилища он специально срезал, чтобы увезти домой. Длинные, гибкие — их ни за какие деньги не купишь. Но на черта ему теперь удилища? Ну, оставь Кольке — спасибо скажет.

Володька кинулся в сенцы, выхватил из натопорни чей-то топор — и через минуту от удилищ валялись одни палки.

«А это тебе на память — из-за тебя все началось». Он скинул с плеча дробовик и почти в упор

выстрелил в старую кепку Никиты, висевшую на гвозде над входом в сенцы.

Вот теперь все. Прощай, Грибово…

Конь, как только вышел на твердую песчаную дорогу, перешел на рысь. И Пуха — хвост колесом — заработала ногами, как наскипидаренная. Дом почуяла! Ну, а он куда спешит? Нет, он не забыл про сводку. Кузьма уже что-то перед самым отъездом дописал в нее. Размашисто, с остервенением. А потом зашил в бересту дратвой — не прочитаешь.

И вот эта проклятая береста всю дорогу шаркает у него за пазухой.

Что он там настрочил? Эх, если бы не сводка! Потерял — и дело с концом. А сводку… сводку нельзя. Сводку всегда ждут. Ждут в правлении, ждут в районе. За сводкой нарочного среди ночи на сенокос гоняют.

Но и везти бумагу, в которой тебя как последнюю сволочь расписали… На всю жизнь срамота! «А-а, это Володченко, который с пожни на себя доносы возил».

Поравнявшись с густой развесистой сосной, под которой свободно мог разместиться цыганский табор, Володька резко повернул коня.

Он вытащил из-за пазухи бересту, вспорол но-

жом швы. Мокрые, назябшие руки не слушались. Темно. Тогда он вырвал из лапы над головой клок сухой шасты — так называют древесный лишайник на Пинеге, — намотал ее на сухой сук и поджег.

Сводка

о ходе сенокошения на участке Шопотки

Всего скошено…

Так, это не то… Он лихорадочно перевернул листок. Ага, вот и выработка по дням… Фролов, Фролов… Что такое? Его фамилия в ведомости. Не может быть!

Хватая ртом воздух, он вытер мокрым рукавом лицо, начал читать сверху.

29 июля

1. Антипин К. В. – 2,3 га.

2. Фролов В. М. – 1,8 га.

30 июля

Опять Фролов рядом с Антипиным, и опять цифры… А это? Ну, уж это черт знает что! *Антипин – 2,9 га, Фролов – 3,4 га.*

Или это в тот день, когда он обскакал Кузьму? Было такое – сам Кузьма говорил…

1 августа

Погас огонь. Володька дул в дотлевающую шасту, дул до слез, чиркал отсыревшие спички – все напрасно. Тогда, страшно волнуясь (не прочитает самого главного), он сунул в обуглившуюся массу весь коробок. Целая вечность прошла, пока вспыхнуло пламя.

1 августа

1. Антипин К. В. – болезнь.

Правильно! Болел Кузьма. Вот человек – все начистоту, без утайки.

2. Фролов В. М. – 1,2 га.

Сбоку крупно: *«С полудня валял дурака».*

Что ж, вздохнул Володька, и это правильно.

За последний день против его фамилии стояли два слова: *«Злостная симуляция!»*

Внизу подпись: *К. Антипин.*

Потом приписка: *«Т. председатель! Сено гниет. Срочно гони бригадира с гуляками».*

И больше ничего. Ни единого слова!

6

Володька въехал в деревню вечером. В домах на всю улицу светились огни, из раскрытых окон летели песни, веселые голоса. В теплых новорожденных лужах, нежась под мелким сыпучим дождиком, плескались ребятишки. Заслышав топот коня, они лягушатами рассыпались по сторонам.

Володька, насквозь мокрый, ни на секунду не выпуская руки из-за пазухи — в ней он держал самое дорогое сокровище на свете! — проскакал к правлению колхоза. Лихо вбежав в контору, он выпалил с порога:

— Я сводку привез от Кузьмы Васильевича!

— Сводку? Ты бы еще ночью привез. Передай Антипину: в следующий раз за такие дела по партийной линии взгреем. Понял?

И председатель, даже не взглянув на сводку, которую бережно положил перед ним на стол Володька, схватился за ручку телефона.

«В район звонит, — подумал Володька. — Видно, начальство крепко намылило шею». Эх, много бы он дал сейчас, чтобы хоть одним глазком посмотреть, какое лицо у председателя будет, когда он сводку начнет читать! Но нельзя же, в конце

концов, быть таким мальчишкой! И Володька, в последний раз взглянув на грязный, измятый листок — поаккуратнее надо было, — вышел.

На крыльце перед доской показателей он остановился.

Справа — общие цифры по бригадам, а слева поименно выписан каждый косильщик. Почетно! Недаром председатель на собрании назвал косильщиков сенокосной гвардией. И вот в эту гвардию завтра впишут его. А ну-ко, потеснитесь маленько. Дайте человеку встать на свое место…

Вдруг где-то совсем близко вспыхнула задорная частушка. Володька птицей взлетел на коня.

Нюрочку он узнал сразу — по лакированным сапожкам, блеснувшим в освещенной луже.

Поравнявшись с девушками, Володька вздернул коня на дыбы.

— Нюра, я там сводку привез!

— Чего? — рассмеялась Нюрочка, показывая свои белые зубы.

— Я говорю, сводку привез.

— Вот обрадовал. Не видала я сводок.

«Ничего, Нюрочка, — мысленно шептал Володька, провожая ее глазами. — Посмотрим, что завтра запоешь». Прибежит к председателю: «Тут ошибка, Евстигней Иванович. Антипин все

перепутал. Володьке свое приписал». Э, нет, Анюточка, не ошибка. Ничего не поделаешь, придется тебе в свои книги вписывать, да еще и на стенку вывешивать. И это даже хорошо, что в сводке про лодырничанье сказано. По крайности, поверят.

— Володченко, ты ли это?

Володька оглянулся. К нему, выписывая пьяные восьмерки, медленно приближался Никита. Рубаха распояской, ворот расхлестнут…

— Никита, я сводку привез! — с прежним задором крикнул Володька.

— Сводку? А я думал, водку, — пьяно сострил Никита.

Володька разъярился:

— Это почему вы не приехали? Смотри, старая киса, мы тебя с Кузьмой Васильевичем выведем на чистую воду. Ты у нас еще попляшешь…

Никита так и остался стоять с разинутым ртом посреди дороги.

— А что, в самом деле, — горячился Володька, погоняя коня. — Там сено гниет, а он гулянку развел.

Нет, с этими порядочками надо кончать. Вот общее собрание будет, и он первый шумнет: хватит, побригадирил. Антипина предлагаю.

Собственно, заезжать к жене Кузьмы было

незачем.

Кузьма ничего не наказывал. Но как это? Напарник приехал с сенокоса — и мимо. Не годится!

Марья, жена Кузьмы, худая черноглазая женщина на сносях, подтирала тряпкой пол. На полу были расставлены тазы, и в них с потолка капала вода.

Ребятишки — славненький такой бутуз, весь в Кузьму, и заплаканная девчушка — сидели на печи. Володька подмигнул мальчику, сказал:

— Марья, Кузьма Васильевич поклон наказывал. Посмотри, говорит, как там мои…

— Поклон? — Марья тяжело выпрямилась. — Черт ли мне в его поклоне! Лучше бы он вместо поклона избу перекрыл. Утонули — живем.

— Понимаешь, — начал разъяснять Володька. — Он партийный…

— А партийному-то дом не нужен? Все — как люди, а он… Ну уж, я ему задам…

— Ну, ты губы-то не очень!..

— Что?!

— Я говорю, губы-то подожми. Муха залетит. Мужик у тебя золото, а ты против него ворона бесхвостая. Понятно?..

Дома матери не было. На столе записка, крынка молока и граненый стакан, прикрытый ячмен-

ной лепешкой.

Володька приоткрыл стакан, понюхал: вино.

«…Ешь, пей, отдыхай, а это от меня праздничное. Меня вызвали на ночное дежурство…»

Володька скомкал записку. Знаем это ночное дежурство. Как праздник, так и ночное дежурство… Но спасибо и на том, что о праздничном вспомнила.

7

Когда он вышел из дому, дождь все еще моросил и был тот самый час, когда пьяное веселье, уже не вмещаясь в домах, вываливается на улицу. То тут, то там разнобойно горланили песни…

Возле клуба кипела людская мешанина. Всем хотелось попасть в помещение. Но старенький клубик не мог вместить и половины желающих. И вот толпа со смехом, с задорными, поощряющими друг друга выкриками, штурмом брала узкий проход на крыльцо. Давили, жали, откатывались и снова, развлекаясь и улюлюкая, устремлялись вперед.

Володька попал в самую середку толчеи, и его буквально на руках внесли в помещение.

В клубе, несмотря на то что все окна были раскрыты настежь, жара стояла не меньше, чем на

покосе. И трудились тоже по-страдному. Пьяные бабенки, обливаясь потом, выколачивали пыль из каждой половицы. Некоторые резвились даже на сцене.

— Коля, Коля, быстрей! — выкрикивали плясуньи.

Володька, зажатый в углу у печки, с недобрым чувством смотрел на Кольку. То, что Колька сидел развалясь в цветнике девчат, — понятно. Гармонист. Но откуда у него взялась эта кожаная куртка? С «молнией», с замочками на грудных карманах. Брат прислал из города?..

«Бабий час» кончился так же неожиданно, как и начался. Поскакали, повытрясли из себя дурь и валом хлынули вон.

В клубе стало просторнее. Уборщица Аксинья побрызгала на пол из графина. Кто-то за сценой завел патефон.

Танцы!

У девчонок от удовольствия заблестели глаза. Что ж, это им надо. Без разминки не могут.

К Нюрочке подошел высокий сутуловатый Гриня-левша. Володька не слышал, что сказала Нюрочка, но, судя по тому, как Гриня-левша, еще больше ссутулившись, попер на выход — «курить», как говорилось в этих случаях, был отказ.

Ах, если бы он умел танцевать! Мог бы пригласить. Конечно, мог бы. А почему нет? Вон какая морошка топчется, а он как-никак с самим Кузьмой тягается. И плевать, что ростом не вышел. Гриня-левша — каланча перед ним, а ушел несолоно хлебавши.

Пары кружились, а Нюрочка все еще сидела на скамейке. Нижнюю губку закусила, левый глаз прищурен — всегда так, когда не в духе.

Может, подойти ему? Неужели это такая хитрая штука — перебирать ногами? И вдруг он увидел, как Нюрочка, разом просияв, вскочила на ноги…

«Надо уйти, надо уйти, — твердил себе Володька. — Чего он еще ждет?» Но он не уходил. К нему оборачивалась стоявшая впереди женщина, разъяренно шептала:

— Не дуй ты мне в шею. И без того жарко…

А он все стоял и стоял…

Нет, не то было обидно, что Нюрочка любезничает. Пускай — все девчонки такие. Но с этим типом? Неужели она не понимает, что это за дрянь? Колька наклонялся к ее раскрасневшемуся лицу, что-то шептал ей на ухо, и она визгливо на весь клуб смеялась…

Впоследствии он с трудом припоминал, как все это вышло. Кажется, когда кончился танец, он

шагнул вперед, схватил Кольку за грудь, за эти блестящие замочки, которые все время звенели у него в ушах. Кажется, их окружили ребята. Единственно, что он хорошо запомнил, — это крик Нюрочки:

— Хулиган! Чудо горохово! Гоните его вон!

И именно в тот момент, когда он оглянулся на Нюрочку, его сбили с ног…

8

Пуха не любила праздников. Она не понимала, почему люди вдруг ни с того ни с сего начинали орать на всю деревню, падать, кататься по земле, а то и дубасить друг друга. Кроме того, в такие дни ей часто попадало и от людей, и от злых собак, да и Володька почему-то не в меру сердился, когда она показывалась ему на глаза.

Но как отпустить одного Володьку?

И Пуха, не спуская глаз с него, бежала стороной, а если он останавливался где-нибудь, она прижималась к постройке, изгороди и оттуда наблюдала за ним.

В тех случаях, когда Володька заходил в клуб, она устраивалась в кошачьем лазе. Лаз этот, прорубленный в дверях зерносклада, был очень удобным местечком. В нем сухо, безопасно, а

главное — из лаза видно крыльцо клуба.

Сегодня лаз оказался закрытым. Она понюхала доску, поскребла по ней когтями и задумалась. Не вернуться ли ей домой? Ведь она не такая уж молоденькая, чтобы мокнуть целую ночь под дождем, да и устала она сегодня очень.

Но в следующую минуту Пуха уже обнюхивала ближайший угол.

С крыши капало, хлопали двери на крыльце…

И все время, пока она усталым, прижмуренным глазом смотрела на входящих и выходящих людей (а вдруг появится Володька), ее не покидало какое-то смутное, тревожное беспокойство.

И вот случилось. На рассвете три здоровых парня вытащили Володьку из шумного дома и с руганью сволокли с крыльца. Пухе хотелось завыть от горя, броситься на обидчиков. Но она не посмела сделать ни того, ни другого. Кто знает, как посмотрит на это Володька? О, она знала, как непонятен бывал Володька. Кажется, старается, старается она, а он вдруг начинал звереть. И все-таки никогда еще так не жалела Пуха, что бог не дал ей волчьих зубов.

Прижавшись к стене, она с тоской следила за растрепанным, молча поднимающимся с земли Володькой.

Что он еще сотворит? Шел бы лучше домой.

И Володька, словно сообразуясь с ее желанием, побрел на главную улицу. У изгороди он остановился, сел на бревно, схватился руками за голову.

Вот теперь, наверно, можно и ей подать голос. Она оглянулась вокруг — одни они с Володькой на улице — и, приподняв кверху мордочку, тихонько тявкнула.

— Пуха, Пуха! — вскрикнул Володька и протянул к ней руки.

Его прорвало слезами, бурными, облегчающими. Нет, нет, он не один на свете. Есть же хоть одна животина, которая любит, понимает его. Он прижимал к себе присмиревшую, вздрагивающую Пуху и плакал, плакал, не стыдясь своих слез…

Утреннюю тишину взрывали охрипшие голоса запоздалых гуляк, последний жар вытряхивала гармошка в клубе. Но, странное дело, сейчас ему безразлично было, с кем танцует Нюрочка. Нет, он не раскаивался в том, что сцепился с Колькой. Глупо, конечно, ужасно глупо. Подумают еще, из-за этой Нюрочки… Но Колька — подлец, и он еще докажет это!

И как только он подумал об этом, ему вдруг

припомнились слова Кузьмы: «Паскудный парнишка растет». И это было для него сейчас так неожиданно, так ново, что он вздрогнул.

Ах, какой он болван, какой болван! Как же он мог забыть про Кузьму! Весь вечер, всю ночь из-за какой-то ерунды разорялся, а о Кузьме, о Кузьме забыл…

Он вскочил на ноги и изумленными, широко раскрытыми глазами стал всматриваться в далекую неподвижную кромку лесов.

Там, где-то за этой кромкой, были Шопотки. И там сейчас вставало солнце.

Что делает теперь Кузьма? Спит? А может, вышел на воздух и так же вот, как он, смотрит на солнышко? Гниет сено, а он один… Да, да, надо ехать, сейчас же ехать!

По спящей деревне гулко затопали сапоги.

Володька миновал колхозную контору, взбежал на пригорок. У крыльца магазина валялся какой-то мужик.

Неужели Никита? Он. Нажрался, боров, храпит на всю улицу, а кругом хоть потоп…

Володька подошел к Никите, начал его расталкивать:

— Вставай! Бока-то еще не отболели?

Никита что-то промычал, пропахал землю но-

сом и снова захрапел.

— Вставай, говорю. Не подрядился лежать-то!

Володька, стиснув зубы, тряс его за рубаху, задирал ему голову, переворачивал с боку на бок, как кряж, — все без толку.

— Нет, черта с два! — все более ожесточался Володька. — Я тебя заставлю встать. Ты думаешь, что… Так вот и будешь прохлаждаться, а там Кузьма… Сено…

Мокрый, тяжело дыша, он разогнулся, обежал глазами крыльцо, пустые ящики вдоль стены. Чем бы еще пронять этого дьявола?

И вдруг он увидел перед собой чугунный противопожарный брус, висевший на железных крючьях между двумя деревянными столбами. И, прежде чем он подумал, что делает, он подбежал к столбам, схватил железную палицу и, подпрыгнув, изо всей силы ударил.

Чугунный брус тяжело охнул и набатом загремел на всю деревню…

1961

Поездка в прошлое

1

Снегопад застал их на середке реки. Вмиг стало слепо, бело, залепило глаза — неизвестно, куда и ехать.

Выручили пролетавшие где-то над головой гуси: закричали, заспорили суматошно — видать, и они растерялись в этой заварухе. Вот тогда-то Власик, прислушиваясь к их удаляющемуся гомону, и сообразил, в какой стороне юг, ибо куда же сейчас лететь птице, как не в теплые края.

Снежная липуха немного успокоилась, когда от перевоза поднялись в крутой берег. Впереди проглянуло Сосино с жердяной изгородью по задворью, черная часовня замаячила в полях слева.

Вытирая рукой мокрое лицо, Власик начал было объяснять своему неразговорчивому спутнику, как пройти в деревню и разыскать бригадира, но тот, похоже, в этом не нуждался: загвоздил суковатой палкой побелевшую дорогу, как будто всю жизнь по ней ходил.

Из тутошних, видно, чей? — подумал Власик.

Однако раздумывать над этим ему было некогда. Он замерз, продрог насквозь — от стужи, от сырости, — и все мысли его сейчас были сосредоточены на том, чтобы поскорее добраться до Микши да отогреться в тепле.

В доме у Микши, несмотря на то, что перевалило за девятый час, все еще было утро. Хозяйка с худым, разрумянившимся от жара лицом хлопотала возле печи, а хозяин, мрачный, опухший, весь заросший дремучей щетиной, сидел за столом и пил чай. Пил в одиночестве, под обстрелом угрюмых взглядов своих отпрысков, таких же крепколобых и грудастых, как их отец, сбившихся в тесную кучу на широкой родительской кровати справа от порога.

Власик поздоровался.

Ни слова, ни кивка в ответ. Как будто они и не кореши, не приятели давние.

Но он и не подумал обижаться на Микшу — всегда так, когда переберет накануне, — а потому спокойно занялся своим делом: снял с себя широкий пояс связиста-линейщика с металлической цепью, снял мокрую, стоявшую колом парусиновую куртку и к печке, на скамейку — тепло так и обняло его худую, продрогшую спину.

Хозяин — в полном молчании домашних — вы-

пил еще два стакана чая, черного, как болотная вода, и только после этого повел своим страховидным горбылем — нос у него раздавлен с детства:

— Чего куришь?

Власик с готовностью достал из парусиновых штанов помятую пачку «Севера», перекочевал к столу — карантин кончился. Закурили.

— Новости? — опять коротко пропитым голосом гаркнул Микша.

— Да что новости, Никифор Иванович. Известны мои новости. Ребятишки сейчас в школу ходят, все изоляторы посбивали. Вот и загораю кажинный день на линии. Ну а ежели районные дела… (Власик жил в райцентре.) Экспедиция тут из сузёма[1] вернулась, крепко, говорят, пошуровали. Все ручьи, все речки на замок взяли.

— Ерунда, — поморщился Микша.

— Да нет, не ерунда, Никифор Иванович. Теперь лишний раз за рыбкой в сузём не сходишь.

— Ерунда, говорю, — повторил Микша. — Будут они наш сузём на замок запирать. Какая рыба в сузёмных речках? Мусор один. Они шуровали, да весь вопрос — чего. Не ту ли самую рыбку, которая под землей?..

---

[1] Сноски: 1
Северная тайга.

У Власика отвалилась нижняя челюсть, два желтых, прокуренных клыка проглянули в беззубом рту.

— Балда! Насчет урана, говорю, але еще какой взрывной хреновины. А рыба эта для отвода глаз. Понял?

— А ведь это подходяще, Никифор Иванович, — живо согласился Власик, и сухое, бескровное лицо его разом просияло. — Я тут с одним переезжал за реку, не больно-то он на воду глядел.

— С кем с одним?

— Да с одним, с экспедиции с этой. Здоровый боров, а сам хромает. С палкой.

Микша удивленно повел своей черной шерстистой бровью:

— Зачем бы это ему сюда? Чего он не видал в нашей дыре?

— А вот уж в части этого не докладывал. — Власик поглядел в окошко, поглядел на Оксю, гремевшую железной кочергой у печки, хитровато прищурил глаз. — А что, Никифор Иванович, может, сообразим сегодня к вечеру? Поскоблим маленько донышко, пока рекостав не начался?

— Браконьерничать? — прямо поставил вопрос Микша. — Давно тебя защучили — хочешь снова на острогу?

— Да что, Никифор Иванович, захочешь рыбки — и на острогу полезешь…

— Нельзя, — отрубил Микша. — Рыбнадзор ноне днюет и ночует на реке.

— Ничего, ничего. Можно, ежели аккуратненько да с оглядом. — И тут Власик двинул в ход, так сказать, материальный стимул (любили они с Микшей всякие заковыристые словечки) — хлоп на стол бутылку.

Оксе этот номер, конечно, не понравился, да что обращать на нее внимание? Какая баба в ладоши бьет, когда мужик с бутылкой обнимается?

После опохмелки разговор пошел как по маслу, и они принялись разрабатывать план предстоящей вылазки: как лучше сделать, чтобы не напороться на рыбнадзор? в какое время выехать? куда? вниз спуститься, к перекатам, или, наоборот, податься вверх, к Красной щелье, где не так заметен луч?

Однако не успели они обговорить и половины — нешуточное дело затевают! — как под окошком вырос высокий человек в черном плаще.

— Он! — живо воскликнул Власик и даже привстал. — Тот самый, с рыбной экспедиции.

Некоторое время незнакомец разглядывал

Микшин дом, затем, припадая на больную ногу, вдруг двинулся в заулок.

Власик и Микша переглянулись: не наклепал ли кто на них? По какому еще делу может пожаловать рыбный человек?

Дело, слава богу, касалось не их. Но, как говорится, хрен редьки не слаще: незнакомец, подав Микше записку от директора совхоза, просил свозить его на Курзию.

— На Курзию? — страшно удивился Власик. — Сейчас? Да вы, дорогой товарищ, слыхали, нет, что такое эта самая Курзия? Сорок верст сузёмом да глубокой осенью… Зря, что ли, ее у нас зовут Грузией!.. Да там после лишенцев, этих самых кулаченных, никто и не бывал.

Никакого впечатления! Глазами железными в Микшу вцепился, будто заморозить, загипнотизировать того решил, а что пищат остальные — Окся тоже подала голос от печки, — наплевать.

Микша с ответом не спешил. Сидел, поглядывал на улицу, где снова, похоже, запосвистывал ветер, катал на лбу кожу, как волны на реке, и Власик уже не сомневался: сейчас задаст от ворот поворот этому высокомерному начальничку, — а Микша возьми да и скажи:

— Можно, пожалуй, прокатиться.

2

Выехали уже не рано, в первом часу, потому что не к теще в гости ехали — в сузём. Пришлось менять передние колеса у телеги, подгонять коню хомут, подрубать копыта, да мало ли чего. А кроме того, заставил себя ждать Кудасов, командированный, который, как все приезжие, потащился поглядеть на ихнюю знаменитость — старую часовню.

Пьяненький, основательно поднакачавшийся Власик увязался их провожать. Ему страсть как не хотелось расставаться с двумя бутылками, уплывшими от него в берестяной корзине, накрепко привязанной к задку телеги, и он, позвякивая своей цепью, ковылял сбоку, канючил:

— Здря вы, товарищ Кудасов, ей-богу, здря. У нас на эту Курзию-Грузию забыли когда и ездили. А вы вздумали на вечер глядя. Давайте хоть из-за утра…

Микша в душе был согласен с приятелем. Конечно, лучше бы сейчас сидеть в теплой избе, чем полоскаться на осеннем ветру, да раз уж слово дадено — терпи. И он, настраивая себя на долгую дорожную маету, заговорил, как только въехали в поле, — тут Власик от них отстал:

— Ну что, рыбку в морях да в океанах вычерпали — за сузёмы взялись?

Кудасов не ответил. Он, как и следовало ожидать, смотрел на часовню, мимо которой они проезжали, — угрюмую, черную постройку наподобие высокого бревенчатого амбара, без креста, с развороченной крышей, с подпорами по бокам.

— Памятник старины, — не без ехидства объявил Микша. — Под охраной государства. Дощечка имеется. Ни одного гвоздика железного — все дерево. Топором одним рублена. В одна тысяча шестьсот шестьдесят семом году. При Иване Грозном.

— Иван Грозный на сто лет раньше жил, — заметил Кудасов.

— Ну хрен с ним, с Иваном Грозным. Не все едино. А вот про крышу могу сказать точно. — Микша захохотал. — Нашего, советского производства. Одна тысяча девятьсот тридцатого года. Со всех деревней тогда народ согнали. На ура крест стаскивали, чтобы наглядная агитация насчет бога была. Я тоже, даром что пацан был, за веревку маленько подержался.

Вдали плеснулся тоненький плаксивый голосишко — это Власик, должно быть, с песней входил в деревню, — и тотчас же протяжный гул

покрыл его: они подъезжали к лесу. Черная, подпертая слегами часовня, как какое-то допотопное чудовище, смотрела им вслед из полей.

— Да… — Микша закурил. — Повидала эта часовня кое-чего на своем веку. В старину тут, сказывают, верующие заперлись, живьем спалить себя хотели — понимаешь, какой народец был! — да царские солдаты помешали, двери вышибли. А в этом самом тридцатом году что тут делалось… По два, по три мертвяка за утро вытаскивали. Из раскулаченных. С южных районов которые к нам, на Север, были высланы. Жуть сколько их в нашей деревне было! Все лето баржами возили. Все гумна, все сараи были забиты, а уж в часовне этой… В четыре яруса нары стояли!..

Седок оказался не из тех, с кем не соскучишься. Сидел — глаза в землю, руки в замок (язва, что ли, точит?) и ни оха, ни вздоха.

Некоторое время Микша вглядывался в реденький сосновый жердняк справа — тут где-то должны быть его дрова, рубленные нынешней весной. Потом внимание его привлекли свежие заячьи петли, раскиданные по снежной пороше вдоль дороги, и он с живостью воскликнул:

— Смотри-ко, смотри, косой-то что надумал!

В такую непогодь по лесу разгуливать.

И опять молчание. Опять натужный скрип телеги да всхрап коня на взъемах.

За Летовкой — это ручей в двух километрах от деревни — стали попадаться ели, сперва поодиночке, вперемешку с березой, а потом все гуще, гуще — залохматили небо, намертво сдавили дорогу. Сразу из белого дня въехали в сумерки.

— Ну вот, — сказал Микша, прислушиваясь к таежному гулу, идущему поверху. — Теперь до самой Курзии эта краса пойдет. — Он поднял куколь дождевика, покачал головой.

— Нет, ни черта не пойму, как все это делалось. Ну выслали людей из своих краев, кого правдами, кого неправдами — не будем говорить. Горячее времечко было, щепа летела направо и налево. Да зачем в сузём-то загонять? Разве мало пустой земли в России? А ведь тут, в этом сузёме, хоть лопни — хлеба не вырастишь. Середь лета утренники гремят. Мы, бывало, на этой Курзии сено ставим. В деревне лето как лето, а тут, тридцать пять — сорок верст в сторону, — вода по утрам в котелке мерзнет. Эх, да что говорить! — Микша круто махнул рукой — Я сам тогда ужасно идейный был.

— А теперь не идейный? — вдруг подал голос

Кудасов. Он, оказывается, слушал.

— Не имай, не имай на слове! Теперь народ грамотный, на испуг не возьмешь. Я ведь к чему это? А к тому, что дядья мои родные всем тогда у нас заправляли. Кобылины. Как же мне-то, племяннику, от них отставать? Да, вот революционеры были! Кремневые! Теперь таких и нету. В девятнадцатом году дядю Александра за языком послали в Сосино, в нашу деревню, значит. А в Сосине — ой-ой! Только одни старики да малые ребятишки. Всех поголовно беляки на дороги угнали: и мужиков, и баб, и девок. И вот дядя Александр думал-думал, да и говорит своему отцу — тот больной на кровати лежал: «Вставай, со мной пойдешь». Мати услыхала: «Что ты, Олекса, дьявол!.. Опомнись! Старик третий день не встает, помрет еще в дороге». Никаких гвоздей! Раз для революции надо, ни отца, ни матери не знаю. Ну а дядя Мефодий, тот еще потверже орешек был. У дяди Александра хоть одна слабина была — в части женского вопроса, а этот… Я в жизни не видал на евонном лице улыбки. «Я, — говорит, — тогда улыбаться буду, когда социализм сполна построим да когда последнего врага в гроб вколотим». Понимаешь?

— Нет! — сказал Кудасов.

— Чего — нет? Не понимаешь, что можно всю жизнь прожить и ни разу не улыбнуться?

— Не понимаю, когда убийством восхищаются! — Кудасов не сказал, выпалил это — с яростью, с ненавистью — и резко откинулся назад, в задок телеги.

— Это кто восхищается убийством? Я? — Микшу тоже заколотило. Не первый раз прокатываются вот так насчет его дядьев. — А дядю Александра не убили?.. Сам себя на тот свет отправил? Теперь на дядьев можно собак вешать. Мертвые. Вали все, чего было и чего не было. Стерпят. Из могилы не встанут. А я бы хотел посмотреть, как нынешние умники с ними, с живыми, поговорили бы. Я-то помню те времена, помню, на каком языке тогда разговаривали. В тридцатом году дядю Александра вот в это же самое время убили на Курзии — комендантом там был, — дак знаешь что было? Со всего района, со всех деревень красные партизаны на похороны прибыли. С ружьями. Всех перебить готовы! А дядя Мефодий — начальником милиции был — стоял-стоял у гроба белый, как сейчас помню, только желтые оспины на щеках, как картечины, отсвечивают, а потом берет из мертвых дядиных рук наган (дескать, большевик и мертвый стреляет), да и

говорит: «Ну, Александр, за каждую каплю твоей священной крови ведро выпустим вражьей». Понял, как тогда разговаривали?

Наскочило переднее колесо на корень, у Кудасова съехала с головы кепка, открылся белый покатый лоб с глубокими залысинами, с твердыми зарубами морщин-поперечин. Потом еловая лапа проехалась по его лицу. Не пошевелился, бровью не двинул.

3

Кто только придумал этот сузём? За что такое наказанье людям?

Кажется, он не из тех, кого ласкала да гладила жизнь, на ухабах и колдобинах вырос, а и у него вытрясло всю душу. Коренья, гнилые мостовины, ручьи, болота… А темень, которая, как одеялом, накрыла их после полустанка, где они кормили коня!

И он уж не пытался больше править. Вожжи из рук выпустил: вывози, воронко!

О том, что они выехали наконец на Курзию, Микша догадался по ветру. Всю дорогу ветер гудел где-то вверху, над головой, а тут вдруг яростно хлестнул в лицо, забарабанил по холодной парусине дождевика.

Конь упирался, не хотел на ледяной сквозняк, потом затащил их в какой-то кустарник и стал.

Кудасов чиркнул спичку, ее сразу же задуло.

— А знаешь что, друг, — сообразил наконец Микша, — нам ведь сейчас по этой темени в поселок не попасть. За эти тридцать лет тут все кустом затянуло. Видишь, даже лошадь запуталась.

Думать долго, что делать, не приходилось. На той стороне речонки, которая точила сузём неподалеку от дороги, был издавна обжитый охотниками угор, и Микша, пристроив коня к кустам, в затишье, и захватив с собой пожитки, повел своего спутника туда, на угор.

Кудасов оказался везучим: они перешли в темноте речку, не зачерпнув в сапоги, а дальше и того лучше — на охотничью тропу угодили. Так что, когда поднялись в угор, даже насчет дров промышлять не пришлось: сразу, как только осветились, увидали под деревом березовые полешки.

Скоро под суковатыми елями с черными, опаленными комлями затрещал костер.

Микша сходил за водой, повесил чайник, нарубил елового лапника, застлал вокруг огня. Теперь никакая сырость снизу не проберет. Лежи да поворачивай то один, то другой бок.

В запасе у них оставалась еще одна бутылка водки — другую Микша оформил, когда отдыхали на полустанке.

Кудасов и на этот раз не стал пить. Похрустел вяло сухариком, выпил кружку горячего чая — и все. Ни к рыбникам, ни к шаньгам не притронулся — как будто он исполнял какой-то обет.

— Ты вот дядьев моих даве в оборот взял, товарищ Кудасов… — Захмелевшего Микшу опять потянуло на разговор. — А знаешь, я тебе что скажу. Бессребреники. Ничего не нажили, ничем не поживились. Дядю Александра хоронить стали — гимнастерки переодеть нету. Так в той самой гимнастерке, в которой убили — тут его, в этом поселке, стукнули, — и в гроб положили.

Микша посмотрел через огонь на неподвижно сидящего Кудасова, смущенно крякнул.

— А я тоже тогда, даром что сопляк был, на месть поднялся. Нож наточил. Чтобы, значит, со своим заклятым врагом рассчитаться. А этому заклятому врагу знаешь сколько было? Двенадцать лет. Как мне же, а то и меньше. И этого заклятого врага ветром от голодухи качает… Да, — Микша покачал головой, — вот какие времена были. Малых ребятишек до ненависти раскаливали. Я, как себя помню, только и слышишь кругом:

кулаки, контра, враги советской власти… А какие они в натуре-то, на ощупь? У нас в деревне стали колхоз делать — караул кричи. Три хозяйства по плану распотрошить надо, а где их взять? Только одного дьячка и закрючили, да и то за культ — в часовне службу правил. Ну и когда к нам этих кулаков с Украины привезли, мы с ребятами просто воспрянули: вот они, враги-то, живые, тепленькие! И такие классовые бои развернули, что сейчас вспомнить страшно. В деревню прохода этим кулачонкам из часовни нет — это уж само собой, — да мы и лес на запор взяли. Бывало, эти кулацкие дети сунутся в лес за ягодами, а мы уж тут как тут. Войной на них… У них один парнишка был — ух волчонок! Все остальные, как трава, валятся — что же, голодный человек, какой из него вояка? А этот — нет. Ребра вылезают, да не сдаюсь. Вот это, руль-то, — Микша указал на свой нос, — он мне маленько подправил… Камнем…

Над костром вдруг огромным красным снопом взметнулись искры — Кудасов с размаху бросил в огонь сушину.

Что все это значит? Огонь решил сделать пожарче? Или разговор опять не в масть?

— Как будем устраиваться на ночлег? — спросил немного погодя Микша. — Может, для тепла

под дождевик мой оба заберемся?

Ответа не было.

4

Микша проснулся от холода. Костерок дымил еле-еле, белая изморозь, как соль, со всех сторон подбирается к костерку…

А где Кудасов? Куда девался его спутник? Два раза просыпался он ночью и два раза видел Кудасова сидящим у огня. Неподвижно. Все на одном и том же месте. С поднятым кверху воротником плаща.

Гремя задеревеневшим дождевиком, Микша вскочил на ноги и сразу успокоился: Кудасов ушел по своим рыбным делам, и доказательством тому были ребристые следы на заиндевелой траве.

Светало. Холодный ветер-утрешняк раскачивал лохматые ели над головой, а там, на том берегу, всплывала бесформенная куча развалившихся бараков. Все, что осталось от здешнего поселка.

Он поискал глазами поля. И не нашел. Березняк. Сплошной березняк. По всей долине речонки. И справа, и слева, и меж бараков, и за бараками, вплоть до самой кромки черневшего вдали ельника. И он вспомнил, как тут корчевали тайгу. Люди, мокрые, потные, задыхаются от

жары, от дыма — огнем, дымом отгоняли гнус. Но разве отгонишь чем эту нечисть? И вот придумали: взрослые размахивают топорами, крушат проклятый ельник, а сзади дети — шлеп, шлеп березовым прутьем по мокрым спинам…

Он вспомнил все это и теперь уже с каким-то суеверным страхом смотрел на этот белый, такой красивый издали березняк, равнодушно растоптавший здешние поля.

Между березками то тут, то там чернели малюсенькие елочки, те самые елочки, с какими счастливые люди встречают Новый год. Но он-то знал, что это за твари! Пройдет десятка два-три годов, и эти такие безобидные малютки елочки задушат березняк, под полой которого они выросли. А потом пройдет еще лет тридцать — и тут будет сплошной ельник. Тайга. Сузём. Комарье со своими всхлипами да беспамятный зверь. И кто, по каким приметам догадается, что творилось тут, на Курзии, в былые годы?

Кудасов не возвращался.

Микша сходил к коню, напоил его, задал остатки сена, потом подживил костер, навесил чайник.

Кудасова все не было.

И вдруг, когда он уже собирался было двинуть

по его следам, явился. Явился с нежданной стороны, прямо из-за спины, из леса. Весь черный, как обугленный пень, и ветер шевелил его белые редкие волосы — кепку он зачем-то держал в руке.

— А ты, я вижу, разбираешься в здешних местах, — сказал Микша. — По карте? Видел в косогоре кладбище? Интересно, что от него осталось? Много туда народушку поклали. Я, бывало, у дяди жил — кажинный день кого-нибудь волокут.

Кудасов молча выпил чашку горячего чая. Потом встал, коротко бросил:

— У бараков буду. — И нырнул под утор к реке — только камешник посыпался в воду.

5

Повидал он кое-чего на своем веку. Был на войне, был в лагерях, Берлин в сорок пятом году брал с Жуковым, а вот такого в его жизни не было. Не было, чтобы он брел по улице поселка и чтобы руками, как в лесу, раздвигал кусты.

Нужно отдать должное дяде Александру: крепкие построил бараки. Крыши провалились, рамы выгнили, а стены еще стоят. И в свое время куда как могли пойти в дело. Да разве по нашим сузёмным дорогам постройки перевозить? Вот так и остался гнить поселок. Всеми брошенный и

всеми позабытый.

Возле одного обгорелого домика Микша задержался.

Место ему показалось знакомым. Во всяком случае, комендантский дом, как и этот, стоял вот на таком же угорышке, неподалеку от шумливой речонки.

Потрескивая сучьями, он медленно обогнул домик, вышел к развалившемуся крылечку и тут увидел вдруг два покосившихся столбика с железной перекладиной, сплошь покрытой ржавчиной.

Слезы вскипели у него на глазах.

На этой перекладине любил, бывало, поутру размяться дядя Александр, красиво это у него получалось, а днем опять у столбиков стоял серый заседланный жеребец Жиган — дядя шагу пешком не ступал. И Микша так и запомнил его на всю жизнь: верхом на жеребце, в лихо заломленной черной чапаевке, с плеткой в руке.

Тридцать пять лет собирался он побывать на Курзии, посмотреть место, где убили дядю, и вот наконец он тут, возле того самого крыльца, где оборвалась дядина жизнь.

В памяти воскрес рассказ, который годами, изо дня в день рассказывают в областном музее:

«Была глухая осенняя ночь. Александр Данилович возвращался домой. Он устал, утомился за день. К тому же давали о себе знать старые раны, полученные в жарких боях Гражданской войны. Но день был прожит не зря. Сделан еще один шаг навстречу светлому будущему. А в это время по пятам его, прикрываясь черным плащом осенней ночи и сжимая в руке холодную сталь кинжала, крался коварный враг. Забыл, забыл опытный революционер-большевик, что он находится в осином гнезде, что классовый враг никогда не дремлет…»

Больше всех на свете любил Микша дядю Александра. И вот на другой день после его похорон встал рано утром, наточил нож и на Курзию: мстить за дядю.

Отец, отец ему тогда службу испортил. Все утро не было дома, еще с вечера в райцентр утопал, а тут только Микша вышел на крыльцо — он. И ведь ничего, ни единого слова не было сказано меж ними, а все понял, обо всем догадался.

— Что ты, что ты, Микша, задумал! Тебе ли, в твои ли годы за нож хвататься… Да ты ведь еще ребенок… Да нам кровь дядьев твоих мыть — не отмыть.

И вот добил, доконал его своими причитания-

ми. И он так и не пошел на Курзию.

6

Кого он везет? Что за человек сзади него? Рыбой тут не пахнет — это теперь ему было ясно как божий день. Приехал, шаг какой-то ступил по речке, в поселок заглянул — и обратно. А самое главное — что ответил ему, когда он, Микша, спросил насчет рыбных запасов в Курзии? Просто заорал: «Да какая тут, к дьяволу, рыба? Ее сроду никогда не было в этой проклятой речонке!»

А может, он из тех самых, из бывших? — вдруг пришло ему на ум.

Мотаясь в передке телеги (все тот же пересчет коренья), он искоса пучил глаз назад. Кудасов бревном лежал на телеге. Воротник плаща поднят, козырек кепки надвинут до самого рта так, что видна только нижняя челюсть, крепкая, костистая, с надвое разваленным подбородком.

Проще всего, конечно, было бы спросить: так и так, мол, приятель, хватит тебе маскировку-то наводить. Давай начистоту. Но что-то удерживало его от расспросов. И не потому чтобы он робел перед этим человеком. Сроду ни перед каким начальством не гнулся, а кто ему этот человек? Но вот поди ж ты. Молчит всю дорогу — и вроде

так и надо. Вроде у него какое-то особое право власть свою над тобой показывать.

За монастырским холмом, километрах в пяти от Курзии, проглянуло солнышко. Проглянуло, посмотрело с косматых вершин на подводу, ковыляющую по сузёмной дороге, и отвернулось. А потом как закружило, завьюжило — снег, слякоть, прямо светопреставленье. Дорога сразу раскисла. Лошаденка качалась как пьяная. Приходилось постоянно слезать с телеги, шлепать по колено в грязи — и так день-деньской…

Был вечер, когда они подъехали к деревне. У Микши в окошке горел свет — ждали.

Он предложил заехать к нему — обогреться, попить чаю.

— Нет. Давай на перевоз.

Ну нет так нет — было бы предложено.

За полевыми воротами слезли с телеги, ощупью прошли к перевозной избушке. Темень. Ветер. Река внизу ревет.

— Сколько с меня?

— А чего там, — вяло махнул рукой Микша. Ему осточертела эта поездка, начисто вымотавшая и тело и душу, осточертел этот непонятный человек, который всю дорогу, как больной зуб, точил его воображение, и сейчас у него было

одно-единственное желание — поскорее распрощаться с ним.

В темноте хрустнула бумажка.

Микша озябшими пальцами скомкал ее, сунул в карман дождевика.

Кудасов не уходил. Шальной сиверко плясал вокруг них — опять менялась погода, — прощупывал до костей. Чего же он ждет? Может, думает, за реку его повезут? Нет уж, спасибо…

— Ну, прощай, Кобылин, — разжал наконец зубы Кудасов.

— Прощай. Все-таки фамилию мою запомнил.

— За-пом-нил, — медленно, по складам сказал Кудасов и вдруг рывком точно клещами стиснул его руку.

Микша поморщился от боли, усмехнулся:

— Ничего, силенка есть.

В темноте железным блеском сверкнули глаза.

— А ты, я думал, подогадливей, Кобылин. Жидковата у тебя память…

Микшу как ударило.

— Постой, постой… Так это?.. — Голос изменил ему. — Не может быть…

Кудасов выпустил руку…

…Вот и все. Вся жизнь вдребезги, один чад кругом…

Складно, очень складно рассказывает ученая барышня в областном музее. Глухая осенняя ночь, злобный враг, крадущийся по пятам… А на самом деле?

А на самом деле пьяный дядя изнасиловал беззащитную пятнадцатилетнюю девчонку, которая убирала комендатуру, а брат этой девчонки — четырнадцатилетний пацан — убил дядю…

— А ты заявлял, нет, куда надо? — зачем-то спросил Микша.

— Насчет убийства? — сказал прямо Кудасов. — Нет, не заявлял. — И в темноте криво усмехнулся. — Все жду, когда пример покажут. Те, кто убивал людей сотнями, тысячами, миллионами…

7

Ветер выл и метался на реке, тяжелая волна билась внизу о берег, а он все сидел и сидел возле перевозной избушки и всматривался в ночной мрак, в черную осеннюю темень, которая заглотила Кудасова.

Все, все рухнуло, вся жизнь вдребезги…

Он давно уже махнул на себя рукой. Пьянчуга. Лагерник. Грамотешки пять классов — что по нынешним временам? Но было, было одно уте-

шение в его жизни — дядя. Знаменитый дядя, герой Гражданской войны, человек, который, как красное солнце, согревал ему душу. И когда лет десять назад с легкой руки Хрущева кое-кто у них начал кидать грязью в его дядьев, он готов был глотку перегрызть каждому. А теперь что?

На деревне, в верхнем конце, истошно залаяла собачонка. Потом кто-то знакомым, петушиным голосом запел:

Вы не вейтеся, черные кудри…

Неужели все еще Власик колобродит?

Микша поднялся, подошел к коню. Надо отвести беднягу на конюшню. Хозяин весь вечер себя мытарит, на части рвет, а чем виновата бессловесная животина? Почему она должна коченеть на ветру?

Окся его ждала. Ни одного огня не было в ихнем конце деревни, когда он вышел с конюшни, и стоило ему обогнуть колхозный склад, и вот она, родная изба, — как желанная звездочка в ночной глуши. И тут он всем своим иззябшим существом, всей своей занемевшей кожей ощутил радость близкого тепла, радость горячего чая и, конечно же, водки, которую наверняка припасла для него сердобольная Окся.

Он свернул с дороги, зашагал промерзшими огородами — ближе, скорее будет дома. Скорее ввалится в теплую избу, стащит с себя закоченевший дождевик.

И вдруг, когда уж он вышел на свой огород, когда уж избяной свет заиграл в его оживших глазах, в памяти всплыли предсмертные слова отца, которые передала ему соседка-старуха: «Скажи Никифору, что у отца нету зла на него. Не он виноват. Дядья его таким сделали».

Микша схватился за сердце — его так и качнуло в сторону, а потом под руки попалась обледенелая изгородь, и он всей грудью навалился на нее.

Отдышавшись, он с тоской посмотрел на освещенные окна своего дома. Близко, близко тепло, близко Окся, но эх…

Всю жизнь он презирал и стыдился своего отца. Презирал за мягкость, за тихость, даже за внешний вид презирал. Бороденка, как у старика, нарасчес, поясок шерстяной, домотканый… Да разве сравнишь его с дядьями? Те куда ступят, там и праздник: красные знамена, песни революционные, речи, от которых дух захватывает.

В тридцать седьмом году отца у Микши посадили. Посадили как пособника международной буржуазии, и надо правду говорить: он не очень

сокрушался. А когда дядя Мефодий заговорил с ним: нужно показать революционный пример — отречься от отца, — он отрекся. И не просто отрекся, а с объявлением в областной газете, с отказом от отцовской фамилии…

8

Поздновато, поздновато спохватился. Ничего не расскажет теперь соседка: второй год на кладбище лежит. Он сам отволок ее туда. А сколько лет жили окошко в окошко, сколько раз можно было расспросить старуху про отца!

Микша пошагал в верхний конец деревни. К бабке Матрене. Бабка Матрена хоть и давно из ума выжила, а любила вспоминать старое, а если ей еще поднесешь рюмашку, наплетет с три короба.

Зина-тунеядка, бабкина квартирантка, опять гуляла — свет на всю улицу. И с кем гуляла? С Власиком.

— А, Никифор Иванович! Давай, давай к нашему шалашу. А мы вот с Зиночкой — ха-ха! — бюджет государственный укрепляем… — И Власик, посмеиваясь, похихикивая (рад, что застали в компании с такой молодой и крашеной стервой), начал выливать в стакан остатки из бутылки.

Для него.

Микша вспомнил вдруг про бумажку, которую сунул ему Кудасов, нащупал ее в кармане дождевика, бросил на стол.

— Берите да чешите куда-нибудь. Живо!

— Да ты что, Никифор Иванович… — опешил Власик.

— Не имеешь права! — взвизгнула распьянющая Зина, но бумажку сцапала моментально.

Микша не стал много разговаривать — не та публика, чтобы прения открывать, — двери настежь, ворота настежь: вон, пока деньги не забрал обратно!

Бабка проснулась от холода. Никакой шум, никакой крик не могли вывести ее из дремучего сна, а вот опахнуло холодным воздухом — и ожила: голову стриженую с подушки приподняла, очумелым взглядом вонзилась в него.

— Матрена, знаешь, нет, я кто? — прокричал Микша.

— Бывать, какой служашой.

— Нет, здешний. Из Сосина. — Микша взял со стола стакан с водкой, которую налил ему Власик. — Ну-ко, выпей немножко, прочисти мозги.

Бабка отпила глотков пять и мало-помалу начала соображать.

— Ивана Варзумова помнишь с нижнего конца?

— Помню.

— Хороший был человек?

— Хороший. Как не хороший. Все бумаги людям писал.

— И тебе писал?

— Писал. У нас лошадь белые забрали, парень, Петруха, ко красным ушел. Хороший был карько. Заплатили деньгами.

— Кто заплатил?

— Власти. Иван Никифорович бумагу написал. По евонной бумаге заплатили.

Да, это так, так, подумал Микша. Правильно говорит бабка: ходили к отцу люди насчет всяких бумажных дел. Он и сам теперь припоминает. И, помнится, дядья крепко выдавали отцу за это: дескать, в подрыв советской власти действуешь. Да и мать не очень одобряла отца.

— Матрена, а матерь мою помнишь? Жену Ивана Никифоровича?

— О, ты вот про кого. Про Анюшку кобылинскую. Дурна баба. Кровь-та у ей, сам знаешь, кобылинская. У трезвой, бывало, Иван Никифорович слова не добьется: все не так, все не эдак. А в праздник выпьет — опять прощенья про-

сит у Ивана Никифоровича, в ногах со слезьми ползает.

И это тоже правильно говорит старуха. Выпивала мать. И каждый раз каялась перед отцом, плакала, называла его святым, а себя — ведьмой, сукой. И тут не выдерживал отец и тоже начинал плакать и просить прощения у матери. А как плакал и убивался отец, когда умерла мать! Он, Микша, первый раз в жизни видел, чтобы у человека была мокрой от слез борода. Первый и, наверно, последний.

— Матрена, — Микша хлюпнул носом, — а меня отец вспоминал перед смертью?

— Да ты чей будешь-то?

— Сын Ивана Никифоровича. Микша. В прошлом году хлев у тебя на дрова пилил.

— Нету, нету хлева-то. И овечек нету. Я все с овечками жила, шерсть пряла. Хорошая у меня шерсть была…

Микша слегка потряс старуху за костлявые плечи.

— Да ты не про овечек мне, не про шерсть. Ты вспомни, как умирал Иван Никифорович. Перед самой войной, когда из заключенья пришел. Вспоминал он своего сына?

— Да разве у его сын был? Дочи, кабыть, Анюш-

ка.

— Нет, не дочи! — закричал Микша. — Сын! Я. Никифор. Понимаешь?

Старуха не понимала. У нее, видно, кончились те немногие минуты просветления, которые ей еще отпускала на день природа, и сколько он ни кричал, сколько ни объяснял, кто он, пробиться к ее памяти не мог.

Между тем вернулись Власик и Зина — забарабанили в окошко и в ворота. И пришлось идти открывать, пришлось впускать в избу.

— Никифор Иванович! Живем! — Власик еле держался на ногах, но на стол выкинул две бутылки. Зина тоже бутылку поставила.

Наверно, четвертной дал, подумал Микша про Кудасова и хлопнул дверью: разве до выпивки ему было сейчас?

9

Вот и опять его ноги вынесли к реке, к перевозу. Бродил, бродил по деревне, думал-думал, к кому бы еще толкнуться, — ничего не придумал. Петруша Лысохин, к примеру, подходящих бы годов, да всю жизнь прожил в городе — что знает про отца? От Настасьи Тюлевой тоже толк небольшой: напрочь глуха. А Маремьяна Макси-

мовна и на порядке бы старуха, с умом, да к ней нет ходу из-за дяди Александра. Чуть ли не сорок лет прошло с той поры, как дядя совратил ее дочь Татьяну, сама Татьяна стала старухой, а не забыла обиду Маремьяна: встретишь — глазами прожигает тебя.

Волна на реке не стихала. С гулом, с грохотом била в лодки у берега, и те в темноте натужно скрипели, ворочались, как невидимые тюлени.

Эх, да что он раздумывает! Райцентр рядом, четыре версты не будет. Отец годами, до тех пор, пока служил в райпотребсоюзе, шлепал. Каждый день — и утром и вечером, а он стоит, к реке прислушивается.

Через час Микша входил в райцентр. К его немалому удивлению, тут еще кое-где были огни, дощатые тротуары трещали под ногами буйного молодняка, возвращающегося с танцев.

Скоро он свернул с главной улицы, темными переулками вышел к коммунальной бане — тут, за два дома, возле колодца под навесом, жил Василий Семенович.

Василий Семенович частенько попадался ему на глаза, когда он бывал в райцентре. Веселый старик, всегда в людных местах трется. И всегда зовет его в гости: «Зайдем, зайдем ко мне,

Иванович. Вспомянем отца. Ведь у тебя отец-то — книжки надо писать».

Ему долго не открывали. Стучал кулаком, дубасил сапогами — все бесполезно. И только после того, как догадался брякнуть палкой в раму, в сенях зашаркали старческие шаги.

— Кто там по ночам безобразит? Милиция у нас рядом, можно и позвать как.

— Открывай, Федосеевна. — Он все-таки вспомнил имя старухи. — Свои.

— Да чьи свои-то? Свои-то в свой час и ходят.

— Свои, говорю. Никифор из Сосина. Ивана Варзумова сын.

— Кого-кого сын? Ивана Никифоровича? Да что же ты, родимой, сразу-то не сказал?

И тут вмиг, как в сказке, пали железные запоры, и Микша, громыхая дождевиком, ввалился в кухню.

— Заходи, заходи, Никифор Иванович, — опять запела старуха. — Завсегда, и ночью и днем, открыт наш дом для сына Ивана Никифоровича. А я ведь думала, пьяница какой ломится. Какие-то времена пошли — мужики ночи без вина прожить не могут. Все только одно вино и ищут. — И вдруг заохала, заахала: — Да откуда ты, родимой? На тебе ведь лица нету. Весь забелел,

застудел…

— Ладно про лицо. Ты лучше старика своего разбуди.

Федосеевна печально покачала старой головой.

— Нет, не разбудишь Василья Семеновича. Крепко спит Василий Семенович. Беспробудным сном…

— Чего? Помер?

— Помер, помер Василий Семенович. На той неделе два годика будет, как схоронили.

Микша тяжело опустился на заскрипевшую табуретку, обеими руками схватился за голову: вот и поговорил с веселым стариком про отца.

— Слушай, Федосеевна, а ты не знаешь, за что твой старик все добром вспоминал моего отца?

— Знаю, как не знаю. Твой-то отец, Иван-то Никифорович, моего старика от смерти спас.

— От смерти? Мой отец?

— Да, от смерти. В ту еще, в гражданскую. Мы с Васильем, не знаю, жили, нет с неделю-то вместях — только-только поженились.

И вот как сейчас помню, вечером из гостей приходим, у моих родителей были, раздеваемся, и вдруг твой отец: «Василий Семенович, спасайся! Сейчас за тобой придут». А Василий Семенович —

ха-ха, на смех. Знаешь, какой зубоскал был: мне за день до смерти кукиш показывал. А уж крыльцо-то трещит. Идут. Ну, меня бог вразумил, закладку в сенях задвинула. Василий — на поветь. Понял, чем пахнет. А поветь-та уж тоже в окруженье взята. Застреляли, забахали — я думаю, и мужику моему конец. Ну да темень была — ушел невредимой. А твой-то отец, Иван Никифорович, не ушел. Куда уйдешь? Мефодий, дядя твой, в избу влетел: «А-а, дак это ты его предупредил? Ну раз контру спасаешь — становись сам к стенке!» И прямо револьвер на него. Да хорошо тут Александр заступился, тоже дядя твой. «Что ты, говорит, Мефодий, опомнись! Это ведь зять наш, муж нашей сестры». А то бы крышка Ивану Никифоровичу. Мефодий Кобылин, хоть и дядя тебе родной, а собака был человек. Сколько его на свете нету? Двадцать лет, а может, больше, а люди и топерь еще из-за него плачут. Что он наделал-натворил в том году со своими головорезами — страсть. В кажинной деревне безвинных людей сказнил, а в нашей волости зараз десять мужиков. Один одного лучше да крепче. Мой-то у него тоже был приговорен, да спасибо Ивану Никифоровичу…

Тут Микша решил внести ясность, ибо кто только в последние годы не пинает его дядьев за

расстрелы в восемнадцатом году.

— Ты слыхала про то, что в Ленина белые стреляли? В Москве, на одном заводе? Ну дак за Ленина, за вождя революции тогда мстили. Красный террор. Чтобы впредь неповадно белякам было. Понимаешь?

— Да ведь Ленина в Москве стреляли, с Москвы и спрашивайте. А наши-то мужики чем виноваты? За тысячу верст от Москвы живем… — Тут Федосеевна по старой привычке перешла на шепот. — Да мы, Никифор Иваныч, в те поры и про Ленина-то не слыхивали. Это потом все — Ленин да Ленин, а тогда чего мы знали…

— М-да… — сказал Микша. — Вон оно как… — Он обеими руками схватился за голову, потер лоб. — А отец, значит, не сробел, прямо под наган стал? А я ведь думал, по части смелости он слабак.

— Кто, Иван-то Никифорович слабак? Что ты, что ты, господь с тобой. В крестьянском пароходстве служил казначеем — знаешь, какие деньги имел. И в город и из города один ездил. А нервов-то, угроз-то ему сколько было, когда с ссыльными они это опчество стали делать! Парамон Усынин, на што богач, сама слыхала, как возле казенки кричал: «Ну, Ванька, ты еще восплачешь у меня

красными слезами!»

Микше доводилось слышать, что отец служил казначеем в каком-то пароходном обществе, но что это за общество, почему о нем до сих пор вспоминают люди, он не знал, а потому попросил рассказать старуху.

— Ну, милой, — вздохнула Федосеевна, — это тебе, кто грамотный, надо спрашивать, а чего я расскажу? Было у нас в уезде пароходное опчество, на паях мужики два парохода купили, чтобы товары из города возить, а то Парамоха Усынин втридорога за все драл — и за проезд и за товары. А в те поры у нас ссыльные жили, вот они и стали подбивать твоего отца на киперацию. А он, Иван-то Никифорович, у Парамона Усынина служил, в доверенных был.

— И отец против самого Усынина пошел? — От волнения у Микши перехватило горло.

— У, милой! Что тогда было, и не пересказать. Шутишь, нет, у Парамона такой кус вырвали. Раньше сколько хочу, столько и деру — мои пароходы, я хозяин. А тут дери, да оглядывайся: еще два пароходика на реке посвистывают. В больших, в больших людях ходил Иван Никифорович. Это теперь-то его попризабыли, а тогда что ты — первый человек. Да ты чем меня, темно-

ту, спрашивать про отца, к Павлину Федоровичу сходи. Они вместях тогда это опчество ставили. Уж он тебе все как надо разложит…

10

Если кто и был загадкой для Микши на этом свете, так это Павлин Федорович Усольцев, районный учитель.

Человек в двадцать пять лет все кинул в городе — квартиру, хорошее место (говорили, в профессора мог выйти), — поехал в ихнюю глушь. Добровольно. Без всякого понюжальника. Чтобы учить крестьянских сопленосых ребятишек, нести свет людям.

И вот двадцать пять лет, как говорили в старину, сеял разумное, доброе, вечное, все отдал людям, всем пожертвовал: молодостью, семьей (так холостяком и остался), здоровьем. А люди? Чем отплатили ему за это люди?

В тридцать восьмом году Павлина Федоровича арестовали, и никто, ни один сукин сын не заступился за старика…

Он, Микша, на всю жизнь запомнил, как Павлина Федоровича отправляли под конвоем в город. Было это ранним июньским утром. Он откуда-то возвращался с гулянья под парами

(страшно он пил тогда, после отреченья от отца. По пьянке, между прочим, и в тюрьму угодил — грузовиком на районную трибуну налетел), и вдруг в утренней тишине зазвякало, заскрипело железо. Глянул — а из ворот энкэвэдэ выводят арестованных. Все на один манер. Все грязные, бородатые, серые. А Павлина Федоровича он все же узнал. По выходке. Горделиво, с поднятой головой шел. И еще ему кинулась в глаза белая-белая лысина…

Семнадцать лет отстукал Павлин Федорович. Освободили по хрущевской амнистии в пятьдесят пятом году. И вот как бы поступил на его месте другой человек? Потащился снова в эту проклятую глушь, к этим оглоедам, которые его предали? Да пропадите вы пропадом! Хоть подохните, хоть на корню заживо сгнивайте. Что — места другого мне не найдется? Хоть в том же в городе, куда все теперь рвутся?

А Павлин Федорович опять вернулся к ним. И мало того что вернулся — весь район в зелень одел.

С тридцатых годов у них озеленяют райцентр. Сил и денег ухлопано — не сосчитать. А все попусту: то сами посохнут эти зеленые саженцы, то козы объедят, то кто-нибудь из озорства выдер-

нет. А вот взялся за это дело Павлин Федорович, и по всему району, по всем деревням загулял зеленый огонь. И забыли люди вековечную пословицу: у дома куст — настоится дом пуст. Нет, теперь без красной рябинки да белой черемушки и дом не в дом.

11

Микша не раздумывал, будить или не будить старика. Это часа два назад, когда у него еще не было в голове паров (отца с Федосеевной помянули), он бы ломал голову, как быть. А сейчас все просто. На крыльце грязь с сапог обил и прямо в коридор, к двери, где крупно, как в букваре, было написано — «П. Ф. Усольцев»: давай, Павлин Федорович, открывай, объясни, как жизнь надо понимать, поставь мне, дураку, мозги на место.

Старик, должно быть, еще не спал: он быстро, не по-стариковски, открыл дверь.

— Павлин Федорович, это я, Кобылин…

— Кобылин?

— Ну да, Никифор Кобылин… в пятом классе у вас учился…

Старик покачал головой:

— Кобылины у меня не учились.

— Ну вот еще, автобиографию я свою забыл.

Да я тогда не Кобылин, Варзумов был. Ивана Никифоровича сын. В райпотребсоюзе который работал… Бухгалтером…

— Так это ты… ты от отца отрекся?

— Да будет вам, Павлин Федорович! Старое-то вспоминать… Когда это было-то!

Павлин Федорович спокойно и твердо, совсем как, бывало, на уроке, сказал:

— Нет, Кобылин, не все, что старое, забывается. — И вслед за тем так же спокойно закрыл дверь.

Микша оторопел. Он хотел крикнуть: «Да погодите же, Павлин Федорович! Да я не ради себя пришел, ради отца…»

И не крикнул. Не хватило духу.

12

Сколько времени он бродит? Где был? Что ищет?

Темень, темень кромешная, мрак кругом…

Какой-то забор вдруг преградил ему дорогу. Он ощупал его руками — похоже на острые штакетины, приподнял кверху лицо — что за шум над головой? Сосны, сосны шумят…

А-а, так вот куда его занесло — к братскому кладбищу, к дядьям на могилу.

Ну здравствуйте, здравствуйте, дядюшки!

Микша не тыкался, не вихлял больше в темноте: тут, на кладбище, он был как у себя в избе. Знал каждый поворот.

Уже давно перестали колонны демонстрантов ходить на братское кладбище в красные праздники, уже давно не говорят над могилами зажигательных, до самого сердца пробирающих речей, не поют «Интернационал», не палят из ружей, а он ходит. Из Сосина ходит. С красным флагом. В любую погоду, в ледоход попадает за реку…

— Ну, спасибо, дорогие дядюшки, — сказал в темноту Микша. — Устроили вы мне жизнь…

Ледяной ветер с воем, с визгом, как стая злющих собак, налетел на него, едва он ступил ногой на открытый большак. Он остановился. Может, обратно двинуть, в райцентр, переночевать у знакомых? Но он вспомнил вдруг Оксю, представил себе, как она, вся измучившись, ждет его дома, — и к черту, к дьяволу ночлеги. Даешь Сосино!

Ах дура, дура Окся! Прибежала к нему, вдовцу, семнадцатилетней девчонкой. Сама. «Не могу видеть, как мучаются осиротелые детишки», — а про то подумала, как с Кобылиным жить? Только и свету, только и радости она у него видела, что

в первый год их совместной жизни он свозил ее в город да показал в областном музее уголок своих дядьев…

На лугу ведьмы справляли шабаш. Он сбился с дороги, залез в какую-то топкую озерину, в темноте потерял шапку. Хана! Не выбраться из этой проклятой ночи…

Ну нет, не для того он вывернул наизнанку всю свою жизнь, чтобы, как собака, подохнуть на открытом лугу. И он, зажав рукой сердце (оно, как загнанный заяц, торкалось под парусиной дождевика), опять начал утаптывать в темноте луг. И опять какая-то топь, болотина, опять какие-то кочки под ногами. Откуда? С каких пор на их ровнехоньком, как блюдо, лугу позавелась вся эта пакость?

Окся, Окся вывела его к реке. Ее дымок он вдруг учуял в ночной темени. Знала: любит муж тепло после похмелья. Любит босиком походить по избе. Вот и затопила печь ни свет ни заря. Вот и донесло до него ветром запах родного дыма…

Светало, когда Микша, опираясь на жердь, поднялся в сосинский берег. Волосы на голове у него смерзлись, обледенелый дождевик гремел, как железо…

Близко, близко уже дом… Уже видно, как огни

светятся в окнах. Много огней… Но что это? Откуда колокольный звон?

Он повернул голову на восток и увидел там черную громадину часовни, освещенную заревом свечей.

Нет, нет, дудки! Это старухам постоянно мерещатся свечи на рассвете, а я безбожник. Я с малых лет не верю ни в бога, ни в черта.

Но свет на востоке не гас, и оттуда уже доносилось какое-то знакомое-знакомое пение. Где, где он слышал его?

Вспомнил. Лишенцы, раскулаченные пели в тридцатом году.

По вечерам, на закате, из часовни выползали все, кто мог двигаться, усаживались прямо на землю и заводили песни. Мягкие, нездешние, налитые безнадежной тоской и мукой. И сосинские бабы, слушая эти песни, навзрыд плакали, и плакал его отец… И он ненавидел его тогда до слез, до исступления. Ненавидел за то, что отец был человеком…

Иду, иду, отец!

Никогда в жизни не был он на могиле своего отца, никогда в жизни не ронял слезы на погосте возле часовни, а почему? Разве он не сын своего отца?

Звонили колокола… Песня то умолкала, то вновь томила тоской и болью…

Он шел к отцу…

13

Неделю спустя в районной газете в разделе «Пьянству — бой!» появилась заметка:

«К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДРУЖБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ»

Н. Кобылин, конюх из Сосина, давно уже снискал печальную известность своей многолетней дружбой с зеленым змием. А ведь не теперь известно: там, где вино, алкоголь, там моральные срывы, безрассудные выходки. Ну кто, к примеру, в здравом уме и трезвой памяти поедет сейчас по бездорожью в глухой сузём, чтобы навести, так сказать, свой порядок в рыбном хозяйстве? А Н. Кобылин поехал, а вернувшись из поездки, предпринял дерзкое форсирование реки – посреди ночи, в условиях ледяной шуги.

Кончилось все это, как и следовало ожидать, весьма печально. В ночь на

15 октября Н. Кобылин до того напился, что на ночлег решил перебраться на могильники, к старой часовне, где его и нашли замерзшим.

Н. Кобылину теперь уже ничем не поможешь, но кое-кому еще можно и должно помочь, ибо, увы, в нашем районе еще не перевелись любители водить дружбу с зеленым змием.

Долг общественных организаций – ни на минуту не выпускать из своего поля зрения дебоширов и злостных пьяниц.

Пьянству – бой!»

1974 г.

Мамониха

1

Приезд гостей застал тетку Груню явно врасплох — она выбежала на крыльцо босиком, без платка, в старом-престаром сарафанишке аглицкого ситца, какой, бывало, надевала по великим праздникам.

— О, о, кто приехал-то! — запричитала она породному, окая, врастяг. — А я ведь думала, уж и ты передумал.

Мокрый от старушечьих поцелуев и слез, Клавдий Иванович шагнул в желанную прохладу нетопленой избы (тридцать градусов в одиннадцать утра было!), и тут все разом разъяснилось: брат и сестра не приедут — тетка две телеграммы подала ему. На Никодима, как было сказано в телеграмме, неожиданно свалилась важная командировка, а у Татьяны — тоже неожиданно — заболел сын.

Клавдию Ивановичу обидно было до слез. Ведь договаривались же, списывались: нынешним летом собраться под родной отцовской крышей — больше десяти лет не виделись друг с другом.

А потом, надо было что-то решать и с самим домом — тетка Груня в каждом письме плакалась: разорили охотники да пастухи ваше строенье, одни стены остались, да и тех скоро не будет.

У Клавдия Ивановича было отходчивое сердце, и сам он быстро справился с собой. Ну не приедут и не приедут — что поделаешь? Чего не бывает в жизни? Но жена… Как все это объяснить, втолковать жене?

Полина последние три месяца, можно сказать, только тем и занималась, что шила платья да всякие там женские штуковины — не хотелось ударить лицом в грязь перед столичными. И сколько она денег на это добро извела, так это страшно и выговорить. И вот на тебе — все зря.

Первые минуты за столом сидели как на похоронах. Всех — и тетку, и грузную соседку Федотовну, которая приплелась посмотреть на дальних гостей, и, конечно, самого Клавдия Ивановича, — всех замораживал мрачный вид Полины.

Оттаяла она немного лишь после того, как пропустили по второму колокольчику.

Тут сразу с облегчением вздохнувший Клавдий Иванович скинул теснившие ногу туфли, снял запотелые носки и начал босиком расхаживать по некрашеному, льняному полу — сколько уж

лет не чувствовал под ногой певучей деревянной половицы!

— Походи, походи, Клавдий Иванович, — одобрительно закивала тетка. — Вишь вот, ты в отца ногой-то. У того, бывало, нога не терпела неволи. В чей дом ни зайдет — в свой, в чужой, а первым делом долой сапог да валенок, иначе ему и жизнь не в жизнь…

— Да ведь не зря босым и звали, — подковырнула Федотовна.

Тетка стеной встала за покойного брата. Дескать, верно, босым звали — у кого раньше прозвища не было, да не босым жил. Ну-ко, кто такое житье имел? Кто в колхоз столько добра сдал? Корову, быка-двухлетка, да кобылу в самой поре, да жеребца выездного, да трои сани, да две телеги…

— Нет, нет, — отрезала тетка, — не по прозвищу величали Ивана Артемьевича, а по фамилии. А фамилья у нас, Устинья Федотовна, сама за себя говорит: Сытины. — И вдруг горько расплакалась. — Все, боле, Клавдя, нету нашей Мамонихи. Одни медведи теперека живут да еще Соха-горбунья мается.

— Соха-горбунья? Она жива?

— Жива, жива. Всю зиму, бедная, из халупы не

вылазит, как в берлоге сидит.

— Давай дак не рыдай, — строго заметила Федотовна. — Нашла о ком плакать. Мало у ей помощников-то…

— Это у Сохи-то помощники?

— А чо? Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся погань, вся нечисть у ей на побегушках.

— Не говори чего не надо-то. Всего можно на человека наговорить.

— Да ты где, в каких краях-то выросла?

Разговор становился шумным, крикливым: обе старухи — и тетка, и Федотовна — всю жизнь вот так, ни за что не уступят друг дружке, и Клавдий Иванович с тревогой начал поглядывать на неплотно прикрытую дверь на другую половину, куда незадолго до этого ушла передохнуть Полина с сыном.

Тетка на это чуть заметно покачала головой: не нравилось ей, что племянник под пятой у жены, да, похоже, и Федотовна кое-какую зарубку в своей большой мужикоподобной голове сделала — больно уж сочувственно поглядела на него. Но Клавдий Иванович и ухом не повел. Пускай себе думают, что хотят. Разве они знают, сколько мук приняли Полина и Виктор за дорогу! Целые сутки парились-душились в поезде, да сутки без

мала сидели на областном аэродроме, да этот районный автобус, будь он неладен: жара, духота, давка, пылища — рот затыкает…

Спасение пришло от какой-то сопленосой девчушки. Девчушка вдруг закричала под раскрытым окошком:

— Федотовна, чего расселася как баржа! Коза у тебя в огороде благим матом орет, вокруг кола запуталась.

— Манька? — Старуха живо вскочила на ноги. — Да пошто запуталась-то? Я токо-токо была у ей. — И вскоре уже, шумно дыша, затопала под окошками.

Когда она наконец выгребалась из заулка, тетка со вздохом сказала:

— Теперь по всему Резанову расславит. Наплетет с три короба.

— А чего ей плести-то?

Тетка обиженно поджала губы: мол, чего в прятки-то играть. Не знаешь разве Федотовну? И разговор перевела на дом:

— Продавать вам надо свою вотчину, покудова пастухи да охотники не спалили. Я весной была — огневище в передней-то избе. Сколько-то камешков, кирпичиков на пол брошено, а на них уголье.

— Да разве печи в избе нету? — вознегодовал Клавдий Иванович.

— А в печи-то неинтересно. А тут бутылка в хайло и огоничком припекает. Как на курорте. Злыдень, злыдень пошел народ. Совсем образ потерял. — И тетка опять принялась толковать про продажу дома.

— А покупатели-то найдутся? — спросил Клавдий Иванович. — Я от райцентра сюда ехал — этого добра, домов нежилых-то, в каждой деревне навалом.

— То старье, дрова. А которые получше да покрепче, те подбирают. У нас Геннадий Матвеич большие деньги загребает. Сколько уж домов на станцию да в район свез. Был тут как-то. Напиши, говорит, своим умникам, это вам-то: сколько, говорит, еще дом будут мурыжить? Але ждут, когда по ветру пустят? Да он сам и пустит — рука не дрогнет. Знаешь ведь, какого роду-племени.

— Чего-то я, тета, не пойму, о ком ты… — пожал плечами Клавдий Иванович.

— Давай дак чего понимать-то! — загорячилась старуха. — Геха-маз. Матюги-быка сын.

— Да ну! Геха-бык здесь? — Клавдия Ивановича прошибло слезой, и он не стыдился ее: вместе на одной улице росли, вместе в одну школу бегали,

вместе в армию в один день призывались… Да разве все перечислишь?

— Здесь, здесь, — сказала тетка. — Только быком-то ноне не зовут — сам прозвище себе заробил. На грузовике ездит, «МАЗ» называется — страсть какой зверь. Мимо-то идет-едет — у меня дом дрожмя дрожит от страху. Вот «маз»-от этот и переборол отцовскую кличку. Нынче про «быка»-то никто и не вспомнит.

Тетка, слегка прищурив глаза, вытянула старую белую шею в сторону раскрытого окна.

— В деревню-то въезжали — видел дворец-то каменный, там, где ране дом лесничего был? Ну дак то Геннадия Матвеевича владенья. Да, ни у кого отродясь в Резанове каменных хором не бывало, да и в других деревнях не помню, а он вот, на-ко, построил. Самого лесничего, барина, переплюнул, а про кулаченых, я про тех уж и не говорю — голяки против его. Всех, всех под себя подмял. И людей, и леса. Машинный человек, вся жизнь у его в руках.

— Надо будет как-нибудь заглянуть, — сказал Клавдий Иванович.

— Да не как-нибудь, — возразила тетка, — а сегодня же, сию минуту, ежели хочешь поскорей домой попасть. А то уедет на сенокос але еще

куда — ищи его тогда.

2

Резаново для Клавдия Ивановича было второй родиной. К тетке Груне его начали возить чуть ли не с пеленок, и мог ли он сейчас, выйдя на улицу, удержаться от того, чтобы не обежать деревню, хотя бы ее верхний конец?

Не далеко, не далеко ушагало Резаново от тех деревень, которыми они сегодня проезжали. Нового дома — ни одного на весь конец, а старые разваливались на глазах. Один клюнул наперед, другой скосило набок, у третьего крыша провалилась — верблюд, да и только, а четвертый без окон, без дверей — как сарай… И где бывалошные огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару серыми да черными валунами лежали под окошками, в тени у старых бань, пропахших дымом да банным листом?

Но особенно не по себе стало Клавдию Ивановичу, когда он свернул на задворки да увидел развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот… В сорок седьмом он пастушил в Резанове — сорок три коровы было в верхнем конце у колхозников, а теперь сколько? Неужели ни одной?

Тучи, собравшиеся на сердце, немного разогнала тетка Груня. Старинной выделки человек! Долго ли он огибал верхний конец деревни? Минут десять-пятнадцать, ну от силы двадцать, а старуха уж тюкала косой в своем огородишке на задах.

— Коса-то налажена? — весело окликнул ее Клавдий Иванович.

Аграфена Артемьевна не отозвалась. Она вся была в работе. И как для истинно набожного человека во время молитвы ничего не существует вокруг, так не существовало сейчас ничего и для нее.

Знакомой-презнакомой тропинкой Клавдий Иванович обогнул остатки старой конюшни, прорысил мимо зернотока, и вот он, белокаменный домина на отшибе, который давеча из автобуса он принял было за новую больницу.

Место Клавдию Ивановичу было хорошо знакомо. Тут раньше был баринов сад, дремучие заросли черемухи и рябины, и осенью они, школьники, бегали сюда каждую перемену — невпроворот было сладкой да кислой ягоды.

Сейчас от старого сада остались разве старые развесистые березы, да и те были на задах, а спереди дома ни единого деревца, и голые окна ярко,

как прожектора, полыхали на солнце.

Клавдий Иванович прикрыл ладонью глаза, бегло скользнул взглядом по машинам (на виду, под самыми окошками, и трактор, и грузовик) и просто ахнул, когда увидел въездные ворота слева — высокие, окованные, выкрашенные зеленой краской, с козырьком.

Да неужели это он все сам сделал? Когда же у него прорезались такие таланты?

Отец Гехи, Матюга-бык, был лодырь, каких свет не видал. Слыхано ли, к примеру, чтобы в деревне, где лес тебе на каждом шагу на пятки наступает, без дров жить? А быки жили. И Клавдий Иванович хоть и совсем сопленосым ребятенком до войны был, а запомнил, как Маша-ягодка, мать Гехи, однажды утром приперлась к ним со слезной мольбой: дайте охапку дров — печь затопить нечем, ребята замерзают.

Геха по части лени, может, и уступал сколько-то отцу, но по части упрямства наверняка обскакал родителя. После войны, бывало, бригадир чем-либо не угодит — и день, и два, и три дома лежит. Ничем не своротишь. Ни уговорами, ни силой. Да по силе ему из молодняка и равных в Мамонихе не было. Как только встал на ноги, так и начал гвоздить сверстников направо и налево:

неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел — даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: «Екимовна, у тебя морковка ничего растет?» — «Ничего, чур быть». — «Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут». — «Да пошто вытопчут-то? Што я им худого исделала?» — «А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не хочешь, чтобы вытоптали, неси крынку молока. Я покараулю». И Екимовна — что делать — несла.

Хозяин выскочил из дома, когда Клавдий Иванович еще и близко к дому не подошел: пес залаял. Выскочил, крикнул черно-белому, чуть ли не с теленка кобелю: брысь, сатана! — и пошел навстречу, широко, на целую сажень раскинув руки.

— Клавдюха, да неужто ты? А я гляжу из своего овина, — вялый, с напускной пренебрежительностью кивок на дом, — кто бы это, думаю? Идет и во все глаза глядит на мой сарай. А потом: да ведь это же из Мамонихи, нашенский — вишь, ухи красные и оба с дыркой.

Тут Геха хохотнул — целая пасть желтых, прокуренных зубов, один крепче другого, взыграла на солнце.

— Ну, ну, здорово! Поминала тут как-то Грунька: гостей жду…

На мгновение у Клавдия Ивановича перехватило дух — по-медвежьи, обеими руками, облапил, приподнял над землей.

— Так, так, приехал, значит? Это ж сколько же лет ты не заглядывал в родные края? Ну и сердце у тебя… А я слабак, слабак! Я три года отмолотил в Германии — и шабаш. Никакие города-разгорода не надо. Домой! Ко своим куликам на болото. А ты, поди, там, в южных краях, как на курорте живешь? Груши, виноград, всякая разлюли-малина… Так? Самим немцам перо в мягкое место вставил? А?

— Виноград у нас не растет. Да и вообще… — Клавдий Иванович махнул рукой. — Какой там курорт, когда цементный завод под боком! Огородишко и тот еле-еле дышит…

— Да ну! — страшно удивился Геха и тотчас же самодовольно заулыбался. — Тады, — он явно косноязычил, — пойдем, ежели не возражаешь, на мою бедность глянем.

Взбрякала железная щеколда — Геха пропустил вперед гостя. И тут новая собака, точно такой же масти, как первая, гремя цепью, кинулась на Клавдия Ивановича.

Геха пинком отбросил ее в сторону.

— Сволочь! Нашла время усердие показывать! Не видишь — с хозяином?

— Сколько же их у тебя? — спросил Клавдий Иванович, когда немного пришел в себя.

— Собак-то? Три. Есть еще одна для охоты. Балуюсь иной раз. А это так, для бреха.

Клавдий Иванович кивнул на дырявую алюминиевую миску, в которой валялись остатки собачьей еды — две старые картофелины, нечищеные, без всякой приправы.

— Она от голоду у тебя на людей кидается. Неужели ты ее одной картошкой старой кормишь?

— Голова! Накорми ее не старой-то, она лежать будет. А мне надо, чтобы она волком голодным рыскала. Чтобы ни один ворюга сюда не сунулся. Усек? — И тут Геха горделивым, хозяйским движением руки описал перед собой широкое полукружье.

Клавдий Иванович ахнул. Сад! Да еще и сад-то какой! Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой…

— Тянемся помаленьку! — сказал Геха. — Так сказать, наглядный пример по сравнению с довоенным. У барина тут что было? Одна ерундистика. Так? А климат, между прочим, позволяет.

Я в Прибалтике и Германии служил — не так чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого?

Геха не спеша водил его от одного плодового дерева к другому, показывал кусты крыжовника, черноплодки, малины, смородины, таскал по грядкам с клубникой, огурцами и помидорами, и Клавдий Иванович не мог скрыть своего восхищения. Везде, во всем образцовый порядок! Ни единого сорняка, ни одного клочка пустующей земли. Все разделано, разрисовано — руками, граблями, солнцем, известью — не сад, а картина.

Но самой большой гордостью хозяина была пасека — штук пятнадцать ульев в виде крохотных разноцветных домиков, расставленных на задах сада вдоль высокого забора.

С довольной ухмылкой вслушиваясь в пчелиный гул, Геха заметил:

— Ничего поют, а? Ну, возни много. Особенно зимой. Но оправдывает. В цене у нас медок.

Клавдия Ивановича — он, задрав голову, вглядывался в буйно цветущие липы вдоль забора — вдруг озарила догадка.

— Так это ты специально и липы для пчел посадил?

— А то! Барин тут, бывало, натыкал черемух да рябин, а какой в них толк? Ну, пахнут, ну, мусорят. А мне надо, раз я скотинку с крылышками задумал, чтобы корм под рукой был. Но корм кормом, — сказал Геха и подмигнул, — а я еще одну нагрузку для липы дал. В общем, как говорится, сразу два хомута надел.

— Два хомута? — переспросил Клавдий Иванович.

— А как же! В этом-то вся и штука. Так сказать, рационализация по первому классу. — Геха подвел его к ближайшей липе. — Пчелок она кормит, это ты усек — так? А кто же забор держит?

Да, да, да! Высоченный забор из островерхих досок, обвитых колючей проволокой, держался на стволах лип и тополей. В общем, такого живого забора Клавдий Иванович еще в жизни своей не видал, и от удивления он только головой покачивал.

Геха торжествовал:

— Одобряешь, значит, мое рацпредложение? Подходяще? Ха-ха! Помнишь, у нас, бывало, Оська-копыто все хотел медведя с коровой случить. Чтобы зимой, значит, без корма скотина жила.

Ну дак я по его стопам пошел.

Хорошо было в саду! Пятнистая тень, солнце и воздух — не надышишься. Но пора было подумать и о деле. Куда там! Геха и слышать не хотел ни о каких делах. Столько-то лет не виделись, да что он, турок какой, чтобы своего земляка да еще корешка так отпустить из дома!

Одним словом, пошли в дом. И тут новый начался смотр. Просторная веранда с крашеным полом, вместительные сени с кладовкой, прихожая, кухня, передние комнаты…

Хоромы барина, стоявшие на этом месте, сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну, задолго до появления на свет Клавдия Ивановича, но были ли они лучше и богаче Гехиного дома — это еще вопрос. По крайней мере, Клавдий Иванович в этом не был уверен.

— Я, — высказался сам Геха по этому поводу, — решил крест на дереве поставить. А что? У немцев вон все дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем. Нет, пора кончать с деревянной Русью — правильно я говорю?

— Правильно-то правильно, — сказал Клавдий Иванович, — да ведь кирпич-то каких денег стоит. Да и где он у нас?

— А это уж поворачиваться надо. Будешь поворачиваться, и кирпич будет. И копейка не из кармана, а в карман покатится.

Хозяйка, не в пример мужу, худющая, неразговорчивая, с каким-то постным лицом, тем временем схлопотала закусить, и Клавдий Иванович, как только пропустили по стопке, опять заговорил о своем деле, то есть о машине.

На этот раз Геха выслушал его до конца.

— Нет, — коротко качнул головой, — сегодня не могу. Сегодня ко мне из района начальство обещалось приехать, а может, еще и из области кое-кто будет. На рыбалку везти надо. А вот завтра-послезавтра в любое время. Да чего ты в эту дыру рвешься? Погости у нас. Ежели у тетки не нравится, давай ко мне. По-моему, у меня жилплощадь позволяет, а?

— Первую ночь хочу в отцовском доме ночевать.

Геха снисходительно улыбнулся:

— Эх, ты, голова два уха! Ничему, вижу, жизнь не научила. Ну, ну, валяй! Комары там давно скучают по тебе.

3

Клавдий Иванович надумал добираться своим ходом.

Для вещишек у тетки в сарае нашлась старая двухколесная тележка, на каких еще в его времена колхозники возили для себя дрова, сено и всякую всячину. А сами они разве без ног? Да это же одно удовольствие — пробежаться по лесу в такую сушь, как нынешняя!

Правда, Полина, когда он заговорил об этом, взвилась было на дыбы. Как! Мало они натерпелись за эти дни, так еще по лесам, по болотам пробежки делать! Да пропади пропадом и вся ваша Мамониха, коли на то пошло!

Но тетка быстро вразумила ее.

— Я не знаю, Полина Фоминишна, — сказала строго и чинно тетка, — может, в ваших местах и принято на мужиках ездить, а у нас уж ты, матушка, потерпи. У нас, у Сытиных, мужик всему голова. И ты ежели не ради самого мужа, дак ради людей не срами его. Приехал из-за тридевяти земель и на-ко — семь верст до родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?

И вот выступили в поход. Полина и Виктор, понятно, налегке, а он с тележкой. Легко впрягся,

даже с каким-то интересом. Ну-ко, вспомним старые времена. Бывало, лошади в колхозе не допросишься, по месяцам ходишь в оглоблях.

Но Полину именно тележка-то пуще всего и выводила из себя. Потому что какой же порядочный человек впряжется сегодня в колымагу! Да будь с ними Никодим, они бы не просто на машине ехали, а еще бы и с почетом — в сопровождении самого директора совхоза, а то и покрупнее шишки.

Клавдий Иванович из кожи лез, чтобы хоть немного развеселить жену. Он то и дело кивал на залитый солнцем сосняк, которым шла дорога («Смотрите, смотрите! Как в кино красота!»), рассказывал о том, как бегал по этой дороге, когда учился в резановской семилетке, соблазнял жену и сына земляникой («Ну-ко, подайтесь немножко в сторону! Разве не чуете, как пахнет?») — все бесполезно. Полина шагала впереди, ни разу не обернувшись к нему, — красивая, полнотелая, рыжие волосы вразброс по широкой, с желобом спине, а Виктор, тот, похоже, совсем раскис. Десять лет парню, собачонкой бы надо бегать да виться вокруг, а он — пых-пых. Употел, ужарел — хуже старика. А все мамочкины пончики. Сколько раз он говорил: нельзя закармливать

ребенка. В школе ест, дома ест, к матери в садик придет — ест, вот его и развезло…

По сторонам стали попадаться первые ели и березы, первые комарики заныли над головой — приближались сырые места.

— Тут маленько дорога помягче будет, — предупредил Клавдий Иванович, — но это ничего, сухо сей год.

Молча, как неживые, перевалили за Тошкин холм, где когда-то зимой, по рассказам, замерз пьяный мужик из Мамонихи, и уперлись в густой темный ельник.

Полина и Виктор остановились как вкопанные.

— Ну чего там еще? — бодрым голосом крикнул шагавший сзади Клавдий Иванович. — Медведя увидели?

Он с удовольствием выпустил из горевших ладоней рукоятки тележки и, на ходу заправляя рукой потные, растрепавшиеся волосы, подошел к жене и сыну.

Грязь. Черная, крутая, как вар, — во всю дорогу.

— Теперь ты понял, почему у твоей сестры срочно заболел ребенок, а брата твоего в срочную командировку угнали?

Клавдий Иванович, избегая сердитого взгляда жены, виновато сказал:

— Раньше тут в это время никакой грязи не было. Это, вишь, трактор дорогу размял.

— Спасибо, утешил! — фыркнула Полина и начала снимать туфли.

Виктор захныкал:

— Мам, неужели туда пойдем?

— Эх ты, герой! Да тут и грязи-то с гулькин нос, а ежели обочиной, то как по асфальту. Смотри ведь, какая сушина.

Все это, понятно, Клавдий Иванович говорил не столько для сына, сколько для жены, но разве Полина когда слушала его? Туфли в руку и прямо в грязь.

— Ма-ма-а! — заорал на весь лес Виктор.

А мама — знать никого не хочу! — хлоп-хлоп по середке дороги. Как перегруженная лошадь. В теле баба.

И в конце концов Клавдий Иванович подхватил на руки орущего, насмерть перепуганного сына, перенес его по боковой тропке за грязь (сухо было, как он и думал, даже туфель не замочил), а потом перетащил вещишки, переволок тележку.

Дорога, слава богу, опять мало-помалу наладилась, начались пахучие воронихинские

папоротники, а затем и сам Воронихин ручей голос подал. Как журавлик весенний прокурлыкал — радостно, взахлеб: узнал, наверно.

На зеленом, ласковом бережку они сели передохнуть — тут исстари все, кто идет из Резанова, отдыхают. Напились, умылись, обмыли ноги. Полина и Виктор даже с едой разобрались. А ему не шла на ум никакая еда. Он как услыхал этот с детства знакомый говор ручья, так больше и думать ни о чем не мог.

«Домой, домой!» — выговаривал ручей, и в конце концов Клавдий Иванович не выдержал, вскочил на ноги.

— Вы не торопитесь. Идите потихоньку — тут рядом Мамониха, а я покамест разведку боем сделаю.

И вот — неслыханное дело — бросил посреди незнакомого леса жену с сыном, а сам вперед, вперед. Как мальчишка, как самый распоследний дурак.

Опомнился, когда вкатился в первые поля Мамонихи, а вернее, в осинник.

Да, лежат на земле остатки въездных ворот, ходят, как прежде, высоко в небе во все крыло распластанные ястребы, а где поля, где пашни, которые он когда-то пахал и боронил?

Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник.

4

У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок — сажай дерево под окошками.

Так в разное время были посажены кедр Никодим, березка Татьяна, рябина Марья, черемуха Анна (последние обе умерли в детстве), и только оскребышок, то есть Клавдий Иванович, остался без зеленой отметины на земле. Потому что он появился на свет в тридцать третьем году, когда люди умирали с голоду, и до игры ли, до забавы ли было отцу?

Упущение хозяина исправила мать, когда Клавдий Иванович был уже в армии. Незадолго до своей смерти мать написала ему, что у него теперь тоже есть свое дерево возле родительского дома — тополек.

И вот первое, что увидел сейчас Клавдий Иванович, подходя к родному дому, был тот самый тополек. Вымахал, разросся, всех задавил: и кедр, и березу, и рябину, и черемуху. Просто зеленый богатырь над домом — рокотом, тополиной песней встретил их.

Зато уж сам дом не сразу и признаешь. Боковой

избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: черное огневище посреди избы. Не поленились — кирпичи притащили с улицы, на полу очаг выложили. Потому что в печи-то дрова запалить и дурак сумеет, а ты вот догадайся без печи избу вытопить!

Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, выгребала на каждую Пасху грязь из избы. Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены — в самую непогодь в избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже.

Несколько привлекательнее выглядела другая половина. Тут уцелела старинная никелированная кровать, на которой спал еще дед Артемий, стол, и еще сразу бросилось Клавдию Ивановичу в глаза железное кольцо в потолке. Кольцо, в котором висел березовый очеп с его зыбкой.

— Вот как отец-то у тебя, Виктор, рос… В зыбке качался… — начал было объяснять Клавдий Иванович сыну и вдруг всхлипнул.

Полина рассудительно заметила:

— Может, сперва делом займемся, а потом про

зыбки-то рассказывать.

Да, да, да, спохватился Клавдий Иванович. Дел у них невпроворот. Четыре часа пополудни, а сколько им надо перелопатить всякой всячины!

Перво-наперво выгребли самую большую грязь из избы да затопили печи — веселее, даже в жару веселее, когда жилым в доме пахнет. Потом Клавдий Иванович принес от зарода (рядом, за домом стоял) охапку сена. Для постелей. Сено свеженькое, душистое, нынешнего укоса — эх, хорошо будет спать!

— Не носи покуда в дом-то, — встретила его у крыльца жена с ведром в руке (где только и раздобыла), с подоткнутым подолом.

— Да ты никак полы мыть надумала?

— А то. Неуж в грязи будем жить? — И пошагала к колодцу.

Колодец у них был с журавлем, про какие в Полининых степных краях и слыхом не слыхали, и Клавдий Иванович крикнул:

— Подожди, я помогу!

Но Полина и не подумала ждать его. С ходу обеими руками ухватилась за шест и давай, и давай загружать деревянное ведро.

— А мне что делать? — весело, с задором крикнул Клавдий Иванович. Крикнул только для того,

чтобы поскорее в семье водворилось окончательное согласие.

— А ты траву выкоси! — миролюбиво сказала Полина.

— Есть траву выкосить!

Клавдий Иванович схватил стоявшую возле крыльца, еще давеча отысканную на повети и наточенную старую косу и пошел гвоздить направо и налево.

На траву не смотрел (сроду в ладах с крестьянской работой) и на Виктора, захныкавшего где-то сзади, не обращал внимания. Равнение только на жену!

5

У Клавдия Ивановича на работе — а он пятнадцать лет без мала бригадирил в тепличноовощном хозяйстве завода — частенько заходили разговоры: надоела старая заигранная пластинка, хорошо бы вспомнить молодость, приударить за свеженькой. И ударяли. После выходного то один, то другой, то третий выхвалялся своими встречами на стороне.

Клавдий Иванович этого не понимал. Для него в жизни не было большей радости, чем видеть свою жену, смотреть, как она управляется с домаш-

ними делами: варит, стряпает, моет полы, шьет, а когда он, вернувшись домой позже обычного, заставал ее в постели — румяную, разогретую, с рыжими, распущенными по белоснежной подушке волосами, он просто возносился на небеса.

В дом Полины он попал вместе со своим сослуживцем Борисом Огаровым, и, помнится, когда они первый раз оказались у нее в комнате — чистой, светлой, с цветами, с белой, как рождественский сугроб, кроватью, над которой висел вышитый коврик — олениха с олененком, — у него захватило дух: ничего в жизни краше не видел. И уж, само собой, насчет молодой хозяйки он никаких планов не строил. Куда там — такая красавица! Да и у Бориса губа не дура — сразу стал чертом увиваться. А что он перед Борисом? Мешок с картошкой, цыпленок против орла!

Нет, нет, он уж и тем доволен был, что в те нечастые дни, когда получал увольнительную, мог заходить в этот дом, посидеть в этом раю.

Правда, сидел-то он немного. Борис каждый раз еще дорогой предупреждал его: «Создай мне обстановочку». То есть поменьше торчи возле них с Полиной. А потом, ему и самому как-то неловко было сидеть без дела. Мать у Полины

больна, брат да сестра малые, сама Полина на части разрывается, чтобы заработать лишнюю копейку — всегда с шитьем, всегда с вязаньем, а ведь было еще хозяйство: огородишко, поросенок, куры, дрова. И вот у них с Борисом быстро распределились обязанности: Борис с Полиной в комнате — развлекает ее, зубы заговаривает, а он, Клавдий Иванович, то с дровами возится, то в огородишке копается, то хлев для поросенка ладит, то еще чего. И Полину он обычно только и видел, когда заглядывал в дом перед уходом да еще когда она выходила к нему, чтобы взглянуть на его работу.

Однажды, примерно за месяц до демобилизации, Борис сказал Клавдию Ивановичу:

— Поработай сегодня над своим видиком. Я Полину на абордаж брать буду.

Ну что ж, подумал Клавдий Иванович, так оно и должно было все кончиться — ихней свадьбой. Ведь это же круглым идиотом быть надо, чтобы упустить такую девку!

Пошли. Взяли две бутылки вина (одну даже шампанского), торт, цветы.

Борис, едва зашли в дом, с ходу: так и так, мол, дорогая Полина, один хомут скоро сымаю, хочу надеть другой, то есть выходи за меня замуж.

Полина на это усмехнулась, потом вдруг вся посерьезнела и покачала головой:

— Нет, Борис, за тебя замуж не пойду, а вот за Клавдия пошла бы.

Свадьба была скромная, тихая. Брат Никодим и сестра Татьяна не приехали, а родственникам Полины Клавдий Иванович не понравился. И он понимал почему: больно уж жалок, больно уж невзрачен был он в своей новой, не по росту длинной солдатской гимнастерке по сравнению с пышной, как яблоня в цвету, красавицей невестой.

Полина под конец, видно, тоже одумалась и, когда они остались вдвоем, разревелась навзрыд. И это была самая ужасная минута в его жизни. За все без мала сорок лет.

6

Быстро, за каких-нибудь три часа, привели дом в божеский вид. Во всяком случае, на первое время было где прислонить голову, укрыться от дождя и от комаров. А это — главное. Все остальное образуется постепенно.

Довольные, счастливые (даже Виктор перестал скулить) Сытины сели за свой первый ужин в Мамонихе.

— Ну как, Виктор, — пошутил Клавдий Иванович, — хорошо ест тот, кто хорошо поработает?

— Ага, — ответил Виктор, с аппетитом, за обе щеки уминая свежий огурец — из тех, что дала тетка Груня.

Сам Клавдий Иванович тоже ел с удовольствием, но в мыслях давно уже был на деревне (это ведь бог знает что — сколько уже часов на мамониховской земле, а в самой Мамонихе еще и не был), и в конце концов вскочил, даже не допив стакана чая.

— Вы как хотите, а я больше не могу. Должен пробежаться по деревне.

Виктор, к немалому удивлению его, тоже увязался за отцом.

Усадьба Сытиных стояла на отшибе, и на деревню раньше вела торная, хорошо наезженная дорога. А сейчас? Клавдий Иванович сунулся туда-сюда — нет дороги. Повсюду какая-то реденькая, худосочная ржица вперемежку с жирным, уже остаревшим пыреем. «Наверно, тут поле раньше было, а это самосев», — подумал Клавдий Иванович и побрел напрямик к первому дому.

Первый дом принадлежал Павлу Васильевичу, Лидиному отцу, и Клавдий Иванович, как только увидел старинные двухэтажные хоромы

с белыми кружевными наличниками, слегка подрумяненными вечерним солнцем, так сразу и забарахтался в заводях прошлого. Все вспомнил. Вспомнил, как в детстве они с Лидой наперегонки — зимой, босиком — бегали друг к другу в гости, вспомнил, как позднее он был влюблен в Лиду и как Лида зло высмеивала его в частушках…

После войны всех парней из Мамонихи взяли в армию — кривых, косоглазых, беспалых, кого не в строевые войска, так в железнодорожные, в стройбаты, а его забраковали. Недомерок. Ростом не вышел.

И Лида первая запела:

Ой, ребята-кавалеры,
Отодвиньтеся от нас:
Мой миленок всех пониже,
Мне не видно из-за вас.

А как потешалась, как издевалась та же Лида над ним, когда его отправили на откормочный пункт! Были такие после войны для призывников. Специально ставили на откорм тех, кого особенно ушибла война, кто не вышел телом. Подобно тому как в колхозах ставили на откорм телят, которых нужно было сдать в госзакуп.

Но дело, конечно, не в унижениях, не в позоре, который он пережил тогда, — все это теперь в прошлом. А что стало с Лидой? Где она сейчас? Как сложилась ее жизнь? Ведь та же самая Лида, когда он уже кончал службу в армии и был женихом Полины, какое письмо прислала ему?

«Клавдя, я до краю больше дожила в этой Мамонихе, скоро весь свет белый прокляну. А у тебя паспорт теперь будет, вывези меня, бога ради, отсюда — хоть женой, хоть так — я на все согласна».

Дом Павла Васильевича был еще сносный, вполне годявый для житья, но что поразило Клавдия Ивановича — незаколоченные окошки с выбитыми стеклами. И он живо представил себе, как уезжала Лида из родного дома. До того, видно, все опостылело, все обрыдло, что даже окон не заколотила.

— Пап, — тихо и оробело заговорил Виктор (должно быть, и ему не по себе стало при виде пустых, черных глазниц), — а чего это растет? — Он указал на крапиву, которая высокой стеной, как ельник, окружала крыльцо.

— Крапива.

— А у нас дома не такая.

— Поменьше, хочешь сказать? Так ведь эта

крапива знаешь что тут делает? Вход в дом злым людям преграждает.

— Да? — Виктор внимательно посмотрел на отца и взял его за руку.

С этой минуты они так — рука в руке — и шли по мертвой Мамонихе. Шли вдоль домов высокой, слегка выброженной и присохшей травой.

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя Мамониха похожа была на кладбище.

И даже тополя вверху над крышами, многие почему-то с посохшими верхушками, пели как-то скорбно и заунывно, совсем-совсем не в духе этого жизнерадостного, жизнелюбивого дерева.

7

Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в Мамонихе не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, околенки допотопные, в аршин, да и те вкось, а по нынешним временам, когда все кругом порушено да задичало, и Сохина развалюха — жилье.

К ней приятно было подходить. Тропка с обеих сторон обкошена, заулок тоже начисто выкошен, и столько на лужайке возле ветхого, но чистенького крылечка кипело всякой пернатой мелочи,

что ветер заходил вокруг, когда она тучей взмыла вверх.

Клавдий Иванович не очень верил во всякие россказни насчет Сохи-горбуньи, но, берясь за скобу, все-таки подбодрил себя шуткой:

— Ну, Виктор, не робей! Сейчас саму Бабу-ягу увидишь.

Натужно прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком желтых попискивающих цыпляток…

— Ну, спасибо, спасибо, Клавдий Иванович, что зашел… А я гляжу, дымок у Ивана Артемьевича над крышей закурился — кого бог дал…

Клавдий Иванович обнял старуху, прослезился, а Виктор, тот вдруг выпалил:

— Здравствуй, Бабушка-яга!

Клавдия Ивановича в пот бросило от такой бойкости сына, но баба Соха — так по-новому окрестил для себя старуху Клавдий Иванович — и не думала обижаться.

— Яга, яга, милый. Как не яга. Хромая, горбатая, бывалошная, вся мохом обросла. Так, так, родимушко.

— А колдовать вы тоже умеете, бабушка? — еще

больше осмелев, спросил Виктор.

— А вот насчет колдованья-то, дитятко, я неважная Баба-яга. Кабы колдованье да знахарство ведала, я бы что первым делом сделала? А ногу да горб себе вылечила, а то вишь вот, всю жизнь на одной ноге скачу да людей пугаю…

Баба Соха жила по старинке и начала с угощенья. Все выставила на стол, чем богата была: свежепросольные рыжики, маленькие, копеечные, какими всегда славилась Мамониха, спелую, красную землянику (полнехонькую крынку!), северный мед — янтарную морошку…

У Виктора при виде этой свежей, благоухающей лесовины просто ноздри заходили, да и Клавдий Иванович не стал отказываться: сколько уж лет ничего этого не было во рту.

— Ну вот, — сказала довольная баба Соха, когда они все зачистили до последней ягодки, до последнего грибка, — теперь можно и гостей пытать-спрашивать.

— Можно, можно, баба Соха. Приехали вот навестить родные палестины.

— Ну, узнал вотчину, узнал Мамониху?

— Да как тебе и сказать… От старого-то разве что один ястреб в небе остался… Все заросло, все задичало.

— Все, — кивнула старуха. — Береза да осина разбойничают — на крыши уж лезут. Поминать, видно, деда Прокопья. Тот, бывало, когда деревню после пожара заново отстраивали, все говорил: «Зря, мужики, надрываетесь. Не жить Мамонихе. Не от огня, дак от куста погибнет».

— Так и говорил?

— Так.

— А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут.

— Сохнут, — опять кивнула старуха.

— А чего им надо?

— Тополям-то? А кто их знает чего. Может, по хозяевам своим тоскуют, которые их сажали.

— Это деревья-то тоскуют?

С улицы донесся крик — не иначе как там Виктор гонял птичек, но Клавдий Иванович даже в окошко не посмотрел. Пускай забавляется. Чего ему томиться в духоте. И он, осторожно пошевелив ногами, которые щекотно поклевывали попискивающие цыплятки, опять подался глазами к бабе Сохе.

— А ты-то как тут? Все одна да одна…

— А что поделаешь, Клавдий Иванович? Так уж мне на роду написано. Тяжело, тяжело зимой-то. Снегом занесет, засыплет с окошками — не

знаешь, что и на свете деется, — не то ночь, не то день. По неделям из избы не выходишь. Тут который год снежно было, пензию из сельсовета принесли, двадцать рублей дадено, и попасть ко мне не могли. Так и ушли обратно. Ну, а ты-то как, Клавдий Иванович? В теплых краях, говорят, живешь — поди, и насчет дровец стараться не надо?

— Не надо. Углем топим. Каменным.

— А-а, вишь как ты устроился. На городах, значит. Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил — уж на что при деле при хорошем был. Старший приказчик у купцов Красулиных. Нет, прощай, злато-серебро, прощай, хоромы каменные, — в Мамониху, в леса родные поеду. А нонека все на сторону, все в города думают попасть. Где посытнее да повольготнее. Не видал там, на городах-то, Лидию Павловну?

— Это ты про Лиду Павла Васильевича? — живо переспросил Клавдий Иванович.

— Про Лиду. Про соседку твою. Тоже в ту сторону подалась за счастьем. Не знаю, чего у ей получилось, нет.

— А чего не получилось-то? У людей получается, а у нее нет…

— Да ведь она с кем в город-то уехала? С Котей

Курой.

— С Котей? Это с печником-то, который в районе печи клал?

— С ним. Пьяница забубенный, чуть не в два раза старше ей…

— Да что она, с ума спятила?

— А от ейной жизни, пожалуй, спятишь. Сперва матерь разбило параличом, а потом тетку. Тетку за матерью-то ухаживать привезла из района, а тетка — подумай-ко — полугода не выстояла на ногах, тоже бок отнялся, тоже колодой слегла. И вот девка-то у меня взвыла. Все бегут, уезжают из Мамонихи, а она как привязанная. У ей колхозны телята на руках — целый двор, дома — одна колода лежачая, другая… И вот, смотрю, у меня Лидия Павловна уж в бутылку заглядывать стала да курить почала, худым словом кидаться… Нет, нет, — вздохнула старуха, — я нисколешенько не сужу. Ну-ко, девять лет мучиться — не жить. Это в ее-то годы! Ну-ко, девять лет кажинный день из-под двух старух навоз выгребать. Да она до того, бедная, домаялась, что самой жизни не рада стала. Ко мне напоследок прибежала. «Баинька, — все меня баинькой звала, — баинька, — говорит, — я ведь с Котей Курой в город собралась». Что ж, говорю, матерь да тетку успокоила. Теперь сама

знаешь, как жить. А чего буду отговаривать? Двадцать девять лет девке — чего тут высидишь? Какой королевич к тебе залетит? Вот так и уехала у нас Лидия Павловна. «Мне, — говорит, — пачпорт бы только схлопотать, а там-то я знаю, что делать...» Не знаю, не знаю, как там ей теперь. Подфартило, нет на новых-то местах...

8

Клавдий Иванович вышел от бабы Сохи, когда уж догорал день. Красное, раскаленное солнце село в темный ельник за ихним домом, и казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец.

Клавдия Ивановича пошатывало. Он сам попросил у бабы Сохи какой-нибудь выпивки, потому что такая тоска вдруг навалилась на него, так жалко вдруг стало Лиду, что хоть криком кричи.

Лида Мамонова была у них первая красавица, первая ученица в школе. Евстолия Васильевна, старая учительница по математике, когда ставила им очередные двойки, вздыхала: «Что поделаешь, картошка глупее хлеба. То есть я не ругаю вас, ребята. Понимаю, из-за чего на ровном месте буксуют у вас мозги. Из-за того, что кар-

тошкой да травой питаетесь». И как радовалась, как молодела та же самая Евстолия Васильевна, когда дело доходило до Лиды! «Нет, нет, ребята, — говорила она, — у меня в классе такого умного и хлеба никогда не бывало, как эта картошка. Вот помяните мое слово: картошка эта прославит и себя, и всех нас». И вот прославила… За Котю Куру вышла…

Клавдий Иванович не был виноват в Лидиной беде — ну что он мог поделать, когда уж был женихом Полины?

Ведь именно тогда пришло то страшное письмо от Лиды. И все-таки, все-таки… может, и он виноват?.. Выйдя с задворок, на деревню, он запел:

Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок уберешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом идешь…

Хотелось песней, любимой песней отца встряхнуть себя, взбодрить свой дух перед встречей с женой, которую он оставил одну в чужом доме.

— Полинушка, Виктор! Вы не ругайте меня, ну? Я маленько нос прищемил… Понимаете, ха-ха?

Клавдий Иванович перевалил за порог избы, прошел на другую половину и в сумерках увидел

жену и сына — как голубки в обнимку сидят на кровати.

От умиления его прошибло слезой.

— А я, ребятки, вам огонька принес от бабы Сохи. С огоньком-то повеселее будет, верно? — И он полез в карман за свечкой, которой разжился у старухи.

— Па-па-а…

В голосе Виктора Клавдию Ивановичу послышалась капризная плаксивость, и он тотчас же напустил на себя строгость:

— Сын! Будь настоящим человеком…

— Да помолчи ты, бога ради, со своим настоящим человеком! — вдруг расплакалась Полина. — Разве не чуешь, что с сыном-то делается?

И тут, словно в подтверждение слов матери, Виктор удушливо закашлял, натужно задышал.

Клавдий Иванович вмиг отрезвел. Неужели, неужели опять то же самое, что было три года назад? Три года назад летом они отдыхали в деревне, недалеко от ихнего поселка. Все было хорошо: купались, загорали, валялись на песке, на свеженькой травке, и вдруг раз вечером, дня за два до возвращения домой, с Виктором стало худо — просто на глазах стал задыхаться ребенок. Они с Полиной перепугались насмерть, думали,

им и до поликлиники его не довезти. Но довезли, отходили парня. А вот что это за болезнь была, отчего она — они так толком и не узнали…

— Чего стоишь-то как пень? Ждать будешь, когда ребенок задохнется? Ходишь, ходишь по всяким колдуньям — может, она отравила его?

— Да не говори ты ничего-то, Поля. С чего баба-то Соха будет нас отравлять? Баба Соха огонька ему послала.

Клавдий Иванович зажег свечу, укрепил ее в стеклянной банке из-под компота.

— Ну вот так, так, сын. Со светом-то повеселее, а? Со светом-то, скажи, можно жить…

— Па-ап-а-а…

Клавдий Иванович сунул банку со свечой на стол, выбежал на улицу. Он еще надеялся по первости: какая-нибудь ерунда у Виктора, сама собой пройдет, но крик был такой хриплый, такой умоляющий, что сомнений больше не оставалось: прежнее удушье, то самое, что было тогда в деревне.

На улице меж тем густела темнота. Он кинулся бежать по дороге в Резаново, но вскоре одумался. Семь верст до Резанова — когда же он обернется? Да и что он найдет в Резанове? Одна бригада совхозная — в лучшем случае медсестра есть…

Он решил бежать на станцию. До станции дальше, десять километров, но там наверняка найдется врач.

Солнце уже окончательно закатилось, туман легким парком расползался по полям. Клавдий Иванович, путаясь в повлажневшей траве, пробежал ложбину, выбежал к дому Павла Васильевича и начал одолевать травяную реку, то есть деревенскую улицу.

Трава на улице была в пояс — жирное тут место, но темные массы домов еще можно было различить, а за деревней темнота накрыла его как мешком. И куда податься? Как тут идти на станцию?

9

Сперва он стучал в наружные двери — руками, ногами, поленом, потом начал стучать в окошко, которое с трудом, на ощупь отыскал в темноте, а потом уж стал просто умолять:

— Баба Соха, открой… Баба Соха, открой…

И вот только на слово отозвалась старуха.

— Баба Соха, баба Соха, помоги! С ребенком, с сыном худо…

— Да что с ним, с сыном-то?

— Не знаем. Второй раз уж так. Дышать не мо-

жет… Задыхается… Пойдем скорее… — И Клавдий Иванович нетерпеливо схватил в темноте старуху за руку.

— Нет, нет, — сказала старуха. — Не помощница я. К врачам надоть.

Клавдий Иванович чуть не разрыдался.

— Да где они, врачи-то? На станцию бежать надо. А болезнь-то не ждет.

— Ну и от меня пользы не будет.

— Да почему? Раньше-то помогала. Я сам помню.

— То раньше. Раньше-то у меня сила была.

— Да ты понимаешь, нет, баба Соха? — уже криком закричал Клавдий Иванович. — Ребенок у нас задыхается. Понимаешь это?

И, не слушая больше старуху, он силой поволок ее за собой.

До деревни добрались легко: по дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь — птичьей стаей взыграла взъерошенная ветром листва.

Полина пришла в ужас, когда на пороге увидела горбатую старуху.

— Не дам, не дам ребенка! — закричала дурным голосом. — Я куда посылала-то тебя? За врачом. А ты кого привел?

Но тут уж баба Соха сказала свое слово:

— Загунь! Не пугай ребенка-то.

А когда подошла к Виктору (тот тоже по первости насмерть перепугался), заговорила ласково-ласково. Как летней водой начала окачивать.

— Не бойся, не бойся, золотко. Бабушка тебе здоровья принесла. Где у тебя болит-то? Горлышко… Дыханья нету… Будет, будет дыханье, родимый…

Слабо, как далекий вздох, как утренний ветерок в листве, прошелестели давно знакомые слова: «Стану я, раба божья…» — и Клавдий Иванович подумал, может, и права была старуха, когда наотрез отказывалась идти к ним? Может, и в самом деле из нее ушла сила? Но он в тот же миг подавил в себе эти сомнения, потому что кто еще, как не она, может сейчас помочь Виктору?

И удивительно: голос старухи тотчас же стал наливаться силой, и слова пошли такие, что в дрожь, в озноб стали кидать его:

— Исполохи, переполохи, порчи, уроки, всякие прикосы… Идите в пенье, в коренье, в грязи топучи, в ключи кипучи… Там вам вариться, там вам кипятиться, под осиновый кол уйти, камнем

накрыться, землей завалиться, мохом-травой зарасти…

Клавдий Иванович посмотрел на жену. Может, все это только ему кажется? Может, все это только далекие детские страхи, которые вдруг ожили в нем?

Нет, и Полина была во власти этих слов, во власти трубного голоса старухи. И она, как околдованная, не дыша, широко раскрытыми глазами глядела на нее.

Три раза читала баба Соха, три раза заклинала хворобы и боли, тихонько водя темной рукой по горлу и груди Виктора, и тот, похоже, уже не хрипел, не задыхался, как прежде.

— Пи-ить, — вдруг подал он слабый голос. Клавдий Иванович бросился на другую половину за водой, но Полина еще раньше запаслась питьем. Виктора напоили.

— А тепере, — сказала баба Соха, — ты, отец, выйди задом, сруби осиновый кол с топорище длиной да тот кол забей в землю вместе с хворобами. Да чтобы тот кол никто никогда не вытащил.

Клавдий Иванович понимал, что тут уже начинается какая-то чертовщина, но что не сделаешь ради своего ребенка! Да и баба Соха — как с ней спорить? Все была ветошная, беспомощная ста-

рушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, как туча в бурю…

Он думал, в темноте ему во веки веков не выбраться за дом. Но выбрался. И даже в кустарнике, густо разросшемся за домом, отыскал осинку — по горьковатому запаху коры, по лакированным, вздрагивающим в темноте листьям. В общем, сделал все так, как приказала старуха.

И вот награда, вот счастье: Виктор, когда он, весь перемокший, вошел в дом, был уже в безопасности. Он понял это, еще не видя его. Понял по лицу жены, такому счастливому и доброму, какое он, может быть, видел у нее только один раз в жизни — когда пришел в родильный дом поздравлять ее с долгожданным сыном.

10

Старуха еле-еле, опираясь на батог и на Клавдия Ивановича, добрела до своего подворья, а на крыльцо и подняться не смогла — села.

— Ну, выручила, выручила ты нас, баба Соха. Спасибо! — Клавдий Иванович уже с короб наговорил этих спасиб старухе, а они так и набегали, так и набегали на язык. — А то ведь я давеча — хоть караул кричи. Виктор задыхается, врача нету, и ты уперлась — с места не сдвинешь.

— Не занимаюсь я ноне этими делами.

— И зря. У нас — три года назад вот так же случилось — врачи целую ночь возились с Виктором, а ты вон как: руками поводила, сказала слово — и здоров.

Клавдий Иванович по старинке, на всякий случай сплюнул за левое плечо и, уже совсем расчувствовавшись, сказал с легкой усмешкой:

— Давай, баба Соха, выкладывай свои диагнозы. Ну что за болезнь такая? Как ее вышибать? А то ведь эти ученые только руками разводят. Аллергия не аллергия, обмен веществ… Не поймешь.

Старуха вздохнула в темноте, но ничего не ответила.

— Чего молчишь? Я ведь тебя спрашиваю ради ребенка, а не ради того, чтобы у тебя секреты выуживать.

— А что я скажу тебе, Клавдий Иванович? Много ли я знаю? Молитва, да травка, да наговорное слово — вот и все мое леченье.

Старуха уклонялась от прямого разговора, это ему было ясно, и он начал подбираться издалека, с напуском эдакого туманца:

— А интересно, баба Соха, где это ты все вызнала? Ну это самое… руду-кровь заговаривать, переполохи снимать, присухи… У нас, к примеру,

сейчас курсы разные, техникумы. На шоферов, на тех же самых фельдшеров. Так? А вот ты, к примеру? Где ты всю эту премудрость выучила?

— Меня, парень, нужда заставила. В жизнь-то меня выпихнули горбатой да хромой, отец пьяный еще ребенком на пол с рук уронил, а чем кормиться, чем от людей борониться? Люди не любят уродов да калек. Одни ребятишки по глупости заклюют, каменьем закидают. И вот сжалился надо мной, убогой, один добрый старик, Васей-килой звали.

— Это колдун-то который? — Клавдий Иванович с внезапной робостью посмотрел в темноту перед собой. Он не застал уже в живых Васю-килу, но в детстве для него ничего страшнее не было этого имени.

Баба Соха слегка оживилась:

— Я сама больше всех на свете его боялась. Раз хожу в лесу, ягоды собираю — только мне и жизни было, только мне и отрады, что в лесу, дерево да куст не изгиляются, — и вдруг из-за ели старик. Вася-кила. Весь белый, весь косматый, клюка в руке. Я так и села от страха. А он подошел ко мне да рукой по голове, как малого ребенка: «Что ты, говорит, глупенькая? Чего испугалась? Хочешь, говорит, чтобы тебя люди не обижали, надо, го-

ворит, чтобы не ты людей боялась, а люди тебя. Страх людской, говорит, твой корм и оборона».

— Это как понять?

Старуха словно не расслышала его.

— Поучил меня маленько дед Василий. И слову наговорному поучил, и травкам. Знающий был человек. А теперь — все боле. Нету силы. Из Мамонихи ушла сила и из меня ушла.

— Как, как? Что ты сказала? Из Мамонихи ушла сила и из тебя ушла?

— Так. Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала.

— Вот как! А я думал, это ты про старость говоришь. От старости силы не стало.

— Старость не радость, кто не знает, а не приведи бог видеть, как на твоих глазах родная деревня умирает. Сперва один дом пустеет, потом другой, потом третий… Да сами-то дома — еще бог с ними. А то ведь дом умирает, и хозяин иной раз умирает. Василия-то Егоровича помнишь?

— Это в верхнем-то конце который жил?

— В верхнем. Нету больше. В прошлом году приехал с женой, как ты, об эту пору. «Уж так хорошо, так хорошо живем! Свой дом, свой сад. Дети все ученые, большие деньги зарабатывают! Я, гово-

рит, и жизни в Мамонихе не видал, только сейчас на старости лет и увидел». Ну ладно, две недели пожили, стали в дальнюю дорогу собираться, где-то далеко живут. Вот к воротам-то полевым вышли, за деревню, Василий-то Егорович и говорит жене: «Марья, — говорит, — я ведь, — говорит, — вьюшку в трубе не закрыл». — «Ну и бог с ней, с вьюшкой-то, — говорит Марья. — Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь». — «Нет, — говорит, — надо закрыть вьюшку». Убежал — полчаса нету, час нету. Марья не знает, что и подумать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-то у ей в избе висит.

— Повесился?

— Повесился.

— Да, — сказал Клавдий Иванович, — веселую ты сказку рассказала.

— За веселыми-то сказками нынче едут на сторону, а в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново.

11

Это было самое счастливое утро в его жизни. Проснулся, открыл глаза, а в потолке железное

витое кольцо, в котором когда-то висел березовый очеп с его зыбкой. А когда встал да вышел на крыльцо — и того краше картина: жена. Развалилась, растеляшилась на красном одеяле посреди заулка — рыба белая играет на солнышке. А в небе прямо над Полиной коршун. Чертит и чертит круг за кругом — должно быть, тоже залюбовался.

— Виктор где? — весело крикнул Клавдий Иванович, сбегая с крыльца.

— Тут где-то был. — Полина нехотя оторвала от подушки рыжую голову с черными очками во все лицо, повела туда-сюда: — Виктор, Виктор…

— Я здесь, мам! Малину ем.

Виктор кричал на задах, в кустарнике, и Клавдий Иванович сиганул туда — напрямик, через дикие заросли собачьей дудки, буйно разросшейся на бывшем капустнике, — земля тут жирная, каждый год унавоживали.

— Ну как, сынок? Здоров? Ничего не болит?

Виктор не ответил, а промычал: ему было не до разговоров. Он, как медвежонок, дорвавшийся до лакомой ягоды, с треском, с жадностью нагибал одну ветку за другой.

Клавдий Иванович рад был за сына, рад, что Виктор снова полон жизни, снова выказывает

свой отменный аппетит. Только вот как привыкнуть ко всему этому — к этой малине, к этому ольшанику и осиннику за своим домом? Ведь ничего этого двадцать лет назад и в помине не было. И Клавдий Иванович, переводя взгляд с кустарника на родные хоромы, невесело подумал: пропал, пропал дом. Ежели даже люди пощадят, лес задавит. Лес, который стеной со всех сторон наступает на Мамониху…

— Пап, пап! — Виктор подавал голос уже где-то у Вертушихи.

— Ну что еще?

— Иди, иди скорей! Я домик нашел.

— Какой домик?

Раздвигая руками не просохший еще от росы малинник, Клавдий Иванович вышел к речке и увидел сына возле их старой бани, черной, насквозь продымленной, с малюсеньким окошечком без рамки, с деревянным держаком в дверях вместо скобы.

— Да ты что, Виктор? Какой это домик? Это же баня!

— Баня?..

— Ну, сын! Ты как иностранец в отцовской деревне…

А в общем-то, что же удивляться? Откуда Вик-

тору знать, что такое старая деревенская баня, когда он видит ее впервые?

Клавдий Иванович открыл перекосившиеся, на деревянной пяте дверцы (Ах, знакомая музыка! Коростели запели вокруг!), заглянул в сенцы, заглянул в баню — все еще попахивало прежней горечью — и вдруг загорелся:

— А знаешь что, Виктор! Давай-ко мы с тобой раскочегарим эту старушку, а?

Быстро, как по щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле — рядом речка.

— Сынок, ты тут хозяйничай, посматривай за всем, а я сбегаю в лес за свежим веником.

— А я тоже с тобой, папа.

— Нет, нет, я один. С тобой в другой раз. Обязательно пойдем.

Клавдий Иванович скатился по недавно натоптанной тропинке к Вертушихе, перешел ее вброд — невелика у них и река, в засушье ворона перебредет, не замочив крыла, — и в еру, дремучие заросли ольшаника и осинника, первые леса своего детства, где в те далекие времена видимо-невидимо было всякой нечисти и чертовщины и где он ставил свои первые петли на зайцев.

Раньше у них березняк был далеконько, за

добрую версту ходили за вениками, а сейчас он из еры вышел — и жуть сколько этого ласкового куста — все Поречье, все покосы завалило. И вот Клавдий Иванович завязал с ходу два веника и куда побежал? Домой, восвояси? Вперед.

Рядом Пахомкова гарь — веселые, поросшие пружинистым вереском горушки и веретейки, где когда-то еще ребенком собирал грибы да ягоды, — так неужели не посмотреть, что там сейчас деется, неужели не побывать?

А раз на Пахомковы горы поднялся (и так называли в Мамонихе это урочище), в Мамину зыбку — хочешь не хочешь — свалишься. Эдакая лесная перина из зеленого мха в котловине — да тут держать не удержать! А за Маминой зыбкой вынырнула Антохина раскопка — тоже есть чем вспомнить, хороший хлеб родился! А за Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел — сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти. И вот так скок-поскок — где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми мурашами, где травой, где моховиной Клавдий Иванович и утянулся в глуби мамонихинские.

Все заросло кустом, все задичало, от прежнего, иной раз казалось, только и остались разве что

имена да названия. Зато какие имена, какие названия! Для каждого бугорка, для каждого перелеска и тропки у стариков нашлось свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова гарь, Мамина зыбка, Поречье, Антохины раскопки — вкусно выговорить!

А нынче? Ихний поселок, к примеру, взять. Не последний населенный пункт в стране, в города скоро, говорят, выйдет, а что за народ живет? Три озера в окрестностях, три озера, в которых худобедно рыбу удят, а как зовут эти озера? Карьер № 1, карьер № 2, карьер № 3. По тем временам еще, когда тут песок да щебенку для цемента добывали. И так же с дорогами. Асфальтом залиты, яблонями обсажены, весной как невесты в белом цвету, а имен для них у людей не нашлось. Тоже по номерам зовут.

Пора, однако, было образумиться, повернуть назад — Виктор и так заждался его. Клавдий Иванович свернул направо, к Михееву усу — то же расстояние, да зато новые места. И вот эта-то жадность его и подвела.

Посекло Михеев ус. Где видно тропинку, нащупаешь ногами, а где начисто затянуло мхом, кустарником. А потом еще одна напасть вскоре объявилась — пошли Гехины дороги, широкие

просеки, проложенные трактором посреди леса.

Клавдий Иванович запрыгал, как козел, от одной колеи к другой, начал тыкаться туда-сюда, и кончилось тем, что заблудился…

12

Мамониха была рядом. Он это знал, чувствовал — не мог же за какие-то двадцать-тридцать минут укатить бог знает куда, да и места вокруг вроде знакомы были. А на тропу не попасть — моховина, болото, травники. И ели такие густые да высоченные, будто тут уже сумерки.

Его разбирал смех: надо же, в трех елях запутался, а с другой стороны, и беспокойство мало-помалу стало закрадываться в душу. Что там с Виктором? Догадается ли Полина проведать его?

Наконец какая-то твердь появилась под ногами, а потом и еще один компас — просветы меж деревьев.

Клавдий Иванович рванул на эти просветы — и вот тебе на — Поречье. Мыкался, путался в траве, обливался потом, и все это, как он и думал, рядом с Поречьем, рядом с Мамонихой. В прежние времена непременно сказали бы: нечистая сила закружила, а то еще бы и бабу Соху приплели.

А теперь кого винить?

С деревни в это время докатился какой-то непонятный треск и вой, похожий на шум работающего мотора.

«Кто-то из Резанова, верно, приехал», — подумал Клавдий Иванович и прямо травяной целиной порысил к знакомой сухой березе, которая стояла неподалеку от Вертушихи, напротив ихнего дома.

Однако не успел он и десяти шагов сделать, как страшный грохот сотряс землю.

Перепуганный насмерть («Где Полина? Где Виктор?») Клавдий Иванович с ходу взял речушку, одним духом взлетел на крутой берег и просто ахнул: тополь, его тополь лежит на земле.

— Стой! Стой! — закричал он мужику, орудовавшему бензопилой в палисаднике.

Опоздал: кедр грохнулся на землю.

Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), он подошел к дому и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике: тополь, черемуха, рябина, кедр — все лежат повержены, все распяты, а он стоит. Стоит как заново выросшее дерево — огромный, в резиновых сапогах с длинными голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается.

— Ты что это делаешь? Кто тебе разрешил?

— А чего я делаю? Свет людям дал. Я зашел в избу, как в могиле у вас.

— Это не твое дело! Дома хозяйничай. Виктор, — Клавдий Иванович только сейчас заметил в сторонке приунывшего сына, — а ты-то куда смотрел? Ведь я же тебе рассказывал, что это за деревья. Дядя Никодим, тетя Таня…

Виктор заплакал.

— Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие… Ах, кустиков жалко!.. — Геха захохотал.

— Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то знаешь кто садил? Отец еще. До войны.

— А теперь какая команда у нас насчет этих кустиков? Не знаешь?

— Будет, будет вам, петухи! — К ним подошла Полина. — Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты все были.

— Понял, как умные-то люди на это смотрят? — Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: — Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю

Мамониху распущу.

— Нет, нет, не надо, — сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.

— Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, — Геха кивнул на могучий гусеничный трактор, густо, до половины кабины заляпанный грязью, — моменталом сделаю.

13

Геха выставил две бутылки «Столичной» — остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь — тоже бутылкой хлопнула.

Где, когда она раздобыла это добро — на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.

И еще Полина сразила Геху нарядами. Все по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом-змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.

По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори — гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!

Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.

— Ну, как говорится, будем здоровы, — сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода. — Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, — сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.

Полина (она, конечно, взялась за дело — бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:

— Ну, а насерьез, без трепа?

— Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!

— Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь — сколько возьмешь?

— Сколько? — ухмыльнулся Геха.

— А тысячи две с половиной — самое малое.

— Тю-тю! Сдурела баба…

— Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.

— А мы вот таких не видали, — сказал Геха и хлопнул Клавдия Ивановича по плечу. — Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?

Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его елеем пролились на сердце.

— Ладно, — сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику — фанерному ящику из-под конфет, — пей мою кровь! Еще сотнягу накину. Только ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.

— Девятьсот, — сказала Полина.

Пошли страсти-мордасти, пошел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться — красные пятна пошли по лицу.

Наконец она и вовсе сорвалась:

— А ты чего сидишь, как именинник?

Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:

— Думаю, действительно надо…

— Да чего надо-то? — еще пуще распалилась Полина. Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:

— Бабушка-яга, бабушка-яга!

Клавдий Иванович глянул на деревню — баба Соха. Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над ржищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.

Но что это? Старуха вдруг повернула назад.

Клавдий Иванович закричал:

— Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?

— Не надрывайся, не придет, — сплюнул Геха.

— Да почему?

— А потому, что там, где я с «МАЗом», — ей дороги нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.

— Не говори ерунду-то.

— Ерунду? Да ты что — в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила? Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила… А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-

ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.

— А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевым усом прошелся — весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Дак с чего же тут будет птица жить? Кусты-то и те скорчились. Листы, как тряпки, висят…

— Ай-ай, опять слезы по кустикам. Дались тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась — ну, в каждом стишке плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза — ах, березонька, стой, березонька, свет очей… А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты — кустики…

— Да я не о кустиках, а о Мамонихе: вон ведь ее до чего довели. Посмотри!

— А кто довел-то, кто? — резко, в упор спросил Геха.

— Кто, кто… Думаю, разъяснений не требуется…

— А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!

— Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий… Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера… Ездит вашего брата — каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо… Геха-маз загубил… Да ежели хочешь знать, так только благодаря Гехе-то мазу тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна… Да не привези я дров, зимой, как тараканы, замерзнут…

— Ну, ну, будет, — воззвала к миру Полина. — Худо вам — под рябинкой сидим?

— Нет уж, выкладывать — дак выкладывать все, — с прежним запалом заговорил Геха. — Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор-то сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает — крестит: вернусь аль нет. Только Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса — теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?

— Понятно, понятно! — сердито сказала Полина. И у нее кончилось терпенье. — В одной деревне выросли, а, кроме лая, ничего от вас не услышишь.

— А и верно, мы не в ту сторону потащили, — моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: — Ну дак что — ударили? А то

ведь я могу и передумать.

— Чего передумать? — переспросил Клавдий Иванович.

— Да насчет твоих дров.

— Папа, папа, не продавай!

Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:

— И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда?

В наступившей тишине вдали, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.

— Дак что же — отбой? — спросил Геха, обращаясь к Полине.

Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.

И тогда Геха сказал:

— Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.

14

Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.

Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о своей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.

И вот какой характер у человека — даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.

Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.

Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе. Задами. Заново натоптанной тропкой.

С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку — все поймет, не осудит. И он разматывался. Обо всем без утайки говорил:

о своем житье-бытье с Полиной, о Лиде, о Гехе.

Но вот что было удивительно. Как только он заводил речь об отцовском доме — а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, так баба Соха отводила в сторону глаза.

Клавдий Иванович горячился:

— Я что-то не пойму тебя, баба Соха. Неужто ты хочешь, чтобы я своими руками раскатал отцовский дом? Да я, может, еще в Мамонихе-то жить буду! Сама же рассказывала, как брат у тебя на старости лет домой вернулся.

— Дак ведь то когда было-то.

— Не важно. Сейчас команда на подъем всей русской жизни. Чтобы все земли, какие заброшены да заросли кустарником, снова пахать да засевать. Это тут у вас умники объявили: Мамониха кончилась, Мамониха неперспективна. А сейчас — стоп! Сдай назад. А то ведь эдак всю Россию можно неперспективной сделать. Правильно говорю?

— Не знаю, не знаю, Клавдий Иванович, — вздыхала старуха. — А только не советую тебе срываться с насиженного места.

— Почему?

— А тяжело нынче жить в деревне.

— Тяжело… А дедам нашим легче было? Одной лопатой, да топором, да сохой раскапывали здешние поля. А нынче сколько техники всякой, машин!

— Много, много нынче машин, — соглашалась старуха, — да люди нынче другие. Балованные. Легкой жизни хотят.

— Ничего, — стоял на своем Клавдий Иванович, — и нынче всякие люди. Мы с тобой, к примеру, всего хлебнули: и войны, и голода, и холода. Забыла, как после войны тошнотики ели — колобушки из картошки, которую собирали на полях весной? А в чем ходили — помнишь?

Однажды Клавдий Иванович, который уже раз в душе оплакивая судьбу Лиды, признался старухе:

— А я все не могу понять, баба Соха, как это она с Курой-то связалась. Как подумаю, так и голова кругом.

— А что ей было делать-то? Ты из армии не вернулся.

— Я? Да я-то при чем?

— Ждала она тебя.

— Лида? Лида меня ждала? — Клавдий Иванович перестал дышать.

— Парато ждала. Все говорила, бывало: «Вот

Клавдя вернется, и мы заживем». Она так и Гехе сказала, когда тот замуж ее звал.

— Геха звал… Лиду?

— Звал. Приступом приступал. Думает: я Лиду от его отвела, потому и жизни мне от его нету, а я уж словечушка поперек не сказала. Сама. Сама. Ни в какую: «У меня, говорит, Клавдя есть. Я, говорит, Клавдю жду».

Клавдий Иванович, как во сне, вышел от старухи.

Лида, Лида его ждала… Ихняя принцесса, первая ученица школы, девочка, с которой они еще детьми бегали зимой от дома к дому: наперегонки — кто быстрее да проворнее. И он представил себе, чего стоило гордой и своенравной Лиде написать ему отчаянное, унизительное письмо, в котором она предлагала ему себя…

В тот день он долго, предаваясь воспоминаниям, бродил по невыкошенным пожням Поречья, по заросшим полям, по ягодным ручьям и горушкам — по всем местам, где бывал с Лидой. Затем вспомнил, как они подростками вместе с мамониховскими ребятами и девчонками бегали на вечеринки в окрестные деревушки — ни голодуха, ни работа, ничто не могло убить в них молодость, нараставшую жизнь, — и уже под

вечер отправился в окрестные починки, хутора, деревни.

Густо стояли селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня землица, и был, не был достаток в дому, а названия селеньям давали сытные, хлебные. Ржаново, Овсянники, Ржище, Калачи… Калачи и раньше не бог весть какой населенный пункт был — на пальцах двух рук пересчитаешь дома, и Клавдий Иванович не очень удивился, когда на месте деревни нашел только один заколоченный дом. Давно заколоченный, может быть, еще в пятидесятые годы, потому что не только крыша сгнила — доски, которыми были забиты окна, выгорели, истлели да выкрошились. Но Ржаново его поразило. Большая по ихним местам деревня, в двадцать пять — тридцать домов, и богатая без дураков. После войны в самое голодное время тут можно было на тряпку хлеб выменять. И меняли. Мать Клавдия Ивановича всю оставшуюся от отца одежонку сносила в Ржаново.

Но сейчас не было жизни и в Ржанове. Да и самого Ржанова, считай, не было. Два домишка в верхнем конце, дом посредине, три в нижнем — да разве это Ржаново? Да и дома-то уцелевшие были не из лучших, так что сразу было ясно: хо-

рошие перевезли. Либо на центральную усадьбу совхоза, либо на станцию, в райцентр. И тут, надо полагать, дело не обошлось без Гехи.

Но нет, в Ржанове жизнь все же была. Сперва Клавдий Иванович услышал звук топора — самой желанной музыкой рассыпался в нежилой тишине — вот как пустой-то деревней шагать, а затем увидел и человека. На обочине, у самого выезда из деревни, там, где бежал знакомый проселок, над которым теперь густым розовым облаком клубилась пыль — должно быть, только что проехала машина.

Человек брусил топором толстое бревно, наверняка сухостойное, накрепко просмолевшее, потому что топор не ухал, а звенел, да и щепа, отлетевшая в сторону, была мелкая.

— Чего-то не пойму, ради чего пот проливаем? — сказал Клавдий Иванович вместо приветствия.

Человек разогнулся. Немолодой уже, пожалуй, даже пенсионного возраста, но еще в силе — дышал ровно, и такие добрые, такие хорошие глаза были у него.

— А я, думаешь, понимаю? — легонько воткнул топор в бревно, посмотрел на деревню, вернее, на то, что осталось от деревни. — Думка-то у меня —

память оставить о Ржанове.

— Так это вы что же — памятник в честь Ржанова хотите сделать?

— Памятник не памятник, а что-то вроде поминальника. На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил…

Роман Васильевич — так звали мужика — постучал слегка носком окованного башмака по бревну и спросил:

— Как думаете, пару десятков лет постоит?

Бревно было лиственничное, из прочнейшей древесины, и Клавдий Иванович, тоже для порядка постукав его ботинком, живо воскликнул:

— Как не постоит! Лиственница. Все пятьдесят выстоит.

— Пятьдесят не надо. Это я на то время, пока эта канитель с укрупнением да разукрупнением сел идет. А то ведь будущие люди, которые сюда придут, не будут знать, кто тут жил. История исчезнет.

— А вы думаете — Ржаново возродится? — волнуясь, спросил Клавдий Иванович.

— Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали,

население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут, что же, кустарник выращивать будут?

Роман Васильевич оказался рассудительным, знающим человеком (шутка сказать: тридцать два года инженером на больших или великих стройках, как их раньше называли, проработал), и Клавдий Иванович, всю жизнь тянувшийся к образованным людям, всласть наговорился — простой был человек, не задирал нос.

Домой он пришел уже в потемках. Виктор уже посапывал в своем углу, а Полина — бог ее знает — может, тоже спала или дулась на него. Во всяком случае, никак не прореагировала на его возвращение.

Ему хотелось есть, весь день ничего, кроме ягод, во рту не было, но он не решился разбираться с едой. Быстренько разделся, быстренько растер тело руками (чтобы не застудить жену) и лег к ней с краешка. На него сразу же дохнуло как из духовки — ужасно раскалялась в постели Полина, и у него по привычке возникло желание с ходу, бесшабашно броситься в этот жар. Но он сдержался — жена не любила мальчишества. А вскоре он и вовсе забыл про нее и начал перекатывать в мыслях сегодняшний день.

Семь дней прошло со времени его приезда в

Мамониху, а что он сделал? Побродил по деревне, прошелся по окрестностям… Нет, нет, не то. Тот же Роман Васильевич что надумал? Ржаново увековечить. Эх, надо и ему об этом самом поминальнике подумать. Мамониха — разве не деревня? Разве у нее нет своей истории, своего прошлого?

Как, как он сказал? — пытался припомнить Клавдий Иванович мудреные слова Романа Васильевича. «Как бы за нашими перестройками русская история не исчезла… И русский ландшафт… Да, да, — говорил Роман Васильевич, — будет, будет новое поле. Будут рожать и Мамониха, и Ржаново, и Калачи… Но я хочу, чтобы у этого нового поля было русское лицо…»

Под конец, когда уж у Клавдия Ивановича начали путаться мысли в отуманенной сном голове, он опять вспомнил о Лиде. И это было впервые, впервые за все семнадцать лет их совместной жизни он подумал о другой женщине.

15

Виктор первый проснулся от дождя.

— Мама, мама, что это на меня капает?

Клавдий Иванович торопливо зажег лампу: с потолка струей лилась вода. Он выбежал на

крыльцо: жуткий ливень. Шагу нельзя ступить в сторону.

С этой минуты они уже больше не спали, а утром, едва начало светать, он полез на крышу.

Лазал, латал дыры под проливным дождем — тут, там, а что толку? Вернулся в избу — потоп.

— Ну, видишь теперь, почему дом продавать надо?

Три дня лютовал, не переставая, дождь, три дня нельзя было высунуть носа из дому. Виктор заскулил, да и Полина все чаще начала раздувать ноздри.

Но это были еще цветки. А ягодки-то начались, когда у них вышел хлеб. Надо было идти на станцию или в Резаново, но куда же в туфельках по нынешним хлябям? А они по легкомыслию (и тут уж виноват был исключительно сам Клавдий Иванович) не захватили с собой даже резиновых сапог.

Их выручила баба Соха. Сама под проливным дождем приковыляла с целым коробом всякого печева, теплого, только что вынутого из печи и завернутого в мешковину.

Но долго ли будет нынешний человек жить на одном хлебе? И тем более такой избалованный человек, как Виктор? День прожил нормально, а

назавтра новый скулеж: «Мяса хочу. Масла…»

Тетка заранее писала Клавдию Ивановичу, что, ежели привык, хочешь уедно исть, все вези с собой, а нет, посылай наперед себя посылки — так ноне в деревню-то ездят. Но он как-то не придал значения теткиным словам, можно сказать, мимо ушей пропустил, и вот попробуй теперь — растолкуй ребенку, почему у них в поселке можно разжиться мясом и маслом, а тут нет.

Клавдий Иванович стал подумывать об эвакуации. А что было делать? Дожди не проходили, в избе было сыро, и это несмотря на то, что он с утра до ночи калил обе печки, а потом и вовсе дело дрянь — Виктор закашлял, да и Полина начала носом ширкать.

Тут Клавдий Иванович сразу решился — идти в Резаново на поклон к Гехе. Другого выхода не было.

Геха явился сам.

Утром, сразу же после чая, Клавдий Иванович начал было снимать штаны — после таких дождей полдороги придется грязью выше колена брести, и вдруг под окном железный гром и грохот.

Виктор и Полина пулей вылетели на улицу — про дождь, про непогодь, про все забыли.

А вскоре в избу ввалился и Геха.

— Ну что, господа туристы? Как оно на второй-то целине? — спросил он и захохотал.

Гехе легко было хохотать. Сапоги резиновые, дождевик непромокаемый, парусиновый, чуть ли не до пят, толстый ватник — это снаружи, а изнутри спиртной подогрев.

Но Полина и Виктор издевку в расчет не принимали. Они смотрели на него как на бога-избавителя и готовы были обнимать и целовать.

— Дяденька, дяденька, вы это за нами, да? — не один раз спросил Виктор, все еще не веря в подкатившее счастье.

— За вами, за вами, — добродушно похохатывал Геха. — Это ведь только он думает: Геха — зверь, — добавил он, кивая на Клавдия Ивановича.

Отъезд походил на бегство.

Быстро скидали в кузов вещички, Полина с Виктором сели к Гехе в кабину, а Клавдий Иванович полез в открытый кузов.

— Дождевик дать или закаляться будешь?

— Закаляться! — со злостью бросил Клавдий Иванович. Все-таки не мог совладать с собой, хоть и крепился изо всех сил.

— Давай, давай! — опять с каким-то добродушием, похожим на издевку, сказал Геха и пошел

к кабине.

Клавдий Иванович вспомнил про бабу Соху.

Он сбросил с себя холодный, задеревеневший дождевик (Геха в последний момент бросил), забарабанил в мокрое, выпуклое железо кабины:

— Подождите с полчасика, я с бабой Сохой попрощаюсь!

— А это уж ты у хозяйки спрашивай, — сказал, высовываясь из окна кабины, Геха. — А я что — извозчик.

— Не выдумывай! Я вся замерзла, зуб на зуб не попадает. А о сыне-то ты подумал?

Клавдий Иванович не стал настаивать. В конце концов баба Соха все поймет, не осудит его.

«МАЗ», загремев мотором, качнулся вправо, качнулся влево и пополз на дорогу. Из мутной завесы дождя последний раз вынырнул большой отцовский дом и тотчас растаял, а потом справа, над рощей мокрого осинника, по которому уныло барабанил дождь и который, показалось Клавдию Ивановичу, еще более буйно разросся за эти дни на здешних полях, темной, бесформенной кучей всплыла Мамониха.

Мокрым глазам его стало горячо.

Не много, не много радостей отвалила ему Мамониха, чаще злой мачехой оборачивалась, но это была его родина. И он знал: что бы с ним ни случилось дальше, где бы он ни оказался, куда бы ни забросила его жизнь, а самое дорогое, самое святое для него место на Земле, во всей Вселенной тут, в Мамонихе, в этом задичавшем лесном краю.

1972–1980, 1981

Рассказы

В Питер за сарафаном

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями — от амбаров, от изгороди, от поленницы, — светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кощеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета.

Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом (старик держал козу), и занимались мы самым обыденным делом — разговором.

Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца — в избе было душно и жарко, — выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чу-

ди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах по Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере — он сам был участником ее, — память ему частенько изменяла.

Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами.

— Да ведь ты опять, дедо, не в те сани сел, — с легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне: — Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге.

По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя человек... — И тут же воскликнула: — Вот она, легка на помине!

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу, и вскоре услышал шорох веника на

крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-те».

До чего же это была маленькая да ветхозаветная старушоночка!

И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворенками. Впрочем, одета она была по-современному: стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые, а от прошлого разве что полинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Како в гости? Середь бела дня в гости! Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

— Ох ты господи! — всплеснула руками Марья Петровна. — Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куде-

лю пряду ноне. Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет престь». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдешь?

— Бабушка, — подал и я свой голос, — а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму. — Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону. — Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка. — Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

— Чую, что дальний. У нас говорят-то кабыть потише, — с легким подковыром сказала старуха.

— Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город?

— Она не только слыхала. Она бывала там, — не без удовольствия ответила Марья Петровна.

— Почто бывала-то? — с притворной сердитостью возразила Филиппьевна. — Я в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка, — рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах

ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком?

— Пешком.

— Отсюда, из Ваймуши? — Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра.

— Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды… Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами…

Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном…

— Правда, правда, — горячо заверила меня Марья Петровна. — Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

— Как забыть-то… Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят, — посочувствовала Марья Петровна.

— Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а матенька у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову:

— Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

— Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный, — издалека начала она, — а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у их посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу… Ну, скоро праздник престольный подошел — Богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то

суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недорослком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости господи, тюря тюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила…

— Эка ты, — подосадовала Марья Петровна, — да как ходила-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

— Мама, как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошаталась?» А тата-покойничек, из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы схватил:

«Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было… Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рупь медью.

— На-ко, девка, иди с рублем в Питер, — всхлипнула Марья Петровна.

— Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам… Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась. — Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил… Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитятко, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Дак уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был…

— Давай дак, не все приветили, — поправила Филиппьевну Марья Петровна. — Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала?

— Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?

— Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна. — Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. — Были, были журавли, — вздохнула она. — Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки-журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку?»

— Пишите, пишите, — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо, — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал…

— Чего писать… — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? — И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки, некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами поводишься».

Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

После этого старуха не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет… А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный пришпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Даже догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невскому пришпекту, там цярьский дворец будет». — Филиппьевна подняла голову. — Видела. И цярьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на

мгновение зажглись любопытством. — Вишь ты, все еще стоит, — покачала она головой. — Да и как не стоит. Каменной — чего ему деется.

Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи, — опять начала подсказывать Марья Петровна.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают.

— В няньках бабушка жила, — пояснила Марья Петровна. — Год у немца выжила.

Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. — Сарафан-то как?

— Купила, — с досадой ответила старуха. — Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки,

купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

— Это на солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна. — Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная бабушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую,

одинокую в этот час на деревенской улице старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоет время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

1961

Сосновые дети

1

Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно.

В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинегу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара. И уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в Шушу! Не мог подождать, пока я отосплюсь. Ну так получай!»

Я качался, как на качелях, подскакивал, бился о дверцу. Но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к Шуше — веселой порожистой речке в красных крутых берегах с зелеными лиственницами, и шофер, то ли сжалившись надо мной, то ли сам устав от тряски, сказал:

— До-ро-жка…

Я охотно поддержал его: где-где, а уж у себя под

боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше. Не тут-то было! Шофер неожиданно повернул на сто восемьдесят градусов:

— А за каким она лядом! В Шуше лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги… матом выстланы. Понял?

Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лесинки, ни кустика. Только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых, заплывших смолой срезах, и казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза.

Все это было так дико, так чудовищно — вырубить лес возле самой реки! — что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия.

Шофер даже бровью не повел.

— Да кто это догадался? — не выдержал я.

— Кто? — Шофер усмехнулся, сверкнув металлическим зубом. — Кто… А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла — одна слякоть, а потом как зарядили метели… Ну-ко, попробуй лес возить за двадцать километров! А люди? Им исть-пить надо? А кубиков нема — и грошей нема. Так у нас… Ясное дело, без штрафа не обошлось. Дробы-

шеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну, а потом, как лесопункт план перевыполнил, другое запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай — раз план перевыполнил…

Под колесами запрыгали, прогибаясь, мостовины-кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок. На пригорке стоял столб с вывеской: «Шушольское лесничество», а еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком: «Миру — мир!»

— Гошка Чарнасов забавляется, — скривил запекшиеся губы шофер. — В газетах хоть нас, грешных, агитируют, а тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лежка, и летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу да у речки покемарить…

Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил:

— Сука человек!

— Это почему же? — спросил я не сразу.

— Почему? А наверно, потому, что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит.

— Но ведь лося бить нельзя. Есть закон.

Под красными, обожженными скулами у шофера заходили желваки.

— Закон, говоришь… А в магазинах ни хрена — это тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивайся своим брюхом. Попробуй поишачь каждый день без смазки. Закон… А сколько этого лося волк давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?

Я промолчал. И тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил:

— Да вы сами-то кто? Начальство Гошкино? А может, родня?

Я не знал, что и сказать. Признаться, что мы с Игорем старые друзья и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? Двадцать пять лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века… Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеем ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени?

Игорю шел шестнадцатый год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу, потом будто видели его в Архангельске, потом прошел слух, что он уже на Кавказе, — в общем, загулял мальчик…

О самом Игоре у нас не горевали — с малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога! — а вот отца его жалели.

Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого, как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, которая чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят, визжат сапоги на морозе (Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах), что-то вроде ветра, бури надвигается на тебя, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану. Но Антон Исаакович не замечает тебя. Глаза его, какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль…

Самой большой страстью Антона Исааковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне — ни сельсовет, ни школа, ни нардом — не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исаакович еще задолго до Первого мая и Октябрьской годовщины начинал закупать керосин (тогда давали его по спискам), красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишались сна и покоя:

«Спалит! Всю деревню спалит. Только один пожар и на уме».

И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты — бывшем поповском доме — вспыхивали огненные транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загипнотизированные страстными, хватающими за сердце призывами: «Да здравствует мировой пожар Октября!», «Смерть буржуазной гидре!» — часами простаивали около почты…

…Машина вдруг резко остановилась. Я и не заметил, как мы выехали из леса.

— Вот что, друг, — сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами, — тут до Чарнасова рукой подать. Видишь вон домину под красной щельей, с садом, как у помещика? К нему и правь. А мне еще дровишек пособирать надо.

Громоздкий, мохнатый от пыли «МАЗ» развернулся и с грохотом стал удаляться.

Я остался один.

2

Шуша — старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. Пять-шесть бараков, осевших, скособочившихся, с черными

провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой — красная щелья с дрожащими в мареве березками, а по эту сторону — вырубки. На километр, на два тянутся заросли иван-чая и шиповника. И ни единого стоящего дерева!

Тем отрадней в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых тополько́в, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от бараков, такой же приземистый, неуклюжий, грубой, на скорую руку, кладки, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью: стены тут и там подновлены свежими лесинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку, под навесом, еще пахло смолой.

Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и… Что за чудеса? Куда я попал? Огромное помещение — не то сарай, не то зал — и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка, кусты в простенках между окнами и даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле.

Однако, осмотревшись, я стал замечать при-

знаки человеческого жилья. Направо от двери, у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашеными табуретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску — там, очевидно, спали…

С улицы, запыхавшись, вбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря.

— Вот как гостя встречаем! Пришел, и дома никого. Ну, сами виноваты — не надо было обманывать. Мы ждем, ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала — с утра Игоря в лес прогнала. Сколько же, говорю, ждать? Кругом пожары…

Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые, а затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце.

— Это зверюшник-то мы от жары устроили. Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие. Как ворота. Тут раньше пекарня была.

Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло

на пол — я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопоухий заяц с подергивающимися губами.

Наташа с притворной сердитостью затопала ногой:

— Васька-дурак! Опять на постели валялся. — Заяц юркнул в кусты.

Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами.

— Это заяц-то у нас с прошлого лета, — сказала она, внимательно приглядываясь ко мне. — Игорь в лесу нашел. Маленький, хромыкает, говорит, по полянке, — лиса или кто другой хватил. Да он, дурак, прижился — не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег…

Наташа предложила мне на выбор — чай пить или в бане сначала помыться с дороги — «баня у нас светлая, чистая», но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более что, по ее словам, он вот-вот должен быть.

Мы сели к столу. Наташа, заслонив рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила:

— Как же это вы подъехали, я даже не слыхала? Стираю у реки белье и вдруг вижу, какой-то

дяденька стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек.

Я рассказал, как добирался до Шуши.

— Вот оно что, — сказала Наташа и нахмурила брови. — Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа, небось, побоялся сюда подъехать. Я бы ему сказала… Первый браконьерщик он тут в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил, вон рога-то — от того лося, — она указала рукой на стену. — Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт: «Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит…»

Наташа поглядела в окно.

— Не знаю, где он запропал. Ушел с утра, и без хлеба… Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела.

Жара все еще не спала. Тугой знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани.

Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика он был обнесен частой

плетеной изгородью, калитка сбита из мелкой, гладко выструганной доски — словом, садик был в почете у хозяев. Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина… А что это? Яблоньки… Вишенки. У нас, на Пинеге, чуть ли не под самым Полярным кругом!

Наташу, казалось, не тронули мои восторги.

— Подумаешь, — сказала она с некоторым вызовом. — Кусты-то каждый посадить может. А вот я что вам покажу…

Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика.

— Узнаете?

Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких играющих на солнце тополька, а потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к плетню. Кедрачи! Иссиня-черные, длинноиглые, по-медвежьи угрюмые и неприветливые.

Наташа потрепала ближайшего крепыша.

— Ох и капризное дерево! Ну повозились же мы с ним. Туго растет — даром что, как сосна, ершистое.

Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво — даже краска выступила на ее бледных щеках — улыбнулась:

— Он меня этими-то кедрачами и взял.

— Кто? — не понял я.

— Кто? Игорь. Разве бы я за такого гопника пошла? Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел — старый да страшный. А я что — против него совсем девчонка была. Мне еще восемнадцати не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись... — Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача. — Ей-богу. Еду как-то осенью на пароходе. Народу много. И он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него. У меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю: чего он все в корзину заглядывает? Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет — лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты, господи! Сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Канашева, учительница, со мной ехала. «Нет, говорит, Наташа, это не сосны, это кедры». Да эти кедры мне по ночам стали сниться. Ей-богу!

Всю зиму снились. Ну а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу. Кедры смотреть. За тридцать километров! Вот какая глупая была. — Наташа, закусив губу, покачала головой. — Было у нас делов-то! Мама узнала, что я с гопником старым связалась, — в слезы. Брат приезжал за мной. А на лесопункте-то сколько разговоров было!.. Ладно, — сказала она, резко обрывая себя, — клюйте ягоды. А мне надо белье развесить да козу прибрать.

3

Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переоделась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался. А Игоря все не было.

— Не знаю, разве из ружья выстрелить, — уже не первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня.

Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваливала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь.

Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посве-

жело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В лощине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера — комар…

Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. Завидев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе.

— Черт сумасшедший! — вздохнула Наташа и встала. — Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди.

За баней, окутанной розовым облаком мошкары, дрогнули, затрещали кусты: Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он грабастает, обнимает меня — весь горячечно-красный, насквозь пропахший смолой…

Нет, я представлял его иначе. Крупнее, шире в кости и, пожалуй, помоложе — без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких волосах… Вот разве только глаза не изме-

нились: пронзительно светлые, по-чарнасовски шальные и диковатые…

— Где тебя лешаки носят? Мы ждем-ждем — все глаза проглядели…

Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену, с ведром воды спускавшуюся с крыльца.

— Вот как у меня домашняя НКВД! Сразу в работу… — Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове. — Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить. — Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко мне: — Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей Пинегой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели — как сирота, голая стоит…

— Ладно, давай, Алексея-то можно не агитировать! Грамотный. Снимай рубаху.

Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью: на груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе — якоря, грудастые русалки.

Явно сконфузившись передо мной, он тем не

менее лихо ткнул себя в грудь:

— Этапы большого пути…

Наташа со всего маху окатила его водой.

Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обессиленное — немало потрудилось за день, и лучи его, кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике. Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал:

— На работу собираются. Нынче жара такая — вся жизнь у птицы по ночам. По лесу идешь — птички не услышишь.

Помолчал и добавил:

— Вот так и живем, Алексей: под журавлей ложимся, с журавлями встаем.

— Что уж наше житье, — сказала Наташа. — Век в лесу. Кина не видим.

— Ничего, — возразил Игорь, — у нас свое кино. Вот зимой встанешь, снега навалило по самые окна. А там, у речки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет… Зорьку нам в подарок принесли… Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон стог у речки? В долгу мы у этого зверя. Сколько его, бедного, перебили…

Наташа покачала головой:

— Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз да вдруг скажет: «Хоть бы леший в гости зашел…»

Игорь смущенно крякнул.

— Ты раньше рисовал, — сказал я. — Забросил?

— Забросил? — Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули. — Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди — революцию зеленую сделаю. По всей Пинеге пущу…

— Ну, понес Антон Исаакович, — снисходительно улыбнулась Наташа.

Да, да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца!

— А что, Алексей, — воскликнул он, снова загораясь, — посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягодники? Какая-то ненависть у нашего мужика к лесу. Живет, черт худой, на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду заиметь… Как нечистой силы куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот Шуйга, например, повыше Суры.

На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу доказать, что у нас на Пинеге все ягоды растут. И даже яблони и вишни. Вот только в стороне я. Поближе бы к людям выбраться. Чтобы питомник мой в глазах у них стоял…

Наташа хмыкнула:

— Выберешься! Со всем начальством переругался…

Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену, покрутил головой.

— Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того… Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились, уж за ручей было перешли. Да я на дыбы. Ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу! Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. «Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса…» А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части. Из-за семги…

— Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встревать, — сказала Наташа и строго посмотрела на мужа.

Игорь замолчал, и меня немало удивила эта несвойственная Чарнасовым покорность.

— Да как же! — возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне. — Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли. Лыска отравили — теперь без собаки живем. Нет, ему все неймется.

— Ничего, — сказал Игорь. — Собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя.

В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц.

Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров.

Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном: меня решили устроить на ночлег в бане — там и комар не пищит, и зайчишко, как выразился Игорь, не будет беспокоить.

Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них — тракторная гусеница метра четыре в длину с наваренными шипами, другая — массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении.

— Не догадываешься? — Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню. — Это моя

техника. Лес которой сажаем. Это вот, — он указал на тракторную гусеницу, — бороной-змейкой называется — легкий моховой покров сдираем, а то опять еж. Для зеленомошника. Не густо?

Я вспомнил, с какой техникой выходят на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? Ими, словно косами, выкашивают леса!

— Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой, — сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома.

Игорь, однако, не согласился со мной.

— Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу: тут недалеко, за Шушей, сосняк мотыгой сделан.

Он опасливо посмотрел на крыльцо: там светлело платье Наташи.

— А то хочешь сейчас? — зашептал горячо Игорь. — Какого лешего! Разве ты спать сюда приехал?

Откровенно говоря, за день я намотался немало. С раннего утра толкотня на аэродроме в ожида-

нии самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном «кукурузнике», который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал:

— А Наташа не заругается?

— Наташа? — Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой. — Женка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу… — Игорь перешел на шепот: — Я даже боюсь, Алексей… Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье? Она ведь молодая еще. На четырнадцать лет меня моложе. Ну-ко в такой глуши? Я сам иной раз на лесопункт посылаю — там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташа, погости у матери. Кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась.

Тишина. Бормочет, плещется вода в Шуше. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной…

На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату. Игорь, казалось, только и ожидавший этого звука, мо-

ментально преобразился:

— Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей.

4

Ну не глупо ли, черт побери, ночью — пускай она белая, пускай светлая, как день, — переходить вброд по колено речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору — и все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!

На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне: отмахивайся от комара.

Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны — косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.

Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень, качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу.

Леса еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес.

Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.

Игорь сказал:

— Ну, не жалеешь, что пошел?

А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок — они росли купами, — ткнулся в них лицом:

— Вот мои ребятишки!

— И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? — спросил я, снова и снова оглядывая равнину.

— Да, Алексей. Мотыгой — нашим пинежским копачом и вот этими руками! — Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки. — Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю — шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз

ты к лесу приставлен — оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил. Мальчишек на лесопункте кликнул — целый шишкофронт открыл. Им это в забаву — по соснам лазать, а мне польза…

Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.

— Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть — как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец вашим детям…

Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял, до пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.

— Ничего, — заговорил он сдавленным шепотом. — Ничего! — И вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки. — Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит — одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых наро-

дим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? — И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа — решенное дело! — громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся.

Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк, а Игоревы дети?

— А ты видал, Алексей, как сосна всходит? — неожиданно спросил Игорь.

Я улыбнулся: наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу.

— Ни черта ты не видал! Все мы так. Бродим, бродим по лесу, топчем все с краю, ну, еще черемуху, когда в цвету, обломаем, а вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть? — В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность. — Интересно! Сосны двух недель от роду. А?

5

И вот опять мы, два полуночника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен

веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки.

Игорь довольно замечает:

— Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие дерева будут!

Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня…

Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу.

Послышался свист, тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас.

— А ведь это рябишко, Алексей, — сказал Игорь и остановился. — Забавно. С чего бы ему об эту пору?

Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит:

— У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то нервная пошла нынче птица… Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, думает, вот прилечу на родину — отдохну. А прилетел — негде сесть. На гнездовьях-то уж люди.

Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые, по пояс, папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое, из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас — это всегда бывает вдруг — вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок. Игорь улыбнулся.

— Сейчас мы вступим с ним в переговоры. — И, раздвинув губы, сухие, в трещинах, свистнул.

Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно. Игорь опять улыбнулся:

— А знаешь, что он мне ответил? «Не пойду, говорит, хочешь — иди сам».

— Ну уж так-таки и «не пойду»?

— Вот те бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей: «лечу», «иду на ногах», «лети сам». Не веришь? Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время токов? Охотники хорошие знают их наречье, так и манок настраивают. Ежели «лечу» — не двигайся, сам прилетит. И по сигналу «иду пешком» тоже дождаться можно.

Не скоро — велик ли у ряба шаг — приковыляет. А вот ежели «лети сам», тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая.

За ручьем опять вырубка — трухлявые пни в кустиках сморщенной, подгоревшей на солнце земляники, редкие елки иван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями, потом опять ручей — горький ольшаник вперемежку с березой, и вот мы поднимаемся на холм.

Под ногами тундра — чистейший, белее снега курчавый ягель, а там вверху — я задираю голову — макушки сосен…

Я смотрю на этих неохватных, в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековечными ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться — чего не делает белая ночь, — что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам?

Вздох Игоря — он рядом — возвращает меня к яви.

— Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была! А теперь один островок остался. И то

потому, что лошадями лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче — сокрушили. Трактор хоть черта своротит…

Игорь опять вздыхает:

— Раньше, бывало, в лес-то зайдешь — оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих леших в сырые сузёмы загнали — чахнут, бедные, нос высунуть боятся… Ладно, пошли. Тут близко. Версты не будет.

Но Игорева верста, видно, меряна еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина, — они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю, огибаем маленькое, с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром, — «черти баню топят», — шутливо замечает Игорь, пересекаем просеки — лесные коридоры, топчем похрустывающий олений беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника. И Игорь рассказывает-рассказывает, рассказывает обо всем, что попадается на глаза, — то приглушенным шепотом (и тогда он, в белой распущенной рубахе, с темным, прокопченным лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает

старого лесного ведуна), то голос его переливается, как ручей.

Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности — «десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха», о хвойной, скользящей под ногами подстилке — «мудро устроен, Алексей, лес: сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит», жалуется на нахальную березу — и это странно мне слышать, но у него свой счет к березе — «сорняк дерево, она да осина на вырубках первые гостьи», плетет какой-то доморощенный сказ о древней птице глухаре, которого мы подняли в травниках…

Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его «лагерные университеты», и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека.

Он был силен, по-прежнему силен и неутомим, как все Чарнасовы, и так же размашисто мечтателен и одержим, как его отец, — «зеленую революцию пущу», но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его, беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать?

По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря. Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползает в глухие чащобы?

6

— Вот, пришли — говорит Игорь.

Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряг и сучьев. На их обугленной, потрескавшейся коре — алые отсветы зари, и кажется, пожар еще дышит, живет.

Опять загадка?

Игорь, довольный, смеется. Сухое, загоревшее лицо его с белыми бровями пылает, как сосна.

— Да ты не туда смотришь. В борозды смотри.

В самом деле, гарь прорезана песчаными бугристыми бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гари.

Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий… И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко

крадущийся по песчаному дну борозды.

Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.

Неужели так вот и начинается сосновый бор?

Игорь советует мне вырвать отросток: все равно им всем не жить, придется прореживать.

Ого! Травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг выказывает цепкость и упорство сосны.

Странно это — держать на ладони дерево с корнем…

Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхаю его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, подымающегося на утренней заре…

Игорь мягко кладет мне на плечо руку.

— Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На совесть мужик работал. А нынче как-то встретил на днях, спрашиваю: «Будем еще, Саня, старые грехи замаливать?» — «Нет, говорит, Игорь. Хорошо лес сеять, нравится мне эта работа, а больше не жди». Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки, а тут хоть лопни — тарифная ставка. Не перепрыгнешь. Почему так? Кто лес валит — тому прогрессивка, и премиальные, и еще там всякая всячина. А кто лес сажает — на

сознательность переведен. Почему так?

Мы идем узенькой, хорошо утоптанной тропинкой. В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают — все спешат управиться со своими делами до жары. А вот и дробный перестук дятлов.

— Это мои помощники, — говорит Игорь. — Мало только их нынче. Надо бы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом?

А потом он снова возвращается к своим обидам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. Да его хоть золотом осыпь, от леса не оторвешь. А как же на их зарплатишку жить тому, у кого семья? Вот и идут в лесники инвалиды да всякий сброд. А если какой подходящий мужик заведется, так от него все равно толку мало. Он все лето для коровы своей сено ставит. А сколько у лесника работы? Охрана леса, лесокультурные работы, расчистка просек… А семена заготовлять? Египетский труд! Каждую шишку надо ладонями обмять. А противопожарные канавы возле дорог прорыть?..

Игорь качает головой:

— Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары. А нынче весь север горит. В Архангельске от дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? Во что это государству

влетает? А люди на лесопунктах по неделям не работают? А колхозников с пожара на пожар гоняем? И никто почему-то не хочет одну штуковину сделать — лесную охрану увеличить. Знаешь, у меня какое лесничество? Двести сорок тысяч га! Мне за год не обойти это царство. Да что там за год! Я так и помру, а в каждом квартале не побываю. Мы, лесники, кричим: добавьте охраны! Меньше пожаров будет. И все без толку. Миллиарды в огонь бросаем — не жалеем, а вот лишнего лесника нанять — экономия… Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал… Куда еще писать?

7

Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого.

— Ну, теперь ты получил сосновое образование, — сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка.

Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж и бодр, как утренний лес. Может, только морщины резче обозначились на

его сухом узком лице да на жилистой, дочерна загорелой шее.

Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной — могучим чудищем, вымахавшим на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на росохах закаменевших корней, окрасились алым светом.

— А я, Алексей, можно сказать, тоже от сосны начал жить, — заговорил Игорь. — Лес меня человеком сделал. Ну, про то, как я в тюрягу попал, рассказывать нечего. По молодости, по глупости… Вот ты ученый, Алексей, книжки пишешь. А можешь объяснить, что тогда произошло со мной, какой заворот в моих мозгах образовался? Почему мне дома не сиделось? Все мои ровесники при деле: ты учишься, те работают. А меня так и тянет, так и тянет куда-то. Как журавля в небо. Почему так? И ведь героем себя считал — во как. Ну а война началась, тут меня прошибло. Кровавыми слезьми умылся. Братья на фронте, отец от рака умирает, а я за колючей проволокой. Работаю, конечно, всему гопью в лагере войну объявил, а все равно в лагере. Да разве мне, сыну Антона Чарнасова, так воевать надо!

Игорь хрустнул сцепленными в замок пальцами.

— Сейчас из заключения выходят, у ворот его встречают. Все для него, на работу устраивают — будь только человеком. Упрашивают. А я после войны вышел — хлебнул горюшка. Я с чистым сердцем, я жить хочу, работать хочу — я ведь еще не жил, семнадцати лет за решетку попал, — а от меня, как от прокаженного, шарахаются. Я вкалываю, вкалываю, по тридцать кубиков земли лопатой вынимаю — это когда еще дорогу строили, — рубаха на мне от пота не просыхает, сам седой от соли. А чуть что случилось в поселке — воровство какое, пропажа — Игорь-бандит. На него косо смотрят. Как это переносить, Алексей?

И вот только в лесу себя человеком чувствуешь. Никто тебя не спрашивает, кто ты. Пташка сядет рядом. Сосна-трудяга… Стоит — день и ночь смолу качает. Ей некогда пустяками заниматься. На ней вся планета держится…

Это было неуместно, нехорошо, но я не мог сдержать улыбку: так неожиданно и широко было обобщение Игоря.

— Ей-богу, Алексей! Ну, а как же? Поживи-ко здесь до зимы — сам на практике все поймешь. Ветры студеные задуют — из Арктики, аж от самого полюса, — кто им заслоном служит? Сосна. Да ежели бы не сосна, так эти ветрищи до Черного

моря добрались, сквозняк на всю Россию устроили. А летом, когда засуха, все кругом выгорело? Березы и те от жары сомлели. А эта — черт-те что. Пыхтит, обливается смоляным потом, а дело свое делает. И вот ведь какая несправедливость! Про березу в песнях поем, черемуху на каждом шагу вспоминаем. А что они против сосны? Иждивенцы! Только и живут потому, что сосна на свете есть…

— Ну ты уж слишком, — возразил я, обидевшись за другие деревья.

— Да я их всех люблю, Алексей. Я после лагерей какой-то жалостливый стал. Ну, а все-таки им против сосны… Не то. Характер не тот! — решительно сказал Игорь. — Вот, к примеру, ель. Нужное дерево — ничего не скажешь. А хитрить-то зачем? Ох, хитрое дерево! Я эту ель насквозь вижу. Вся ушла в сузёмы. Ну-ко, доберись до нее. Надо железную дорогу тянуть, болота мостами выстилать. «Сама на корню сгнию, а человеку не дамся». Вот какое дерево! А в сырость я прямо глядеть на нее не могу. И так-то жить тошно, а тут еще она слезу точит… Вот осина еще на нервы действует. И все-то она дрожит, все-то дрожит. Больно о себе много думает…

Сверху к нашим ногам упала прошлогодняя

шишка. Мы оба подняли головы. Могучие, узловатые, переплетенные друг с другом сучья, и в них, как в колодце, маленькое оконце голубого неба, осиянного солнцем.

— Вот какая сила, Алексей! Не согнешь! — зашептал восхищенно Игорь. — Люблю, когда сосна шумит. Она не то что ель. Та в непогодь, как по покойнику, воет. А эта… Ноги в земле, голова в космосе, да как затянет свою «дубинушку» — аж землю в дрожь бросает. Вот какое это дерево сосна, Алексей! Да мы ей в ноги должны поклониться. За службу верную. За то, что на переднем крае всегда. Не хитрит. Не ждет никакой награды!..

Солнце уже припекало, когда мы вернулись в поселок. В утреннем воздухе попахивало горьковатым дымком — значит, опять пожары…

Игорь не захотел тревожить Наташу. Он лег вместе со мной в бане и тотчас же заснул. Заснул крепким сном рабочего человека. А я еще долго лежал с открытыми глазами и думал о своем товарище, о его отце, о соснах…

1962

Старухи

Я приехал в деревню без всякого предупреждения, в жаркий июльский полдень, и, конечно же, в доме моего покойного брата никого не застал: все были на лугу, под горой, — и сама хозяйка, и ее дети.

Недолго раздумывая, я забросил чемодан в сени (у нас, на Севере, все еще живут по старинке, без замков) и покатил к тетке — уж она-то, старая старуха, наверняка дома.

Так оно и оказалось: тетка была дома, да не одна, а со своим старушатником — я за версту услыхал раскатистый смех из открытого окошка.

Тетка Люба, или Любка-прыть, как больше зовут ее в деревне, человек удивительный. За свои восемьдесят с лишним лет она, кажется, не хаживала шагом. Все бегом, все с вытянутой вперед головой, а в молодости, рассказывают, дело доходило просто до уморы. Раз пошла она на игрище в паре с кавалером, да забылась и давай махать во все лопатки. Опомнилась, аж когда люди кругом заржали.

Но главный-то теткин дар, который издавна притягивает к ее дому и старых и малых, — было

слово. Тут она и подавно равных себе не имела. Уж как почнет чудить-скоморошить — про все забудешь: и про горести свои, и про усталь. «У нас так у отца было заведено, — говаривала тетка как бы в свое оправдание, — с опущенной головой гостя из дому не выпускать».

Я переступил теткин порог как раз в ту минуту, когда она, стоя посреди избы, маленькая, сухонькая, босиком (летом она обутки не признавала), что-то с жаром рассказывала хохочущим старухам.

Меня тетка по первости не признала — лет пять уж начала спотыкаться на глаза, и только когда ее дочь Анна, тоже уже по годам старуха, с притворной строгостью прикрикнула на нее (дескать, не видишь, кто к нам пришел), она живехонько посеменила ко мне навстречу.

Мы поздоровались по-старинному — в обнимку, прикладываясь щекой к щеке, и Анна по этому поводу заметила:

— Вот какая у них дружба, женки. Посмотрите-ко, посмотрите!

— Дак ведь у ей роднее и родни нету! — съязвила какая-то старуха.

Раздался дружный смех: всем было известно, что мы с теткой родня, как говорится, на девятом

киселе и что называть меня своим племянником она стала ради красного словца. Как-то сидели у нее вот так же, как сегодня, старухи, вспоминали свою молодость, тетка возьми и скажи мне:

— А знаешь-ко, Олександрович, ты ведь мне родником должен быть.

— Родником?

— Да. Я ведь за брата твоего отца, Павла, собиралась было, да у его, у растяпы, догадки не хватило за мной поухаживать, вот я со зла-то и вышла за своего Луку.

На меня, как на свежего человека, приехавшего из большого города, старухи навалились всем скопом, едва я присел к столу. Все их интересовало: наши полеты в космосе, наши дела, касающиеся войны (это, конечно, в первую очередь — жуть как народ не хочет войны), заработки в городе… Ну и, само собой, выспрашивали про мою жизнь: где служу (мою писательскую работу они всерьез не принимали), сколько получаю, на чем приехал из района — вместе со всеми в пыльном автобусе трясся или, сидя вразвалку, на цветастом ковре райкомовской легковухи?

Я отвечал нехотя, скороговоркой — мне самому хотелось спрашивать их: вы-то как теперь живете? У вас-то что нового?

Татьяна Марковна, здоровущая, краснощекая старуха, одетая по-городскому, заговорила первой:

— Ох уж наши новости! Какие у кулика на болоте новости, так же и у нас. Кто родился, кто напился, да кто убился — вот и все новости.

— Да какое болото наша деревня — на горе стоит? — с ходу возразила ей тетка и даже кулачишком своим сухоньким пристукнула по столу. — Люди из города приезжают — не нахвалятся. Такой красы, говорят, как ваша, во всех краях поискать, за морем нету, а она — на-ко — свою деревню хаять.

Тут я должен заметить, что Любава Лазаревна — такое полное имя у тетки — не только за родную деревню вступилась, которая и на самом деле хороша. Она терпеть не могла эту спесивую, забуревшую горожаху. В колхозе не рабатывала, век на чужой шее сидит — то на мужниной, то на сыновней, в деревню наезжает как дачница, только летом — да ей ли судить-рядить?

— Нет, нет, — сказала тетка, — не болото наша деревня. А хоть бы и болото — что с того? Журавли тоже из болота на свет вылетают, вот.

Самолюбивая Татьяна Марковна шумно запыхтела — нож по сердцу ей обида, да еще на

людях, а я поднял глаза к передней стене, где над окошком, рядом с зеркалом, висела увеличенная фотография Вани, теткиного внука, — это ведь его она имела в виду, когда сказала о журавлях. Ваня был парень сухой, долговязый, и тетка частенько говаривала: «Где тот у нас, журавей-от, нейдет?» Или: «Подождем-подождем за стол садиться. Вот-вот прилетит наш журавей».

Фотография Вани — веселая открытая мордаха — была на старом месте, но кого же я увидел в простенке между ним и божницей? — Сталина. Да, да, самого Иосифа Виссарионовича.

Помните — влажный зачес назад прямых, еще темных волос над низким и узким лбом, тяжелые каменные скулы азиата и по-отечески ласковые, в легком прищуре глаза…

Так вот, именно этот самый портрет, так хорошо памятный мне по тридцатым годам (мы тогда, молодежь, молились на него), увидел я на передней стене у тетки. На самом видном месте. В рамочке. Под стеклом.

Изумлению моему, как нетрудно догадаться, не было предела. Ведь это не в городе я вижу, не у какого-нибудь воздыхателя по тому золотому времечку, а у тетки, старой неграмотной крестьянки, — ей-то зачем это добро?

— Развесила! — хмуро кивнула в сторону тетки Татьяна Марковна. Она, конечно, не могла упустить такой случай, чтобы не ковырнуть тетку, тем более что в политике разбиралась: беднячка и активистка в прошлом — раз, а во-вторых, где живет? В городе. — Развесила! — осуждающе сказала Татьяна Марковна. — Людей-то пугаешь! Нельзя ведь — культ… — Последнее слово она выговорила с завидной четкостью и уверенностью. Чувствовалось, что оно у нее здорово обкатано.

Но черта с два возьмешь тетку голыми руками! Ведь вывернулась — золотом ответила на серебро.

— Ничего, — сказала тетка и по-старинному, учтиво поклонилась Татьяне Марковне, — от этого куля стена не проломится.

Старухи, давно уже с любопытством посматривавшие то на тетку, то на Татьяну Марковну, заулыбались, запосмеивались — всем понравился теткин ответ, а Анна, истая дочь своей матери, та просто расцвела от удовольствия.

— Вот какая она у нас, бабы! Ничего не боится. Попробуй-ко, поговори с ней.

— А чего мне бояться! — еще пуще разошлась тетка. — Живой медведь не съел, а мертвый подавно не съест.

— Да ведь нельзя, говорю! — уже не заговорила, а зарычала Татьяна Марковна. — Забыла, что на собранье-то говорили кой год?

— А чего ни говорили, да мне можно, — опять с легким поклоном ответила тетка. — У меня от самой партии разрешенье есть. Вот.

— Верно, бабы, верно, — быстро поддакнула матери Анна, — есть. Была тут у ей партия нонешней весной. Заседала. Ну-ко, бабка, рассказывай, как дело-то было.

Тетка — так уж принято у заправских рассказчиков — поломалась немножко, поплямкала своим беззубым, глубоко запавшим ртом, а затем живо, в лицах представила, как к ней завалились местные власти — парторг и председатель колхоза. Завалились по своему мужскому делу — тетка кивнула на посудный шкапик, в котором вся верхняя полка была заставлена разными рюмками и стопками.

— Ну, у хозяина какая говоря? — по-председательски начала водить носом тетка. — Про живот, про хлебы — как живешь, бабка? А поп, — тетка и парторга по-своему называла, — а поп, тот опять про свое: где у тебя вожжи? Почему вожжей в избе не вижу?

— Ну, а ты чего, мати? — с задорным подмигом

спросила Анна.

— А я говорю, какие тебе вожжи-то надоть? Больно, говорю, часто меняете. У меня внук, говорю, велик ли годами — семьей еще не обзавелся, а уж два раза выносил свои патреты на подволоку, а мои-то патреты, — тетка кивнула на божницу, — знаешь, сколько стоят?

— Неужели так и сказала, мати? — с деланым испугом спросила Анна.

— Так. Да еще и присказала: почто новых вожжей в продаже нету?

— Ну, а он чего?

— Ну, а он ничего. Делом занялся. — Под дружный смех старух тетка показала, каким делом. — А потом и говорит: того, говорит, который без волос да закормленный, — нельзя ни в каком разе, тот пущай и вперед на темной подволоке проживает, а тот, который с усами, того, говорит, можно и на свет, на того, говорит, послабленье ноне вышло.

— Послабленье? На его-то послабленье? — Фиклистовна-слеза (всегда мокрые глаза) трясущейся рукой указала на переднюю стену. — Я не знаю, как у нас все делается. Одним скажут, другим нет. У нас тоже в анбаре патрет стоит. Хорошая рамочка, не хуже этой. Бутылка, бывало, плачена

Васеньке-пузырю — деньгами не взял… Нельзя, говорит, за такое дело деньги…

— Да и у нас есть, — вздохнула подслеповатая Маша-репка. — Красивая картиночка. Все бы потеплее зимой было, закрыла бы какую щель…

Не знаю, чем бы кончился весь этот разговор. Скорее всего ничем, потому что главный-то заводила — тетка — к этому времени была занята уже другим делом — разжиганием самовара (сколько же можно угощать дорогого гостя речами!), да и старухи начали поглядывать на часы.

Солнце было уже далеко за полдник, подходила пора выгонять в ночное скотину (днем ходу ей нет из-за гнуса), и хотя буренки теперь были далеко не у всех, старая привычка сказывалась: старух в этот час охватывало такое же беспокойство и томление, как саму скотину. А потом — что толку в таком разговоре? Не забыли еще, как за слово таскали.

Короче, сегодняшний старушатник работу свою завершил. Иные даже встали, взялись за свои увесистые сумки с покупками — из магазина шли. Но тут в избу нежданно-незвано влетела Олена-горло, и все опять заходило колесом.

Олена Сергеевна с лихвой оправдывала свое прозвище. Голосище — труба иерихонская.

Заорет в нижнем конце деревни, а слышно в верхнем. Ну, а насчет характера лучше и не говорить: сроду ни с кем не уживалась. Можно сказать, век в колхозе жила единоличницей, потому что никто не хотел работать с ней рядом — всех отпугивал ее поганый язык.

Так вот, Олена-горло запастила — очень распространенное у нас словечко для обозначения крика на пределе — без всякого предисловия, прямо с порога:

— Чего сидите насухо? Люди-то охапками вино из магазеи тащат.

— Да кто такой ноне богатый?

— Кто! Известно кто — скотницы. Та соплюхато — Полька Олексеевны — вся-то с рукавицу, двести шестьдесят рубликов огребла. За месяц!

— За месяц? — ахнули в один голос старухи.

— Да! За месяц! Стоит перед прилавком, выколупывает: «Я белого не люблю, мне бы шинпанского бутылки три…»

— Чего-чего? — переспросила туговатая на ухо Маша-репка.

— Шинпанского, говорит. Жижа такая, как стечь кобылья, только подслащена… В темных зеленых бутылках с серебряным горлышком…

— Четыре рубли с копейками по-нонешнему

стоит… — авторитетно начала разъяснять Татьяна Марковна.

Но Олена и ее под себя подмяла — не дала досказать.

— Заместо квасу, говорит, пить буду. А то по нонешней жаре все горло пересохло…

— За четыре-то рубля заместо квасу?

— Дак ты какой дырой-то слушаешь? — заорала Олена на тихую Павлу. — Говорю, двести шестьдесят рубликов за месяц отхватила, дак чего ей какой-то там четверик.

— А сколько же с таких денег пензия-то ей будет? — полюбопытствовала, тряся головой, Фиклистовна.

— Да уж не с твое — не двенадцать рублей!

— У моей снохи сестра в совхозе агрономша, дак у них доярки ины по восемьдесят рублей получать будут, — сказала Татьяна Марковна.

— По восемьдесят?

В избе наступила гробовая тишина, даже тетка у печки перестала трещать лучиной — никак не разжигался самовар, потом вдруг хлопнули двери, загрохотали ворота — это Олена-горло выскочила на улицу. Так вот всегда: налетит, взбаламутит людей — и вон.

Никогда не унывающая тетка Люба и на этот

раз не изменила своему характеру.

— Ладно, давай, — начала она вразумлять старух, — с голоду не помираете. А денежных людей всех на том свете в ад — разве забыли «Страшный суд»? Бывало, у входа в монастырь висел…

Ее поддержала Анна:

— Верно, верно, мати. Всего вина не перепить, всех денег не прожить. Это кто, бабы, у нас говаривал? Ваня-грыжа кабыть.

Но нет, и эта хитрость не удалась. Завсхлипывали, запричитали бабы — сперва тихонько, вполголоса, а потом все пуще, пуще, и вот уже сплошной вой и рев стоит в избе.

Я не сразу понял, из-за чего так убиваются мои землячки. Ведь не голодны же! А одеты, обуты — разве сравнишь с прежним? Так чего же им надо? Чего они хотят-требуют, протягивая ко мне свои старые, заскорузлые руки?

Справедливости. Прежде всего справедливости. Потому что разве не горько, не обидно это? Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы — в колхозе, в лесу, на сплаве, сытыми бывали — по пальцам сосчитаешь года, а старость подошла, что отвалили им, во что оценили их нечеловеческий труд?

Да, да, да! На моих глазах проходила жизнь

этих великомучениц, которых у нас иначе и не называли, как пережитками капитализма. Дескать, какие же это люди — темные, неграмотные, насквозь проросшие коростой собственничества! Вот погодите, новый человек вырастет — на него полюбуйтесь!

Новый человек вырастет — не сомневаюсь. Но пройдет ли по русской земле еще раз такое бескорыстное, святое племя?

Вот сидит напротив меня с заплаканным страдальческим лицом старая Фиклистовна. Руки трясутся, голова трясется — отчего? Отчего она ночи напролет кричит и стонет, не дает покоя дочери?

Тридцать лет Фиклистовна обряжалась с коровами. Тридцать. С первого дня колхозной жизни, когда еще не было общих коровников. Утром встань ни свет ни заря, коров подои, воды наноси, навоз выгреби, потом лети домой как угорелая: свою корову обряжай, печь топи, семью корми. А с домом кое-как управилась — опять работа: за подкормкой ехать надо, а то еще и на сенокос да на силос беги. А за подкормкой раза два-три съездила — уж вечерняя дойка подошла. И опять колесом, опять сломя голову…

И так тридцать лет. Каждый день. Без выход-

ных.

Так ведь это хорошо еще, когда скотина дома, а каково осенью, когда скотина в отгоне и ты утром и вечером шлепаешь пять-шесть верст туда да обратно, через наши богом проклятые сузёмы?[2]

Раз, бродя с ружьишком по лесу, я видел, как Фиклистовна со своими напарницами возвращалась домой. Погода была ужасная — дождь, слякоть. Лошаденка, выбившаяся из сил, застряла в грязи посреди дороги. Ее стегали, били, упрашивали, умоляли — все бесполезно. И тогда что же сделала полубосая, закоченевшая Фиклистовна? Взвалила бидон с молоком на спину и пошлепала, закачалась по лесной дороге.

А вот сидит рядом с ней Окуля Мишки Пашича. Румянощекая, гладкая старуха. И даже глаза у нее сухие — хуже горькой редьки ей всякая нудьга. Одним словом, бой-старуха. Но я-то не забыл, как она летним вечером в сорок втором, кружась по песчаному пустырю между церковью и школой, навзрыд плакала.

Мне сперва подумалось: напилась Окуля — любила до войны погулять. А оказалось, у Окули куриная слепота, и она никак не может попасть

---

[2] Сноски: 2
Сузём — сыролесье.

на дорогу. И тогда я взял ее за руку и, как малого ребенка, повел домой.

Марья Тихоновна, прости. Не хотелось бы называть тебя лишний раз уличным прозвищем Репка, но как не вспомнить сейчас, за что ты отсидела до войны пять лет за проволокой. За репки, которые ты сорвала на колхозном поле. Сорвала для того, чтобы заткнуть рот голодным ребятишкам — будущим солдатам Родины, трое из которых так и не вернутся с войны…

Жаль моя, боль моя неутихающая, голубица непорочная! Ну чего ты сидишь, жмешься, как сирота, у самых дверей? Почему не подойдешь к столу?

Нет, не подойдет Оля-дева к столу, сколько ни зови. С места не сдвинется сама.

Пятнадцать весен подряд была она на сплаве, до белых комаров, до ледяной шуги бродила с багром в осенней воде, а обутка у колхозницы какая? Вот и осталась без ног, еще не старая, с кроткими покорными глазами, с чистой, как ленок, девической головой.

Живет Оля-дева одна в малюсенькой избушке-задворенке, построенной ей из жалости братом (не колхозом, нет). Возле избушки лоскуток жита — на прибавку к двенадцатирублевой пенсии,

немножко картошки, луку, а в крохотных окошках красные огоньки герани. Для красоты.

Я несколько раз пытался проникнуть в эту убогую избушку, словно из сказки занесенную в наш железный век, но Оля-дева, обычно такая деликатная и уступчивая, всегда находила какой-нибудь предлог для отказа. Она стыдилась своей бедности.

Я приоткрыл немного жизнь четырех старух. А ведь тут была еще Исааковна, была Павла Егоровна, Суса-лешачиха, которая с двенадцати лет начала ломить в лесу. А тетка Люба — Любава Лазаревна?

Встаньте, люди! Русская крестьянка идет. С восьмидесятилетним рабочим стажем. Да, да, да! На пятом году взяла тетка грабли в руки — да так до сих пор и не выпускает их.

Старухи плакали, рвали мое сердце слезами, жалобами и снова и снова заставляли меня оглядываться назад, на тот крестный путь, который они прошли.

Коллективизация, война, гибель мужей и сыновей на фронте, раннее вдовство и безотцовщина, разруха послевоенная, голод, налоги — в дугу согнись, и в конце как итог всего этого — двенадцатирублевая пенсия…

О, сколько раз я выходил из себя, стучал кулаком, где надо и не надо, взывал к пониманию, к сочувствию и сколько раз получал убийственно спокойный ответ: «По закону».

По закону, потому что пенсия начисляется с зарплаты, а какая зарплата была у колхозницы в прошлые годы?

Дикая, чисто чиновничья логика! Раз тебе годами ничего не платили за твою работу, раз у тебя годами задаром забирали выращенный тобою хлеб, молоко, масло, овощи, значит, тебе не положено и нормальной пенсии…

Я попросил у Анны бумаги, дерзкая мысль — обратиться с письмом в Верховный Совет (как раз в то время была очередная сессия) пришла мне в голову.

— Напиши, напиши, Олександрович, — разом воспрянули старухи, когда я рассказал им, что надумал.

— Так, так, родимушко. Не типере сказано: под лежач камень вода не текет…

— А матенка-то твоя на том свете возрадуется. Ведь и она не на закрайке поля была… Не от сладкой жизни семь годков в параличе лежала…

Никогда еще у меня не было такой ясности в голове. Я начал строчить с ходу, без остановки.

Так и так, дескать, дорогие товарищи, к вам обращается группа престарелых колхозниц с настоятельной просьбой увеличить размеры колхозной пенсии, ибо нельзя прожить человеку на двенадцать рублей. Да разве они и не заслужили, чтобы за свой беззаветный, нечеловеческий труд иметь обеспеченную старость? Дальше, как мне казалось, я поднялся просто до высот государственного мышления: я указал, где взять деньги.

Нет, нет, не из государственного кармана. Не за счет дополнительных ассигнований колхозам, а за счет маленького перераспределения в фонде заработной платы. Председатели колхозов, механизаторы, доярки, бригадиры — словом, все те, кто сегодня в деревне получает большие деньги, неужели они будут возражать против того, чтобы из ихней зарплаты ежемесячно сколько-то отчислять рублишек в пользу колхозных ветеранок? (О ветеранах можно не беспокоиться. Русские мужики редко доживают до старости. Они либо погибают на войнах, либо сгорают в послевоенные лихолетья.) Больше того, я предлагал с подобным призывом обратиться и к высокооплачиваемым людям города — ведь они-то, если говорить начистоту, еще в большем долгу у сегодняшних старух деревни…

В общем, письмо было готово, оставалось только поставить подписи.

— Ну, кто самый храбрый?

Я шутил, я торжествовал — наконец-то сделано дело, которое столько лет тяжелым камнем лежало на моей душе.

Старухи молчали. Их, еще какую-то минуту назад жалкие, размягченные слезами старые лица начали каменеть на моих глазах.

В чем дело? Чем я обидел их? А может, это извечный страх русского человека перед бумагой вдруг заговорил в них?

Я терпеливо начал разъяснять их собственные права, важность написанной мной бумаги.

Ни слова в ответ. Казалось, не живые, а каменные скифские бабы сидят вокруг меня.

Наконец тягостное для всех молчание нарушила Татьяна Марковна. Она встала и с прямотой колхозной активистки начала тридцатых годов рубанула:

— Не сходите с ума-то! Умный человек в реку без броду не полезет, а вас куда, старых дур, понесло? В политику!

В политику… Слово это, как электрический ток, встряхнуло старух. Они подняли головы, посмотрели друг на дружку и вдруг все поняли.

— Да, да, неладно едак. У меня Миколай партейной — чего ему скажут?

— Да и у меня Надежда учительница. Тоже по головке за такую матерь не погладят. Куда, скажут, смотришь?..

— Нехорошо, нехорошо, Федор Олександрович. Мы люди темные, неученые, а ты ведь все ходы-выходы знаешь…

— Господи, мала пензия! Да раньше в колхозе робили и за работу ничего не получали. А сичас сидим — пасть целый день дерем, — и денежки идут…

— Хорошо, хорошо, бабы. Двенадцать рублей тоже не валяются. Одного хлеба сколько можно купить…

— Да и на чаек-сахарок чего останется. Ведь уж так по доходам и живи…

— Нет, нет, спасибо Советской власти! Не забыли нашу старость. Я кажинной божий день за ей молюсь и сичас помолюсь. — И тут набожная Фиклистовна — это она своим тонким плаксивым голосом прорыдала над моим ухом — поднялась на ноги, повернулась мокрым, просветленным лицом к божнице и трясущимися, изуродованными ревматизмом пальцами начала творить крестное знамение.

Вслед за Фиклистовной перекрестилось еще несколько старух. Тетка Люба — сроду не видал ее за этим занятием — тоже наскоро мотнула сухой коричневой ручонкой. Потом в сопровождении обеих хозяек гостьи вышли на крыльцо, довольные, говорливые, — так-то хорошо посидели!

Я остался в избе один. Вернее, вдвоем с Ним.

Давно, давно не верю во всякую чертовщину, но, честное слово, в эту минуту мне показалось, что Он своим прищуренным глазом внимательно смотрит на меня. Смотрит и самодовольно улыбается: «Надо знать своих земляков, товарищ писатель…»

Ну что я мог возразить на это?

1969

О чем плачут лошади

Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство — в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола.

Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался возле них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок.

Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади.

Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую — лошадиную — красоту, и я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, изредка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом — пыльная или несъедобная травка попалась.

Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними.

Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день и ночь не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава — дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус — в затишные вечера серым облаком, тучей клубился над ними комар и мошкара.

В общем, что говорить, — нелегко жилось беднягам. И потому-то я как мог пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно.

На этот раз я не шел — бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни Громов, ни Идей, ни Побед, ни Ударников, ни Звезд, а были Карьки и Карюхи, Воронки и Воронухи, Гнедки и Гнедухи — обычные лошади с обычными лошадиными именами.

Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так

называемых мезенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под седелкой, заметно отвисло брюхо и даже вены в пахах начинали пухнуть.

И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей.

На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невылинялой клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре.

А Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости.

Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, обегала вокруг кола, то есть совершала, как я называл это, свой приветственный круг радости.

Сегодня Рыжуха при моем приближении не

выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только лошади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней.

«Да что с ней? — с тревогой подумал я. — Больна? Забыла меня за это время?» (Рыжуха две недели была на дальнем сенокосе.)

Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок — с этого, с подкормки, началась наша дружба, но тут кобыла и вовсе озадачила меня: она отвернула голову в сторону.

— Рыжуха, Рыжуха… Да это же я… я…

Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же подстриг недели три назад — напрочь забивала глаза, притянул к себе. И что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы.

— Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?

Рыжуха молча продолжала плакать.

— Ну, хорошо, у тебя горе, у тебя беда. Но ты можешь сказать, в чем дело?

— У нас тут спор один был…

— У кого — у нас?

— У нас, у лошадей.

— У вас спор? — удивился я. — О чем?

— О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете, а они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной… — И тут Рыжуха опять расплакалась.

Я насилу успокоил ее. И вот что в конце концов рассказала она мне.

На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем невмоготу (а работа там была каторжная, на износ), начинала подбадривать ее своими песнями.

— Я в жизни ничего подобного не слыхала, — говорила Рыжуха. — Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву — так звали старую кобылу, — не утешает ли она меня. Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла,

что все это сущая правда и что песни эти певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком. А мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду.

И вот, — заключила свой рассказ Рыжуха, — сегодня утром, как только нас вывели на луг, я начала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам, а они закричали в один голос: «Вранье все это, брехня! Замолчи! Не растравляй нам душу. И так тошно».

Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя — маленького, крохотного человечка.

— Скажите мне… Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами… Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла? Не обманула?

Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону, и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха,

занимало и других лошадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было.

Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой, — может, минуту, может, десять минут, может, час, но я взмок с головы до ног.

Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба — мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!

Да, да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади — никуда: ни в поле выехать, ни в лес. Да и не

погулять как следует.

Полвека прожил я на белом свете и чудес, как говорится, повидал немало — и своих, и заморских, а нет, русские гулянья на лошадях о Масленице сравнить не с чем.

Все преображалось как в сказке. Преображались мужики и парни — чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые! Не подкачайте! Потешьте сердце молодецкое! Раздуйте метель-огонь на всю улицу!

И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй, и колокольцы, колокольцы — услада русской души…

Первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного отцовского дома, про коня-богатыря, про сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, прялку для своей суженой, коню молился — ни одной божницы не помню я в своей деревне без Егория Победоносца. И конской подковой — знаком долгожданного мужицкого счастья — встречало тебя почти каждое крыльцо. Все — конь, все — от коня: вся

жизнь крестьянская, с рождения до смерти…

Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы!

У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи, там выясняли свои отношения. Сбил у Воронка холку, не напоил Гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал Чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали.

Э-э, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади!

Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего Карька, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война, даже война не вытравила во мне память о родном коне.

Помню, в сорок седьмом вернулся в деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по не вернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Карько.

— Нету вашего Карька, — ответил мне конюх-старик. — На лесном фронте богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали, да еще как…

Карько, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый День Победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как? Чем? Вот и порешили пожертвовать самой старой доходягой. Короче, когда Карько притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху, со штабеля, обрушили тяжеленные бревна…

В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег, и года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня.

Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой, а на месте катиша, там, где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая.

Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел…

…Рыжуха все так же, с надеждой, с мольбой, смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу, под горой — сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, на

привязи, и те, которых давно уже не было, — все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня.

А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул:

— Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.

И вслед за тем, избегая глядеть в глаза Рыжухе, я торопливо бросил на луг, напротив ее вытянутой морды, давно приготовленный кусок хлеба, потом быстро оделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку:

— Покель! В энтом деле без банки нам все равно не разобраться... — И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой, развязной походкой двинулся к реке.

А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала, что были у лошадей счастливые времена?

Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем.

Но я ничего не видел сейчас.

Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же они начнут грызть хлеб, с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу.

Ни малейшего звука не доносилось оттуда.

И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул Рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг и что никогда, никогда уже у меня с Рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор.

И тоска, тяжелая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы…

1975

Золотые руки

В контору влетела, как ветер, без солнца солнцем осветило.

— Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

— А как же телята? С телятами-то кто останется?

— Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

— Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то, чего доброго, с невестой перепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь, и ростом не очень вышла, но веселья, но задора — на семерых. И работница… За сорок пять лет свои такой не видывал. Три бабенки до

нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань — семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла — еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила — на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

— Да ты что, — попробовал пошутить председатель, — перепила на свадьбе?

— Не была я на свадьбе, — отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: — Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

— Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан — перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столу — полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. — И тут Мария опять сорвалась на крик: — Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья, — да с чего же им понравятся?

— Мария, Мария…

— Все! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить, маникюры… Заведу, как у этой кудрявой фрали.

— И ты из-за этого… Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

— Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер — сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю… Да с чего же у меня будут руки?

— Мария, Мария… у тебя золотые руки… Самые красивые на свете. Ей-богу!

— Красивые… Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

1976

Из колена аввакумова

1

Шоферишко попался мне необкатанный, из молокососов, да еще с норовом: я ему — в объезд, он — прямо, я ему — прямо, он — в объезд. Ну и вляпались — сели на брюхо, по самую ось. Да где? На большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды, там, где на веку никто никогда не застревал.

Если бы у нас был с собой топор, была цепь, лопата, все было бы просто.

Бревно, хламину какую под колесо, большую грязь отрыл, откопал и жми на газ. А то ведь у этого сопляка не то что нужного инструмента, самого дрянного ножа не оказалось.

Долго, часа полтора, плясали мы вокруг машины, но что сделаешь голыми руками? И в конце концов, насмерть измученные, грязные, потные, мы сели возле дороги под березы и стали ждать — авось кто-нибудь проедет: не глухой проселок, главный Пинежский тракт.

Но шло время. Я выкурил одну папиросу, другую, шофер сбегал к реке выкупаться (нынешняя

молодежь даром время терять не станет), а подмоги все не было, и по-прежнему ничего, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, не было слышно.

— Постойте, а какой сегодня день-то у нас? — вдруг осенило шофера. — Не воскресенье?

— Воскресенье.

— Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься. В Койду ехать надо, — сказал он решительно.

Койда была на другом берегу, и попасть туда не составляло большого труда. Но я не спешил. За этой деревней у нас издавна водилась недобрая слава.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь — икота, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную — и мутит, и ломает, и душит, и крик и рев на все голоса — по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается:

икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди — икотники, и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти россказни давно уже не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбленке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ощетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти с ним («Чаишку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посущественней»), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки ни одной, а старые, полуразвалившиеся, осевшие дома как старые лошади на лугу — неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце

деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепахано тракторами и бульдозерами.

2

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбородком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с лямками, и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но, когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

— Что, бабушка, на солнышко погреться вышла?

— Вышла. Дочерь поджидаю. Где-то с утра ушла за хлебом, и все нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

— Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

— Не работает. Третей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, сказывают, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли — живую землю хоронить... Да ты чей будешь-то — спрашиваешь? Не

здешний, видно?

Я назвался приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил — так ошарашило меня имя старухи.

Соломея! Или Соломида по-нашему. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытой пастью (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

— Что все трешься да трешься возле меня? Не ленись, пощипли травки-то. Ну, иди, иди с богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

— Старой веры держишься, бабушка?

— Старой. Через все страданья, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

— А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлипнула, слезы вскипели у нее на глазах, но так же быстро, как у малого

ребенка, и высохли.

— Не обделил, не обделил меня господь страданьями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне! Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял — все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

— Да за что же тебя так, бабушка?

— А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век живу. Кто чем ни заболеет, у кого скотина ни падет — всё Соломида-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит бог, — и тут старуха опять истово перекрестилась, — ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

— В Пустозерье? В какое Пустозерье?

— Одно Пустозерье на свете, — посуровевшим голосом ответила старуха. — В студеных краях, у

Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аввакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, где? За 400–500 верст от Пинеги, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса — живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода — куда попал?

— Ходила, — вздохнула старуха. — Девкой еще ходила. По обвету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были, на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все сузёмом — сырыми ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. «Что, девка, — спрашивают, — устала?» — «Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побежу». И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром — мама зовет, шаньги поспели — я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются — нету костей. Вот как меня господь-то бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой — в самую страду работница

обезножела, — да что поделаешь? Так, видно, богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить — все мертвые ноги, все ничего не помогат. А помощь пришла все от того же господа бога. Он, милостивец, ноги у меня отнял, он и возвернул.

Была у нас в деревне старушка благочестивой веры, век скоромного не едала. Так и звали — Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: «Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-припарки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет». — «О бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили!» — «Тяжелый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?» — «Хватит», — говорю. А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет — в стару веру перейти — ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну а как третий-то обвет наложила — я и расплакалась.

Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться. «Да ты, говорю, изгилеешься надо мной, бабушка. Я до ветру на ногах сходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь». — «Будут, говорит, у тебя ноги. Господу богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить господа бога — чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец принять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем другом не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в пещи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до субботы. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в Христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче,

говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги».

И все так, как сказала божья угодница, все так и вышло. Вернул господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов господен иду. — И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

— Ох, родимой, родимой! День рассказывать — не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело — где это Пустозерье? В студеных краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, все ночь, а летом опять ночи нету, все день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну, да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали — иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ съезжается — может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с има, с тема обозами, попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой — лесами да тундрой — как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за тема обозами. Сподобилась

принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивусати тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облюемся — о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле Рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграт, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди — вернулась — как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеги старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, сама не верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла. А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век, до гробовой доски в девках коротать, а нет, господу угодно было через новые испытанья свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось — обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе

срамиться будешь? А я чем виновата? Мне не тошно — два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем — подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня господь: се от бога. Он живот тебе дает, он и силу. «Молись, — говорю мужику. — День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас». И господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: «Проснись, Соломида, у меня мужская сила появилась». И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смущение, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и все с тем же простодушием и назидательностью сказала:

— Господь бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и господа бога прославляли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все божьим словом да верой делается. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра подымают. Я своего мужа божьим словом из мертвых воскресила.

— Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

— У меня мужик смалу в ненавидости у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться — бить стали: «Я на вас икот напущу», — да с той поры житья бедному не стало, а потом и мне, евонной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Все он, все мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день, то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к сену, на пожню, я немóгу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, праздник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чует сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу — две лошади у нас было, исправно жили, — поехала навстречу. Еду, еду, все не видно мужика. Дале на сосновый бор выехала — чего это там в стороне вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво

у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву господу вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не твое творенье, господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа бесповинного из мертвых поднять. И господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у Фокти-барышника, дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: «Соломида, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу». Лошадник был. «Слово, говорю, знаю одно — господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только табачину смолить перестанешь». И перестал, одним табачником меньше в Койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом божьим. Бо слову божьему все подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили! Льва и медведя укрощали. И я одним словом божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке вожжа, в другой Иван при смерти, а на нас новая

смерть — мужики с кольями. На самом въезде в деревню. «Убить, убить!» — ревут. О, беда, о, горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать — догонят. И вперед — порешат. Вспомнила: есть, есть у меня заступа — господь бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак он, всеблагой, он, милостивец. Взмолилась жарко: «Господи, говорю, яви чудо! Сколько раз, говорю, в Пустозерье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти». И тут мне голос сверху: «Крестом да огнем, крестом да огнем…» А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, народ пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять господь бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огороды, к колу кнутовище ременки привязала — крест. А огонь… Сарафан (голова у Ивана обмотана была еще там, в лесу с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой — к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками на нас, а я на них с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаюсь молоком. У других от страху молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей — только в эту минуту молоко и откры-

лось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла, от ворота до подола. Вот стою я на телеге в одной рубахе белой, а в руках крест огненный. «На колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то — вот те бог! — сейчас всю деревню спалю!» И пали ироды пред божьим крестом да огнем. «Не будем больше, Соломида. Прости». Господь, господь выручил меня. Он, милостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился. Откуда у меня о ту пору и огонь взялся. Тогда ведь и спичек не было, все кремешком искру высекали…

— Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

— Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку андел-хранитель, а по леву бес-искуситель. Было, было испытаньев мне отпущено. Не оставил господь в праздности. В колхозе робила — все одна на поле, все понапраслина как стена меж мной и людями. Все Соломида всех

портит. А начальство, то опять невзлюбило за то, что в Христово воскресенье не роблю. Два раза в лагеря на отсидку гоняли. Я говорю: «Дайте мне хоть в три раза больше заданье — сделаю. Только не заставляйте Христово воскресенье топтать». Ну, господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: «Староверка, в карьцер!» За то что я и там не робила по воскресным дням. Попервости в погреб этот впихнут — зуб на зуб не попадат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогревалась.

В понедельник утром из погреба, из карьцера-то этого, выпустят — шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: «Чего улыбаешься?» — «А то, говорю, улыбаюсь, что страданье дал, дозволил мне с господом богом наедине побыть». И тут еще поклонюсь ему в ноги. «Спасибо», — говорю. И вот мучил-мучил меня — это когда вторым-то заходом я была в лагерях — дай выгнал. «Докона-

ла ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было».

— Да, бабушка, — сказал я, — не жизнь у тебя, а целое житие.

— Не обделена, не обделена страданьями да испытаньями. И то хорошо, то милость господня. Через страданья да испытанья дорога в царствие божие лежит. Страданья да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, господи. — Старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась: — Не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пущай все увидят, кто раба твоя Соло-мида.

Я не знал, как утешить старуху, и только вздохнул.

Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

— Посиди еще, бабушка.

— Нет, Матрены, видно, не дождаться — на молитву пора вставать.

— Успеешь еще, — снова попытался я удержать старуху.

— Не говори так, — строго сказала она. — Молитва — перво дело, изо всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?

Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня: мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду проведать старуху.

В низкой, на старинный манер избе — без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево — меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломеи в живых уже не было — она умерла весной нынешнего года.

— Хорошо померла, — начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. — Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и анделы прилетели, кончились земные страданья.

— Ну а все же, как это было?

— Как умерла-то? А вот сидели тут за столом,

разговлялись, она и говорит мне: «Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу». — «Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь?» — «Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!» Еще острастку мне дала. Ну, пришли старушонки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. «Вот, говорит, скоро предстану перед господом богом, не грешна перед людями. Через всю жизнь, говорит, со словом господним на устах прошла». А потом — старухи и в себя прийти не успели — легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки на грудь крест-накрест, да и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. «Прости, прости, говорят, Соломида. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила».

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают — по целым дням кричат да корчатся, бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я долго стоял у песчаной могилы со свежим, еще не обветренным сосновым столбиком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака.

1978

Слон голубоглазый

1

И как только я не называл, не крестил ее про себя, каких только прозвищ не придумывал! Топало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая…

Но все это было не то, все это, в лучшем случае, передавало ее внешний облик, ее громоздкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, — такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла, да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, до колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего сукна…

Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка — слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее характера, от ее внутренней сути. По крайней мере — от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мной (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей про-

стотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:

— Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?

Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но, странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо и даже лучше работалось.

Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом опавшего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.

И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:

— Марию Тихоновну видела.

— Ну и что?

— Приглашала на юбилей.

— На юбилей? На какой юбилей?

— На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.

— Что ж, сделай доброе дело — сходи.

— Видишь ли, — сказала жена, — она нас вместе приглашала.

— Ну, знаешь… Только мне теперь по юбилеям и ходить.

— Ничего. На часок, на два можно. Надо же уважить человека.

Я пришел в ярость. Конец июня, конец учебного года, — да разве ей объяснять, ей растолковывать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсовые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год — по учебной работе, по научной, по воспитательной… А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная… Да тут не то что по юбилеям ходить — дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, — как она не подумала о главном деле моей жизни! Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех — по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, — я сотворял свой первый

роман, и завтра как раз было воскресенье — единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час — на два мог засесть за свою любимую работу.

Жена дала мне выкричаться, дала отвести душу, а вечером, за ужином, снова завела разговор про юбилей: Мария Тихоновна старый, одинокий человек, у Марии Тихоновны никого нет — ни детей, ни мужа…

Я легко отбил и эту атаку: всех не пожалеешь.

Но жена не унималась:

— Всех-то ты жалеешь. Только и делаешь, что говоришь да пишешь о любви к людям. А вот на деле любовь к человеку проявить — к живому, к конкретному…

И тут жена вдруг расплакалась:

— А ты забыл, забыл, что сделала для меня Мария Тихоновна? Да если бы не она, может, меня на свете сегодня не было…

Были, были черные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию — на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опубликовать… А через день та же самая кафедра вынесла решение: защиту диссертации отменить. И из-за чего? А из-за того,

что накануне было партийное собрание университета и на том собрании выступил какой-то молодчик из породы так называемых бдителей. Потрясая с трибуны авторефератом диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего докатился филологический факультет, кому доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину всенародного подвига отсиживался у немцев.

И напрасно, напрасно жена стучалась во все двери, искала справедливости, взывала к своим товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по своей воле она, девчонка, два года заживо умирала в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли.

И вот в это самое время, когда все рушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, в это самое время ей и попалась на пути Мария Тихоновна.

Не знаю, до сих пор не знаю, чем так помогла жене Мария Тихоновна. Да и могла ли она вообще помочь, если говорить начистоту? Не то делопроизводитель, не то какая-то секретарша заочного отделения, а в общем, как говорится, из малых мира сего, — да что она могла сделать для жены? Какую такую особую роль сыграть в ее судьбе?

Я, однако, никогда не старался прояснить все подробности и детали этой истории. Во-первых, не хотелось лишний раз травмировать жену, а во-вторых… А во-вторых, надо правду говорить: в те трудные дни я и сам не лучшим образом вел себя. Меня в те дни тоже захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мною все двери.

Слезы, сознание до сих пор не выветрившейся полностью вины сделали свое дело, и в конце концов я махнул рукой: быть по-твоему! Пойдем, пойдем на юбилей.

2

Вечер был — чудо. Золотой закат во все ленинградское небо, пушкинская Нева с каменными сфинксами, которые нездешними, загадочными глазами вглядывались в медленно наплывавшую на город белую ночь, первые цветы, первая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от дневной жары и дымящиеся легким парком после полива…

И мы шли с женой по этому сказочному городу, наслаждались всей окружающей красотой, и я был счастлив. Счастлив от своего великодушия, от своего благородства, от того, что я не зачерствел, как другие, душой, откликнулся на простой человеческий зов. И я представлял себе, как обрадуется сейчас старуха, увидев меня в дверях, какой переполох вызовет мое появление у ее невзрачных подруг — всех этих секретарш, делопроизводителей, лаборанток…

Так мы дошли до Дома ученых на Дворцовой набережной, и тут я опять, который уже раз за сегодняшний вечер, посмотрел на жену: не ошиблась ли она? Действительно ли в этом роскошном дворце назначен ужин? Ведь сюда даже известные ученые далеко не всегда могут пробиться.

Жена ответила уже известным мне доводом:

— Да говорю тебе, все дело в столовой. Тут хорошо кормят и недорого.

Однако, когда мы вошли во дворец, столовая, по словам мордастого раззолоченного швейцара, была уже закрыта и единственный банкет, который проводился сегодня в Доме, был на втором этаже, в главном банкетном зале.

В величайшем смущении, сопровождаемые подозрительным взглядом швейцара, мы по

широкой мраморной лестнице, устланной коврами, поднялись на второй этаж и вступили в непривычный, сказочный мир дворцового великолепия.

«Ерунда, ерунда какая-то», — оробело твердил я про себя и, уж не помню как, открыл какую-то дверь. Открыл и буквально замер: такое праздничное сияние огней, такое праздничное многолюдье увидел в зале. И кто, кто восседал в центре этого многолюдья, за главным столом, утопавшим в цветах? Мария Тихоновна, моя соседка по двору, в своем неизменном синем пиджаке.

3

Я начал понемногу приходить в себя, уже сидя за столом. Много, много было гостей! Профессора, доценты, ассистенты, аспиранты. С геологического, с географического, с биологического…

Многих из них я знал лично, уже сколько лет встречаясь на разных собраниях и совещаниях. Но тут было немало и таких, кого я видел впервые, кто жил и работал, как я узнал от своей соседки, дамы строгой и сердитой, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Кольском полуострове.

И что же, они специально приехали на этот вечер?

— Ну а как же! Да на юбилей Марии Тихоновны люди с того света приехали бы, а уж с этого-то что.

К нашему приходу (а мы с женой, все по тем же моим амбициозным соображениям, опоздали на сорок минут) главные речи и тосты были уже произнесены, и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то тут, то там, как шампанское, выплескивались через край.

— Мария Тихоновна, вы были для меня как родная мать! Честное слово!

— А я Марии Тихоновне обязан жизнью… В тридцать третьем году меня исключили из комсомола, а значит, и из университета, как сына кулака… И если бы не Мария Тихоновна…

Голос говорившего дрогнул.

— В общем, так: первую свою дочь я назвал Марией, и мой сын свою первую дочь тоже назвал Марией. И я хочу, чтобы обе мои Марии хоть немного, хоть капельку походили на вас, Мария Тихоновна…

— А я на всю жизнь запомнил слова, которыми меня Мария Тихоновна вытащила из беды: «Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже…»

— Товарищи, товарищи… — Мария Тихоновна

поднялась. — Нельзя же так. Это уже похоже на культ.

По столам прокатился смех, хохот, затем известный ученый-географ Василий Павлович, как бы подводя итоги, сказал:

— Наши дела, дела людей науки, измеряются статьями, книгами, открытиями, а чем, какой мерой измерить дела души, дела сердца?

Кто-то за дальним столом от полноты чувств закричал:

— Предлагаю учредить новую ученую степень — степень доктора доброты и человечности и первой присвоить эту степень нашему юбиляру!

Я посмотрел на жену — в глазах у нее стояли слезы, да у меня и самого горло перехватывало, и вдруг я понял, что значила Мария Тихоновна в жизни этих людей.

Дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как «сострадание», «милосердие», «жалость». Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов. И сколько человеческих сердец отогрелось, оттаяло возле нее! Сколько отчаявшихся воспрянуло духом!

Между тем волны всеобщего энтузиазма, которые одна за другой обрушивались на Марию

Тихоновну, стали понемногу стихать. Подвыпившие гости, как это всегда бывает на банкетах, начали члениться на группы и группки, пошли разговоры уже свои, не имевшие прямого отношения к юбилею, потом кто-то завел радиолу, и вот уже две-три пары закружились в вальсе.

4

Была, была своя Мария Тихоновна и в моей жизни.

В тридцать втором году я окончил начальную школу первым учеником, и, казалось бы, кто, как не я, должен первым войти в двери только что открывшейся в соседней деревне пятилетки? А меня не приняли. Не приняли, потому что я был сын середняка, а в пятилетку в первую очередь, за малостью мест, принимали детей бедняков и красных партизан.

О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет меня повезли на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, — а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне.

Один-единственный человек понимал, утешал и поддерживал меня. Тетушка Иринья, набожная старая дева с изрытым оспой лицом, которая всю жизнь за гроши да за спасибо обшивала чуть ли не всю деревню.

Пять месяцев изо дня в день я ходил ночевать к ней. Днем было легче. Днем я немного забывался на колхозной работе, в домашних делах, — а где спастись, куда убежать от отчаянья вечером, в кромешную осеннюю темень?

Я брел к тетушке Иринье, которая жила на краю деревни в немудреном, с маленькими старинными околенками домишке. Брел по задворью, по глухим закоулкам, чтобы никого не встретить, никого не видеть и не слышать. Нелегкое было время, корежила жизнь людей, как огонь бересту, — и как было не сорвать свою ярость, не отвести душу хотя бы и на малом ребенке?

И вот только у тетушки Ириньи я мог отдышаться и выговориться, сполна выплакать свое неутешное детское горе…

Танцы продолжались, моя жена тоже была в кругу танцующих, и за столом, похоже, остались мы вдвоем — я да Мария Тихоновна.

Мария Тихоновна сидела напротив меня, задумавшись и подперев щеку рукой. Широкое,

скуластое лицо ее окутывал полумрак (свет для уюта пригасили), и я залюбовался ее прекрасными голубыми глазами…

Где, где я видел раньше эти глаза — такие бездонные, кроткие и печальные? На старинных почерневших портретах? Нет, нет. На иконе Богоматери, которую больше всего любили и почитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи…

Марии Тихоновны давно уже нет в живых, и я даже не знаю, где покоится ее прах. Но в те дни, когда мне бывает особенно тягостно и безысходно, я вспоминаю ее юбилей.

1979

Самая счастливая

Нас от отца осталось — полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Матенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.

Ну долго ли, коротко ли — рассовала нас по людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.

Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь — ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа — хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выполощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.

Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.

А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть — подошло воскресенье, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка — собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где — работники глазами едят, по коридору ступишь — монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую — снопом летит.

Ядрена, ядрена была, не обидел бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет ворочала, ну а супротив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех — и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел, и делай что хошь — ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

Забрюхатела.

Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать — это старику-то моему, — мне и в голову не приходило. Из хорошего житья парень, первый жених на деревне — да разве ему с Олениной девкой вожжаться? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.

А Олексей узнал, что я забабилась, — к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки, никого брать не буду.

Те его и лаской и таской, и добром и батогом — горячий отец был, ну Олексей на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.

Отец распалился.

— Ах так! — говорит. — Отец-матерь тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.

И не дал. Мы три года в черной бане жили, три года дымом давились. Первую-то квашню я в чем, думаешь, развела? В шайке, из которой в бане мылись.

Олексей — спать ложиться: «Пой, женка!» Да я, веришь ли, сроду так не певала. Вся деревня выходила на улицу нас слушать. «Окулька-то, говорят, не диво, что поет. Той как не петь, лучше-то не живала, смалу в людях. А Олексей-то чему радуется?»

А мы с Олексеем быстро на ноги встали. Дом выстроили. Одни, всем в удивленье. Я заместо напарника была — и под дерево, и на дерево. Да, бревна вместе с Олексеем подымала и на углу с топором вместе сидела. И опять, бывало, вся деревня глаза пучит: ведь ни в жизни не видали, ни в сказке не слыхали, чтобы баба с топором

управлялась.

Дом построили, хозяйством обзавелись, к нам и свекор-гроза пожаловал.

Старик беспомощной стал да слепой еще — кому такой надоть? Все три сына отказались. Иди, говорят, теперь к Олексею. Ты у его еще не жил. А как к Олексею-то идти, когда он его из дому выгнал, иголки не дал?

Я утром вышла — кто у нас на крыльце сидит? А то свекор. Колотиться-то не смеет, вот и сидит на крыльце. А холодно. Зима. Самые раскрещенские морозы.

Я старика на руки, да в избу, да на печь. А потом напоила, накормила да в бане намыла — его вошь съела. Ну дак уж он как малый ребенок плакал:

— Прости, прости, Окулина. Я не воздал тебе за твою доброту, дак пущай хоть бог воздаст.

И вот не знаю, свекор ли намолил мне счастья (набожный был старик, не то что я, монастырка, так меня в деревне-то кличут), судьба ли у меня такая, а я самый счастливый человек по деревне. На войну четыре человека из моего дома уходило — муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. А Олексеевы братья все там остались. Да что говорить? Три с половиной мужика по всей деревне вернулось, а у меня все четверо — это ли не счастье?

1939, 1980

А война еще не кончилась

У Степанищевых опять крик-ор: пьяный Витька пристал к матери — выложь да подай три рубля на бутылку!

Наталья, с весны больная, прочно оседлавшая койку, отбиваясь от сына, в который раз твердит одно и то же:

— Да где я тебе три-то рубля возьму? Двадцать рублей пензия — ты мне еще должен приплачивать.

Но разве Витьку словом проймешь? И тогда от бессилия, от безнадежности она начинает плакать:

— Я не знаю, в кого ты только и уродился такой. Отец не пил, дедко не пил…

— В тебя! — выпаливает, зверея, Витька.

— В меня? Да я в жизни этой отравы в рот не брала.

— Ты блядовала!..

— Что ты, что ты, собака… Как у тебя и язык-то повернулся такое матери сказать. Когда мне блядовать-то было? Двадцати семи от мужика осталась, а вас у меня четверо, горох горохом…

— Вот в это самое время ты и блядовала. — И тут

уж Витька пускает пьяную слезу. — Родной отец, понимаешь, за родину на фронте умирал, а ты в это время с Митькой-матаэфом…

У бедной Натальи нет слов, чтобы заткнуть бесстыжую глотку сына, и в ответ она только издает стон.

— Брось, брось комедь ломать. Сам видел. Раз с ребятами подрались из-за молока в телячьей шайке (вот как я в войну-то жил, с телятами из одной шайки питался!), побежал к тебе на другой конец коровника: мама, помоги. А как мама поможет, когда ее Митька-матаэф в траве валяет. Только ляжки белеют. Дак каково, думаешь, мне было? Семь лет от роду, а я все понимал… Все… И отец на фронте… А ты еще говоришь, почему пьяницей стал. Да ты скажи спасибо, что я убийцей не стал!

Наталья — ни звука. Даже стонать перестала.

— Ну что, захлебнулась? Нечего сказать?

— Рожа ты, рожа бессовестная… Да я ведь под Митьку-то ложилась, чтобы тебя, ирода, спасти.

Витька оглушительно хохочет на всю избу.

— Вот это да! Вот это высказалась! Мы, дурачье, до ее думали: на фронте нас отстаивали, отцы да браты. Враки! Под бугаем Митькой главное спасенье было…

— Ты войну-то запомнил, как у телячьей шайки от голода спасался да как на фронте мужики сражались. А про те сражения, которые в нужнике были, помнишь? Помнишь, как в нужнике кровь проливали?

— Ну, мамаша, даешь сегодня! В нужнике сраженья… В нужнике кровь проливали… Ха-ха-ха.

— Не скаль, не скаль зубищи-то. С голодухи-то, бывало, чего в себя не затолкаешь. И мох, и траву, и кашу сосновую. А как вытолкать? Утром-то встанешь — вся деревня стоном стонет, все нужники в крови. Вот матерь-то у тебя и ложилась под Митьку, чтобы ты мог без крови да без крика на двор сходить.

— Интересно, интересно…

Наталья поднялась, села на койке, отыскала сухими, раскаленными глазами сына, паясничавшего возле стола.

— Да кабы я знала, что такие попреки от тебя услышу, да я бы лучше своими руками тебя тогда удушила.

— А ты что же думала — благодарить тебя за то, что ты под Митькой валялась?

— А вот и благодарить. Всей деревне благодарить от века до века! И те, которые здесь живут, и те, которые по городам. Где жизнь-то в войну

в деревне была? Возле коровьего вымени, возле молока. Вся мелюзга, весь люд к скотному двору жался — коровы-то не у многих-то были. А тут Митька с войны заявился — всю жизнь в свой кулак зажал, над всема коровами, над всема скотными начальник. Матаэф. Вот твоя матерь и прикрыла всех своим телом. Валяй, топчи, сволочь поганая, стерплю, зато мои ребята с голоду не подохнут, зато мои ребята на двор утром сходят, кровью в нужнике не изойдут.

Витька, по-прежнему ухмыляясь, хотел было что-то возразить, но тут Наталья с неожиданной резвостью вскочила с койки, схватила со стола пустую увесистую бутылку:

— Вон, вон из моего дома! Чтобы духом твоим здесь больше не пахло, чтобы ноги твоей никогда не было!

И под напором этой невиданной доселе материнской ярости Витька отступил — как пробка вылетел из избы.

А через час он возвратился, заметно посвежевший, приготовившийся к новой осаде матери, и Наталья при одном виде уверенно ввалившегося в избу сына сдалась — достала с высохшей груди последний, вчетверо сложенный трояк и бросила на пол.

1978–1980

Бабилей

На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: «Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать».

Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу — у кого взять?

На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей («Ветерок» мотор), мы быстро, за считанные минуты, отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег — и в деревню.

И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услыхали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:

— На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали — на бабилей.

— На бабилей? На какой бабилей?

— На какой, на какой… Какой бывает, когда человек на пензию выходит.

— На юбилей?

— Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто́ и понимам.

Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала — по каким-то бабилеям ездить.

Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:

— Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пензию на той неделе вышла. Пять десятков женке стукнуло. Наказала: приезжай, и никаких, а то и за родню признавать не буду.

И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:

— Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Плясали всем скопом, всем застольем: бабы, девки, ста-

рухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой — сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.

— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место!

Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды, да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы,

эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:

— До дна, чтобы муха ног не замочила.

— А где сами-то хозяева? — спросил я на ухо у Евстолии.

— Чего, чего?

— Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. — Говорит, где хозяйка да Гордя.

— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на

моей памяти не поднимался, инвалид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.

— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то поднята! — расчувствовалась Евстолия. — Хоть снова замуж выходи.

— Дак ведь пензия у ей не наше горе, — сказала Маланья, та речистая старуха в повойнике с золотым донышком, — не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.

— Заслужила! — трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).

— Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, — начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). — Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.

— А где у тебя сам-то?

Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.

— А сам на повети! — весело ответила Катерина.

— На повети? Чего там делает? Деньги зараба-

тывает, пока жена гуляет?

— Молчи ты, — замахала руками Маланья. — С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.

— Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала — от Горди выходной взяла.

— Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.

— Гордю не трогать! — вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.

— Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, — опять перешла на елейный тон Маланья. — Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?

— Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.

— У-у, у-у, беда! — стоном простонал стол. — Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она — дюжину!

— Да, я уж не видывала Катерину в простое. Все с брюхом!

— И правильно! Посуда не должна быть в простое.

На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:

— Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?

Катерина разудало крикнула — нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:

— Девки, мясо на стол!

— Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.

— В председатели надоть! — поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, — гроза старуха. — А то всю жизнь из-за моря телушку возим.

— Верно-о-о!

Тем временем две дочери Катерины — просто замухрыги невзрачные по сравнению с матерью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах — культурные, в городе живут, — принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся — у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, — вдруг взъярилась:

— Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?

Одна из дочерей с укором покачала головой:

— Красиво, больно красиво налакалась!

— А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!

— Мама, да ты с ума сошла! — Это уже другая

дочь попыталась утихомирить разошедшуюся мать. Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:

— Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.

Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом — Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, — тоже что-то вроде оцепенения наступило.

Катерина вдруг расплакалась:

— Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!

— Ты-то, ты-то отчаянная?

— Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.

— Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у его в кажной деревне наследники да девки.

— Нет, бабы, не вру, — сказала Катерина. — На войну-то, помните, сколько от нас уходило? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были.

Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.

— Мама…

— Да чего — мама? — накинулась на дочь Катерины Маланья. — По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать? Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? — И вдруг рассмеялась: — Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот тебе бог.

— Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдержала, — призналась Евстолия.

— Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала. Шестнадцать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшего. Смотрю, все грабятся за него — и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. «Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?» — «Да ты соплюха еще». А я и взаправду соплюха против его — двадцать семь мужику. Ну, отступать поздно, заело меня. «А ты спробуй, говорю, какая я соплюха». А он на смех: «Летай, летай, гулюшка».

— Сознательный был?

Катерина не очень весело рассмеялась:

— Сознательный. Шагов-то пятьдесят отошел, нет, от меня, да и назад. А через месяца четыре — чего у меня пояс не застегивается в прежнюю дырочку…

— Мама… — подала опять предостерегающий голос одна из дочерей.

— Да чего ты мне все рот-то затыкаешь? Ты, ты запузырилась у меня в брюхе! Да, вот какая я дура была, женки. Ну уж потом-то, когда поняла, попереживала я. Сережка — в седьмом классе вместе учились — с войны пишет: пришли карточку, другой парень — пришли. А я с брюхом, и меня брать не хотят. Ну тут уж народ, люди за меня вступились: «Что ты, говорят, рожа бесстыжая! Ребенка совратил да еще рыло воротишь». Взял меня Гордя. Второй женой…

На синих глазах разволновавшейся, разалевшейся Катерины навернулись слезы.

— Он ведь, дьявол, с продавщицей жил, с евонной матерью. — Она кивнула на гармониста, белобрысого крепыша в белой нейлоновой рубашке с черным галстуком. — Пять лет мы делили его с ей. У ей приманка надежная — вино, а у меня чего? Мне на какой привязи его держать?

Ладно, — круто оборвала себя Катерина, — хватит слезы лить. Сегодня праздник у меня, а не причитанье. — И тут она выскочила из-за стола, лихо топнула ногой: — Играй!

Гармонист заупрямился: не буду, раз так про мою мать.

— Чего? Не будешь? Играть не будешь?

— Валерко, сволота! — Евстолия, добрейшая Евстолия так рассвирепела, что обеими руками вцепилась в братынь с пивом. — Ты кому это отговариваешь? Кто тебе матерь-то?

— Нехорошо, нехорошо, Валерий Гордеевич, — поддержала ее Маланья. — Не та матерь, которая родила, а та, которая вспоила да вскормила. А ты ведь, Валерушко, к Катерине-то начал бегать, как ножками заперебирал.

— Матерь вспомнил! Да твоя матерь только и знала, что за штанами охотилась. Сколько она нашего брата разорила, дак это и страсть.

— Так, так. Погань, а не человек. А ты-то, материн заступник, чего к ей дорогу забыл?

— Да, да! К кому ездишь-то! У кого отдых имешь кажинное лето?

— Да не один еще, а с робятищами!

Пристыженный, под орех разделанный бабами, Валерка нехотя растянул гармонь.

— Не покойника, не покойника провожаем! Играй, дьявол! — все с той же непримиримостью закричала Евстолия. Затем сняла с головы платок, вытерла распаренное лицо, белую полную шею — душно было в избе, несмотря на то, что все окна были открыты.

— Вздумал за матерь заступаться. Знаем лебедушку — вороньи перья. Да я бы на Катерининой месте ни одного Гординого выб… на порог не пустила. Эта вот вся выставка-то за столом, — Евстолия, ни на каплю не сбавляя тона, очертила рукой широкое полукружье, — думаешь, механизаторы местные? Ни одного в Юрмоле нету. Скоро всю деревню прикроют. Из города все. Гордина работа за тридцать лет. От пяти але от семи матерей, а то и боле. Добрый батько. Принимай, Катерина, все лето. Пой, корми, ублажай. А они все лето телеса на берегу жарят. Посмотри-ко, когда днем солнышко, лежбище в песку-то выбито. А то опять грибы да ягоды заготовляют. К осени-то в город поедут, со всех сторон обложатся корзинами да ведрами.

Валерку все же растрясли бабы — заиграл. Сперва, правда, — и у татьки дрова, и у мамки дрова, а потом разошелся. Катерина разожгла.

Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний

всяких. И профессиональных, и самодельных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей — сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

— Смотри-ко, смотри-ко, — зашептала мне на ухо Евстолия, — ведь она с дочерями поменялась. Дочерям надо на пензию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жиловатые, с обломанными ногтями, руки, которые за всю жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий… И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами

Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

— Мама, мама, срамница! Не смеши ты людей-то, бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

— Цыц меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

— Дуй, дуй, Катька! — выкрикнула Маланья.

И, раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

— Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

— Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом притопывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу — невмоготу стало в распаренной, как баня, избе, — началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья, пошла в пляс.

— Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передыху. Три гармониста сменились за это

время — у Горди все сыновья пилили понемногу, самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончавая бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояском, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из поскотины.

— Ну, Малька, Малька, — сказала Катерина, тяжело переводя дух, — не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

— Да что ты выдумываешь-то? — сказала Маланья. — Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за матерь не подоят?

Катерина осталась — к корове пошли дочери.

— Играй! Выворачивай меха наизнанку! — распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

— Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно наскрозь не пробить.

— Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни — похоже, там с добрый десяток на разных

скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмоле редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины — «Солдат вернется…».

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни одной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина — разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пировала птица мира…

Старая Маланья первая не выдержала — расплакалась:

— Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная деревенка…

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завыли, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулок к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия:

— Вставай, дезертир! Вчерась бабы спохватились: где у нас писатель-то? А писатель, на-ко, на сеновал уполз — не сыпáл бедный.

Я поднялся на великую силу, ибо заснул под самое утро. Одолели комары — три часа, наверно, с ними воевал: поветь была ветошная, дыра на дыре.

Над головой, за старыми вениками, висевшими с прошлого лета, кто-то, показалось мне, вроде как всхлипывал — жалобно, по-ребячьи, и я, натягивая куртку, озадаченно уставился на Евстолию.

— Дождик, дождик, слава богу, — сказала Евстолия.

— Дождик? — переспросил я и первым делом подумал, как мы будем добираться домой.

Умная Евстолия угадала ход моих мыслей:

— Ладно, давай, не сахарные. Не размокнем. Надоть дождик-от. Может, хоть картошки сколько подрастут да какой гриб в лесу заведется.

Вскоре, слегка отмякнув под теплой грибной моросью, мы входили к Юшковым: Евстолия и слышать не хотела, чтобы уехать, не попрощавшись: «Что ты, нелюди мы, что ли. Знаешь, ей какая обида будет. Да и голову поправить надо. У меня раскалывается голова, не довезти

до дому».

У Юшковых пили чай. Пять мужиков, шесть подростков-акселератов (те же, в общем-то, мужики, только с пушком на верхней губе да пустыми рыбьими глазами), две дочери, три невестки и сам — на хозяйском месте, сбоку стола. Мрачный, с сивой всклокоченной головой, с пустым, обвисшим, как тряпка, рукавом мятой-перемятой рубахи, расстегнутой на весь ворот.

Подавала на стол Катерина — я узнал ее по серебряному колечку на тяжелой черной руке, а так — что осталось от вчерашней красавицы? Старуха. Какое-то выцветшее, обвисшее на боках платьишко с обтрепавшимся подолом, растоптанные, с обрезанными голяшками валенки на босу ногу, серый, в мелкую клетку платок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад.

Эта крутая перемена в Катерине поразила не только меня, но, видимо, и Евстолию, потому что она, такая учтивая, на этот раз позабыла и поздороваться при входе в избу. И только когда Гордя хмуро повернул к нам голову, не очень приветливо сказала:

— Хлеб да соль.

— Хлеба ись, — гаркнул пропитым голосом Гор-

дя и вдруг с надеждой взглянул на меня. Евстолия разразилась бранью:

— Кой черт глазища-то вылупил? Думаешь, у писателя-то бочки с золотом? Не писатель тебя должен угощать, а ты писателя. Не стращай, не стращай меня своим кощейным-то взглядом! — замахала руками вконец распалившаяся Евстолия. — Не испугалась. Не таких змиев на своем веку видала! Пойдем! — гневно крикнула она мне. — Кончился бабилей. — И, не попрощавшись, даже не взглянув на Катерину, выскочила из избы.

Заговорила Евстолия, когда мы перешли улицу да спустились к баням, от которых густо несло застарелым банным духом — дождь обостряет запахи:

— Ух, коль мне бедно на этого дьявола, дак я не знаю, чего бы с им сделала. Это ведь чего он на тебя глаза-ти распахнул? Бутылку, думал, поставишь. Вот какая он сволота — наскрозь его, гадину, вижу. Ну и ту, дуру, не хвалю. Господи, вчерась была — загляденье, краше-то ей на свете нету. А сегодня опять вехоть под ногами у Горди да у евонных выб… Это ведь чего, думаешь, она платом-то со всех сторон обвязалась, глаза прячет? Гордя фонарей наставил.

— Ну уж!

— Чего ну уж-то? Не знаю разве. Проснулся утром — вчерась ящик вина был але два, а сегодня и наперстка нету. Вечор то сучье-то племя все до капли вылакало, такие они, все в Гордю, не успокоятся, покуда все не осушат, а спрос с кого? С Катерины. Ты, мать-перемать, така-эдака…

Дождь разошелся не на шутку. Старенький, неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?

— Я не знаю, не знаю, что мы за люди, — все больше и больше распалялась она. — Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала — дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечор был? Солнышко, кажный листышок играет, кажная птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людями были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катерининого-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от

нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы жизнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать, раз вы ни черта не можете.

К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела.

— Чего все молчишь? — Это уже за меня она взялась. — Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели — на ладан дышит. Бабы ко мне о Первом маи заходили, еще тогда говорили: «Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скоро выгонять будут». А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдох. Разве умер бы, кабы с людями поговорил? Вчерась тебя спохватились: где писатель, где

писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться.

Мы не сразу спихнули лодку — нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села на скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.

1976–1980

Куст рукотворный

Ивану Андреевичу Данилову,
народному учителю

От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего шестьдесят километров, да и то рекой, а почтовым трактом, или горой, как больше говорят на Севере, и того не будет, а у меня такое ощущение было — на другую планету попал: везде, по всем деревням (а Слуда — это целый куст деревень) гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство! Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и стар и мал, выезжают на пожню.

Поразил меня и зеленый наряд Слуды.

В Пеше в жаркий летний день сгоришь, покамест от одного конца до другого доберешься: ни одного кустика. А тут, в Слуде, тополя над головой. Кипят, шумят на ветру — не то стая птичья крыльями бьет, не то море волной играет.

Я не сомневался: виновник всему в Слуде директор совхоза Василий Степанович Латышев. Двадцать пять лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза (вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг), а ныне весь район к нему учиться ездит — какая еще аттестация нужна?

И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович.

— Хорошо бы, хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, — сказал он с легкой усмешкой, — да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.

— А от кого?

Василий Степанович хитровато прищурил свой серый, немного раскосый глаз и вдруг выпалил:

— От куста!

— От куста?

— Вижу, вижу: сказки рассказывает Латышев. А может, и сказки. В Слуде не приходилось бывать раньше? Ну, твое счастье. Сахара. Песчаный остров. Старики свинью своим внукам подложили — построились на песчаном холме, думали: вот мы сколько хорошей земли сэкономим, самого господа перехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого начала четкое указание дал: возле воды

строиться. А тут один песок. Ничего у дома не вырастишь, ни репки, ни ягодки. В солнечный день с потрохами сгоришь. А ежели ветер — опять ад форменный: с закрытыми глазами, на ощупь по деревне ходишь. Ну и ясно, пока был у нас прижим, кое-как и Слуда чадила. А потом вожжи маленько поослабили — все, как тараканы из холодной избы, поползли. Кто куда. Кто в город, кто в леспромхоз. И до того Слуда обезлюдела — корову подоить некому. А начальство требует: дай работу в колхозе на полный ход, потому как леспромхоз кормить надо. А леспромхоз — это кубики, валюта. Вот ведь какая тут диалектика природы… Первым делом, конечно, по кадровому вопросу ударили. После войны за семь лет одиннадцать председателей сменили. Раз даже первого секретаря райкома поставили. Это уж секретарь обкома один хватил. Приехал в Слуду порядки наводить. Сам. А там, в Слуде, незнамо что. Вот он и психанул. «А, говорит (это секретарю-то райкома), раз толкового председателя подобрать не можешь, сам в сани впрягайся!» Ну, результат тот же — через полгода и секретаря выпрягли, то есть прогнали. А сколько, ты бы знал, всякого добра в эту Слуду свалили! Техника, денежные ссуды — кому в первую очередь? Слуде.

Шефская помощь и всякая дармовщина? Слуде. Налоги скостить, недоимки списать — с кого? Со Слуды. Ну все равно, все никто не хочет жить и работать в Слуде. И вот в это самое время, когда уж, можно сказать, саму деревню решили срывать с лица земли, в Слуде и грянула «Аврора»...

Василий Степанович откинул со лба черное, с густой проседью крыло волос, вяло махнул рукой.

— Какая там «Аврора»?.. Сноп хворостин, вот эдаких вот виц саженных. Старый учитель выстрелил. Я по первости, когда его увидел — идет, сгибается под этой ношей, — даже подумал: ну, допекло и старика. Решил, видно, перед тем как концы отдать, порку всем задать. Так сказать, на прощанье. Да, я в то время как председатель по Слуде в мыле бегаю, бабенку какую-нибудь ищу, чтобы на скотный затолкать — второй день коровы не доены, — а старый учитель, Прокопий Алексеевич Потанин, с этим вот снопом хворостин тоже обход по Слуде делает: кустики-тополюки возле домов уговаривает выращивать. Я от злости просто света белого невзвидел, просто ногами стоптал. А как? Подо мной земля рушится, у меня коров некому подоить, а тут о каких-то кустиках... Да выйди за деревню, там

этих кустиков видимо-невидимо! Все поля завалило. А Прокопий Алексеевич мне и отвечает: «А напрасно, Василий Степанович, вы против кустиков-то. Я, говорит, зеленых помощников вам хочу дать». И дал.

Василий Степанович порылся в письменном ящике, вытащил изрядно потрепанную, в клеенчатой обложке тетрадь.

— Вот тут вся история превращения нашей Сахары в зеленый сад. Смотри — список хозяйств деревни, у кого сколько кустов и когда посажены. А вот по годам да по числам — полив. За пятнадцать лет изо дня в день. Ничего учетик? И так до самой смерти, с ранней весны до поздней осени. Сперва доказал, что на наших песках тополя растут, а потом — самое главное — чтобы возле этих тополей грядки зеленые завелись да ягоды, да овощи заросли… Всего было у нас — и смеха, и горя. Иной бы: да иди ты к богу в рай со своими кустиками! Не до кустов мне. А потом как одумается, кто его просит, — и забегал. А как? Как старому учителю отказать, когда он и детей твоих учил, и тебя, и жену? Да Прокопий Алексеевич больно-то и не упрашивал. Не хочешь? Лень-матушка заела? А ну дай мне, старику, ведро, сам схожу за водой. Вот так он на старости лет своих

бывших учеников воспитывал.

Василий Степанович потряс тетрадкой и рассмеялся:

— А я, между прочим, тоже под учетом у Прокопия Алексеевича состоял. Есть в этой тетрадочке и фамилия директора совхоза. Теперь вот скоро на пенсию выходить, жена: давай поедем на родину, — а я так, пожалуй, тут, в Слуде, намерен остаться. Выходит, Прокопий-то Алексеевич и меня посадил на свой зеленый якорь.

Мы вышли из конторы уже на закате. В заметно посвежевшем воздухе было тихо — ни единой ветриночки. Но верхушки тополей, облитые розовым светом, волновались, и Василий Степанович, задрав кверху голову, сказал:

— Думаешь, это тополя рокочут? Прокопий Алексеевич наказы мне дает. На завтра.

Помолчал и уже тихо, на полном серьезе:

— Вот так каждый вечер. Всю страду.

1978–1981

Жарким летом

1

Столярка у Аркадия была на задах, под одной крышей с баней и погребом, и велика ли хода от нее до дома, а он вот как уплясался за день у верстака — крыльца не мог одолеть без передыху.

Шумно, как загнанный конь, отдуваясь, он вытер ладонью худое запотелое лицо, посмотрел за реку. Солнце садилось в ельник, но жара еще не спала и картофельная трава в огороде как обвисла тряпьем после полудня, так и висела. Не предвещал никаких перемен на завтра и пес, развалившийся прямо на земле возле дома.

Обычно, когда вечером он переступал порог кухни, на него с криком, с гамом вешались дочери — четыре кобылы сразу, — да еще мать иной раз в детство впадала, а сегодня ни одна с места не сдвинулась.

— У вас что — собранье или забастовка ныне?

На шутку никто не откликнулся.

Почувствовав что-то неладное, Аркадий окинул взглядом дочерей — по всей кухне вразброс сидели, — поискал глазами старшую.

— А та где? Не вижу.

Опять экзамен на выдержку.

— Я спрашиваю, Гелька где?

— Ушла, — не сразу ответила Фаина.

— Куда ушла? Я, по-моему, ясно сказал: никаких гулянок!

— К отцу ушла… — опять с оттяжкой ответила жена. И вдруг всхлипнула, а вслед за ней прорвало и девок — в три трубы заревели.

— Ладно, — отрубил Аркадий, — с возу упало — кобыле легче.

Первым делом он, как всегда, оседлав скамеечку возле печи, снял прокаленные за день ботинки, затем начал было расстегивать широкий брезентовый пояс, к которому был прикреплен протез — две металлические шины, подпирающие больную ногу, — и вдруг заорал на всю кухню: по горячей кирпичине голой спиной шаркнул.

— Ты калишь печь-то — крещенье на улице?

— Дак ведь как… Исть-пить надо…

— Исть-пить… А вы чего расселись? — накинулся он на дочерей. — Делать вам нечего? Отец с работы пришел, а у них еще и стол не накрыт.

— Сейчас, сейчас накроем, не успеешь руки сполоснуть. — И Фаина, несмотря на свою полноту, с

живостью бросилась хозяйничать.

— А их куда берегешь? — еще пуще прежнего заорал Аркадий, кивая на дочерей. — Что за порядки новые завели? Мать с утра до ночи убивается, а они диван давят.

За столом сидели как на похоронах. У Аркадия жара изнутри поднялась — пять стаканов чая подряд выдул, и все равно не помогло, пришлось холодянкой заливать.

— Ну, каковы на сегодняшний день трудовые успехи? — вопросил Аркадий, когда, вытерев полотенцем пот с лица, с шеи, опять сел на свое место.

— Какие успехи… — ответила за девок Фаина. — Та ушла… мы с ума сошли…

— А тебе-то чего с ума сходить? Мати ты ей родная, чтобы с ума-то сходить?

— Мати не мати, да об ей перва забота была. Какая копейка в доме завелась, кому чего бы купить, нет, стой: Гельке. Гелька у меня в девки выходит.

— Вот и дура! Не теперь у людей сказано: сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.

— Папа, а ты бы съездил в Горки-то, — захныкала самая малая.

— Зачем? Чего я там не видал?

— Дак, может, Геля-то еще там, не уехала…

— Да вы что?! За кого отца принимаете? Игрушка отец-то вам? Так вот сел в лодку, мотор завел и покатил: не угодно ли вашей милости на прежнее местожительство?

— Ну и что… А как мы без Гели-то?

— Как, как… А как она без вас, так и вы без ей.

— Папа, съезди за Гелей… Папа, привези Гелю…

Заголосили в три голоса. И даже не заголосили, а затрубили.

Хотел, хотел он было сегодня вечером передышку сделать, хотел было «Технику — молодежи» почитать, свежий номер вечор привез из Горок, и ноге больной покой требовался, но разве его доченьки об отце думают?

В общем, выскочил из-за стола как на пожар, даже не покурил.

2

Вечер не принес свежести. Лодка у реки совсем обсохла. И надо бы, надо бы дойти до реки, спихнуть ее на воду (все не так гнить будет), но он представил себе, какой сейчас зной скопился на песчаном, раскаленном за день берегу, и похромыкал в столярку.

Стоять за верстаком у него уже не было сил, и он разобрался с сеткой, которую с весны сочинял из всякого старья и хлама… Была, была у него сетка, и хорошая, капроновая, да прошлой осенью опростоволосился — отобрал рыбнадзор, а новую схлопотать не удалось, хотя кому только он не писал в город. Вот и приходится все лето мучиться, потому что по нынешним временам без подмоги реки какая жизнь? Хлеба, сахару купишь, а насчет всего прочего лучше и не думай — своими средствами добывай.

Работа по первости пошла ходко, хорошо заходила в руках деревянная игла, а потом он вдруг увидел в ногах смятый бумажный рубль (из кармана, должно быть, выпал, когда сигареты доставал) — и стоп: опять на уме Гелька. Взяла ли на автобус денег? Или гордость заела — без копейки из дому выскочила? Да и вообще, спрашивал себя немного успокоившийся к этому времени Аркадий, как все это могло случиться? Как могла ихняя семейная лодка на всем ходу развалиться?

Ну, он себя не хвалит: псих. Под горячую руку может наломать дров. А у нее-то, у Гельки-то, где ум? Раз видит, отец распсиховался…

Э-э, да какой ты, к дьяволу, отец! Отец-то у нее на черной лакированной легковухе по району

разъезжает, а ты ей кто?

Аркадий устало перевел дух, помахал рукой в запотелое лицо.

Жара, жара во всем виновата. После Петрова дня ни одного дождя за целый месяц не было, даже в Ильин день не помочило — вот какой нынче год, — и все, и люди и животина, измаялись до крайности. Сегодня, к примеру, за ночь он пять раз курил — ну и ясно, что утром не успел протез надеть, был на взводе.

А началось все… все началось с семейного наряда.

Четко, ясно сказал после завтрака:

— Сегодня, как и вчера, — все на пожню.

— Все, но только не я.

Аркадий по первости подумал: шутит Гелька. Сестер хочет этой перепалкой с отцом встряхнуть, ведь тех, соней, ежели с утра не растрясти, до полудня киснуть будут, — и он еще ответил шуткой:

— Ты-то как раз впереди всех и пойдешь.

— Нет, папа, я сегодня не пойду.

— Как это не пойдешь? С кем решила?

— Я на день рождения к Ире Манухиной поеду.

— Никаких дней рожденья! — уж начал закипать он.

— Но, папа, я же обещала.

— А я медицине обещал, что у верстака каждый день стоять не буду, а вот стою. Чтобы вам пить-ись что было.

— Нет уж, Аркадий Васильевич, надо отпустить девку. — Это Орефьевна, старая курва, высказалась. С утра черт принес в гости! — Девка заслужила выходной. Смалу ломит как незнамо кто…

— Поезжай, поезжай, Гелька! — поддакнула Фаина, а на то, что отец сказал, наплевать.

И у самой Гельки в эту минуту ум отшибло. Первая его помощница, первая советчица, с одного взгляда все понимает, а тут начала смеяться в лицо, да еще, как малого ребенка, по головке гладить.

— Не надо подсказывать папочке. Папочка у нас хороший. Папочка и сам отпустит.

И вот небывалое дело — схватил ремень, огрел изо всей силы.

— Папа, да ты это всерьез?

— А как ты думаешь? Меня всего трясет, колотит, а тебе — шуточки?

И, надо думать, на этом все и кончилось бы — ведь умница же! Как не понять его, дурака? Так нет, Орефьевна дубоголовая огоньку подбросила.

Прямо навзрыд запричитала:

— Что, дочерь не родная, не жалко. Кто заступится за сиротину…

— Да не сиротина она! — с новой силой взъярился он. — А ежели сиротина, может хоть сегодня же проваливать! Есть у ей отец.

…И сейчас Аркадий был уверен, что все дело именно в этих последних его словах. Не в ремне, нет. Ремень — ерунда. Боль прошла, и все. А вот когда тебя по душе бьют, когда тебе такие слова кидают… Гордая девка! Пятнадцать лет за отца почитала, пятнадцать лет думала, что я у себя дома, а чуть не так сказала — и проваливай! Вон из моего дома…

3

Аркадия Лысохина в четырнадцать лет выписали на лесозаготовки, а в семнадцать лет он уж был инвалидом: простудился на осеннем сплаве — и костный туберкулез правой ноги.

Долго, годами кочевал он по всяким больницам и лечебницам, два раза был под ножом, а когда предложили ему и третий раз на операционный стол лечь, он сказал: хватит — и поехал умирать домой.

И вот вскоре после приезда в свою Лысоху он и

встретился с фельдшерицей Тоней. Сама пришла к нему, без всякого вызова. Из соседней деревушки. И, помнится, первое, что он увидел, когда она перевалила за порог, — ее дырявые, вдребезги разбитые сапожонки. А весенняя распутица была, самый что ни на есть потоп. И он ей строго сказал:

— Не ходи больше ко мне. Мне все равно крышка, а ты в этих чеботах без ног останешься. Как я.

И еще он пожалел ее потому, что она была с брюхом — шлепнется по дороге, что будет? Криком кричать — ни до кого не докричаться.

Однако через три дня Тоня опять пришла. И опять в этих самых калеках-сапожонках. И тут уж он просто заорал на нее:

— Да ты совсем сдурела, баба! Как тебя и мужик-то отпускает в такую погоду?

— Нету у меня мужика.

— Понятно. Так сказать, невтерпеж стало — досрочно отоварилась.

Тоня расплакалась (кто бы на ее месте не расплакался), но вот какой характер у человека: в один миг все шлюзы перекрыла и так ему больную ногу обработала да промыла, что он в ту ночь спал без снотворного. Впервые за много-много недель.

Назавтра проснулся — солнце во все окна барабанит, журавли на озимях за деревней трубят — с закрытыми окошками слышно, и мать вошла с улицы — так и хлынула весна в ихнюю берлогу.

Э, да хватит тебе лежать! Вылезай на крыльцо, подыши еще напоследок вольным воздухом да полюбуйся на земную красу.

Вылез. На все предписания, на все запреты медицины плюнул, самого Евгения Федоровича побоку, а Евгений Федорович Калистратов — бог в областной больнице. И мало того что вылез. Рубаху еще с себя стащил. Пущай и кости погреются на весеннем солнышке.

Мать увидала — заругалась, запричитала: с ума парень сошел? А парень одно твердит: помирать, так помирать с музыкой.

Тоня ходила к нему целый месяц, и Аркадий целый месяц блаженствовал: стихли боли в ноге, аппетит появился, а потом настал день — и на ноги встал.

Первый большой выход, конечно, в Радово, к ней, своей спасительнице. Нашло, накатило — сдохнуть, а самому доползти до Радова.

Тоня услыхала гром в дверях — не совладал с костылями, — перепугалась насмерть:

— Ой, ой, сумасшедший человек!

— Сумасшедший? Сумасшедшие-то мировые рекорды не ставят, а я сегодня два километра за пять часов пробежал.

— Так вы это пешком? — Тут уж у Тони и вовсе глаза на лоб.

— Пешком! Говорю, рекорд скорости поставил.

— Да вам же категорически нельзя.

На Аркадия опять нашло, накатило — весь день с утра на взводе был, — выпалил:

— А раз мне нельзя ходить, переезжай ты ко мне.

— Я?

— А чего?

— Я что-то вас не понимаю, — пролепетала Тоня.

— Да чего понимать-то? Человек ей руку и сердце предлагает, а она — не понимаю…

Тоня расплакалась — ручьи по полу побежали, — а потом, глядя на него мокрыми, несчастными глазами, сказала:

— Я вам ничего худого не сделала, а вы так издеваться надо мной…

— Да я не издеваюсь! С чего ты взяла, что издеваюсь?

— Но вы же видите, какая я…

— Вижу. С брюхом. — И пошутил, чтобы как-то

приободрить невесту: — Имей в виду, эта посудина и впредь пустовать не будет.

Разговоров в этом духе было немало. Тоня заладила — на брюхатых не женятся, колом не своротить, а когда он наконец допек ее, опять мать родная взбунтовалась. И сколько ей ни доказывал Аркадий, что ежели бы не Тоня, так, может, его и в живых-то сейчас не было, укатила от срама к дочери.

А сраму действительно было немало. Потому что часто ли такое бывает, чтобы невеста рассыпалась в первую брачную ночь? А у Тони роды начались, как только переступила порог дома жениха.

4

Падчерицу свою Аркадий разглядел чуть ли не в день похорон жены. То есть видеть-то ее он видел и раньше. Куда от нее денешься? За стол садишься — глаза мозолит, и из-за стола вылезаешь — глаза мозолит. Да только внимания-то он на нее никакого не обращал. Как, впрочем, не обращал никакого внимания и на родных дочерей.

Тоня после первых родов передохнула три годика, а потом как начала выстреливать каждый год по девке (она от родов и умерла) — дай бог

силенок да ума, чтобы всех напоить, накормить да одеть, и где уж тут было думать, кто у тебя и как растет.

Смерть жены открыла Аркадию глаза на падчерицу.

Ночью в день похорон проснулся он от головной боли (на поминках стаканами давил горе) и вдруг в углу у печки услыхал плач.

Он встал, осветился спичкой. Малые, то есть родные, дочери спали — хоть из пушки пали, не проснутся, а плакала, заглатывая слезы, Гелька.

— Ты чего не спишь?

— В дет-дом не хо-чу…

— В какой детдом?

— Дак ведь я не твоя.

— Не моя? Кто это тебе сказал, что не моя?

— Орефьевна.

— Ну я ей, старой курве, ноги узлом завяжу! Ты мамина, так? А мама-то чья была? Дак соображай теперь, чья ты.

Он натянул на всхлипывающую девочку одеяло, сделал шаг к своей кровати и вернулся.

— Ну-ко пойдем ко мне, а то я тоже не могу заснуть. Мне ведь, девка, не меньше твоего маму жалко, а что сделаешь? Надо жить. Вас у меня четверо, а большая-то ты одна. Понимаешь?

Кажется, за все эти годы он впервые взял ее на руки и удивился, до чего она была легка. Как пушиночка.

В постели Геля сжалась в комок. А сама худущая-худущая, каждое ребрышко под рукой выступает.

— Да ты не бойся меня. Прижмись. К матери-то ведь жалась.

А с чего жалась-то? Всем хороша была Тоня, никогда не раскаивался, что женился, а первого своего ребенка не любила. Не любила, потому что Гелька не от него, Аркадия. Во всяком случае, он не помнит, чтобы она хоть раз когда-нибудь на его глазах приласкала старшую дочку.

И, подумав так, он обнял девочку, привлек к себе.

— Спи.

Затаилась, замерла, как воробышек, когда того накроешь рукой.

— Спи. Сколько ни убивайся, а матери не воротишь. А нам с тобой надо жить. Девок-то малых, сестер-то твоих, кто будет поднимать-воспитывать?

И тут он почувствовал, как маленькое худенькое тельце под его ладонью с облегчением начало распрямляться. И они оба заснули.

А назавтра утром встал он, встала и она. Он встал, чтобы какой-никакой завтрак, еду сообразить, ведь вот-вот раздастся: «Папа, исть хочу!» Как воронята голодные в гнезде, крик подымут. А она-то чего встала? Ей-то чего не спится?

А она встала, чтобы ему помогать.

И помогала. Ох как помогала! Он со своей клешней туберкулезной куда попал? А ведь надо воды с улицы занести, девок на горшок посадить, на огороде луку нащипать, в лавку за хлебом сбегать, овец из хлева выпустить, посуду прибрать… Все делала. И как быстро делала! Только что крутилась, вертелась возле тебя, шелестела голыми ножонками (летом не заставишь надеть что-либо на ноги: «Босиком-то быстрее, папа»), смотришь, строчит уж по дороге — за молоком побежала. Как трясогузочка, перебирает своими палочками.

И вот прошел какой-то год-два, за хозяйку стала. Даже кассу семейную незаметно для себя передал. Валяй, девка, рассчитывай, что и когда купить, а мое дело пятаки зашибать.

5

Утром он не встал к чаю — сказался больным (да у него и взаправду разболелась нога), — но когда в доме все стихло, заставил себя подняться.

Нельзя ему разлеживать! Позавчера из Горок нарочно приезжал Афанасий Фефилов, бригадир по животноводству, — давай, мол, рамы скорей для нового коровника, осень на носу — и, пополоскав теплым чаем кишки (никакая еда в горло не лезла), Аркадий вышел на улицу.

Все то же пекло, все тот же зной. У хлева, в тени, лежат овцы, совершенно обалдевшие от жары, телушка воет во дворе (тоже измаялась от духоты), за рекой канюк плачет, молит бога: дай воды. А бог, поди, с Петрова дня гуляет — некогда краны небесные открыть.

Аркадий по привычке направился было в столярку и раздумал: Орефьевна который уж день просит пол в избе перебрать. Вредная старуха. Это она настропалила девку против него, она запричитала: сиротинушка разнесчастная… Да и вообще у Орефьевны всегда он во всем виноват. А с другой стороны, как не помочь старухе, когда она всю жизнь тебя выручает! Да и патриотка. Все укатили из Лысохи, и ее звали — племянник звал, племянница. Нет, помирать буду, а не поеду. И вот живут-маются два дурака на кладбище (а как иначе назовешь нынешнюю Лысоху?) — он, калека, да она, старуха.

— Чего у тебя с полом-то? — закричал Аркадий

еще в дверях и в следующую секунду едва не растянулся: так и взыграла под ногой половица. — Пляшешь ты, что ли, тут одна?

— Ладно, не зубань, к лешакам, а делай, раз пришел!

Вот так, такая вот у него соседушка. Считай за счастье, что тебе в ейном старье разрешают поковыряться.

А поковыряться пришлось основательно. Половая балка возле порога от сырости сопрела (у Орефьевны вечно помои под тазом), и пришлось набивать на нее сосновую подушку да метра на два половицу менять, тоже выгнила.

— Ехала бы лучше к племяшу, чем в эдаком-то мышовнике жить! — сгоряча запустил Аркадий в старуху, когда забил последний гвоздь, потому что страсть как употел: печь натоплена, окошко на запоре — нечем дышать.

Орефьевна в долгу не осталась:

— Пошто я из дому-то своего поеду? Я ведь не Гелька, меня из дому не выгонишь.

— Да ты рехнулась?! Когда это я Гельку-то из дому гнал?

— Кабы не гнал, дак не бежала бы девка без оглядки.

И пошла, и пошла пушить. В общем, в каталаж-

ку сажать надо. Зверь, изверг, девку никогда не жалел…

Аркадий поначалу только отмахивался, а потом мало-помалу начал и сам заводиться, а под конец и вовсе в раж вошел:

— Ты завсегда так, завсегда на моих нервах играешь. Не жалел… А помнишь, как о третьем годе сюда отец ейный приезжал?

…Шумилов нагрянул середи бела дня в черной лакированной машине — нарочно за рекой на самое видное место поставил. И сам разодет как на свадьбу: в галстуке, в шляпе, духами надушен. А он тоже надушен духами, только коровьими (как раз в то время в хлеву навоз отметывал, тогда еще корова у них была), небритый, пиджачонко замусоленный, заплата на заплате…

Фаина прибежала:

— Гелькин отец приехал, иди скорее в кладовку переоденься, я костюм тебе вынесла.

И он потрусил было в кладовку, а потом: чего это ему стыдиться, что работал?

Шумилова он до этого не видал и Тоню, бывало, никогда не терзал расспросами (крестовина на прошлом!), а тут глянул — всю кухню собой загородил — и сразу понял: такой кому хошь голову задурит.

Шумилов времени на разговоры не терял. Начал по-деловому, как у себя в конторе:

— Вот, товарищ Лысохин, приехал за дочерью. Пора, думаю, ей начинать новый этап.

— А это уж как она сама. У нас свобода, — сказал Аркадий.

А Фаина, та в слезы: никак не ожидала такого поворота. Да ежели правду сказать, его и самого потом прошибло. Потому что что же это такое? Жили-жили всю жизнь вместе, и вдруг — не твоя девка.

Меж тем в избу вошла сама Гелька. С сестрами за черникой за реку ходили.

— Папа, папа, на той стороне чья-то машина стоит… — И вдруг осеклась, увидав родного отца. Аркадий, собравшись с силами, сказал:

— Вот, Ангелина, отец за тобой приехал…

— Да, дочка, пора тебе вернуться к родному отцу, — сказал Шумилов.

— Нету у меня другого отца, кроме папы, а папу моего зовут Аркадий Васильевич Лысохин, и я его дочь. — Отчеканила так, как будто загодя выучила. А кто его знает, может, и выучила: знала ведь, что у нее родной отец есть, этого в семье не скрывали.

Шумилов такого, конечно, не ожидал (он думал,

на колени упадет Гелька от радости), Шумилов страшно побледнел (так же, между прочим, бледнеет и Гелька) и уже заговорил тоном пониже:

— Это правильно, конечно, дочка, Аркадий Васильевич много для тебя сделал, можно сказать, второй отец, но понимаешь, какое дело…

— Нечего мне понимать, — опять отрезала Геля, — у меня есть папа, а другого отца мне не надо, — и только и видели ее: хлопнула дверью.

Шумилов — эдакий разодетый, раздушенный туз, эдакий кедр под самый потолок, и что перед ним он? Да еще в этом парадном костюмчике, отутюженном коровой. А вот Гелька ни минуты, ни секунды не раздумывала: мой папа — и баста! Никакого другого не хочу.

Да, радость переполняла Аркадия, хлестала через край. Даже в тот день, когда он сам на своих ногах приковылял к Тоне в Радово, кажется, в тот день он не был так счастлив, как сейчас.

Но он увидел поникшего, красного от стыда Шумилова, привыкшего всю жизнь подавать команды, и примиряюще сказал:

— Ты уж извини, товарищ Шумилов, что так получилось… Может, поумнеет еще… Может, и к тебе повернется лицом…

6

На небе, пока он возился с полом у Орефьевны и переругивался с нею, появились льняные начесы, и у Аркадия по-крестьянски взыграло сердце: авось натянет дождя. Но к радости сразу же прибавилась и тревога: догадается ли Фаина сложить сено в стог? Фаина не Гелька. Это та глянула-зыркнула вверх и сразу все поняла, а Фаина в лесном поселке выросла — откуда ей в крестьянской грамоте разбираться?

Аркадий вывел своего коня из сарая — старый, много лет служивший велик — и покатил на пожню.

Луга у них начинаются сразу за деревней, вверх по реке, а это значит, что ему, живущему в нижнем конце, надо проехать через всю деревню, а вернее сказать, через деревенское кладбище.

Была, была Лысоха, одно время даже колхозную контору имела (тридцать пять домов своих да двадцать семь в соседнем Радове — чем не колхоз?), а в войну и после войны сколько мяса, сколько молока давала государству! А потом начали мудрить, начали укрупнять да разукрупнять — люди дай бог ноги: кто в леспромхоз, кто в город, кто куда, а потом уж и совсем черт-те

что — неперспективкой объявили.

Четыреста годов перспективкой была, четыреста годов Лысоха здравствовала (Аркадий сам это вычитал в одной книжонке, когда в больнице лежал) — и вдруг команда: сматывай удочки, вытряхивайся из своего дома. Да, скот перегнали в Горки, школу прикрыли, лавку прикрыли — как жить?

Аркадий восстал. Аркадий, самый худявый мужичонка в Лысохе (в смысле здоровья, конечно), уперся ногами и руками: не брошу родную деревню, сдохну, а с места не сдвинусь. И первой опорой его, первой помощницей в борьбе за родную Лысоху — они так и выражались иной раз, чтобы пожарче раскочегарить себя, — была Гелька. К примеру, тот же ларек. Как жить без хлеба? Не будешь же каждый день ездить за семь верст в Горки. «Ничего, папа, наши отцы-матери пекли сами, и мы печь будем». И пекли. Фаина по этой части всем специалистам специалист.

А кино взять. Ведь у всех этих районных прижимщиков, которые Лысоху подвели под монастырь, какой главный козырь? Культура. Дескать, малым деревням культуры дать не можем. Кино, телек там и все такое. «Будет у нас, папа, кино, — сказала Гелька. — Добьемся». И добились.

Написали в район, написали в область — разрешили пользоваться старыми кинокартинами. И Гелька еще три дня назад крутила «Чапаева» (специально в школе выучила киношное дело). Крутила в клубе, хотя, конечно, для ихней семьи да для Орефьевны можно было и не открывать клуб. Но разве Гелька согласилась бы такое важное мероприятие (тоже ейное словечко!) у себя в доме проводить?

Клуб в Лысохе, неказистый четырехстенок с сенцами, поставлен каких-нибудь двенадцать лет назад, еще при жизни Тони, и это была единственная во всей деревне постройка, не считая, конечно, дома самого Аркадия и Орефьевны, которая сохранилась в целости. А все остальные…

Большая ли эта радость — разглядывать рот у старой старухи? Ни единого здорового зуба. Одни старые коренья торчат. Так вот такая сейчас была и Лысоха. Все мало-мальски годявые дома увезены. Одни в Горки, другие в райцентр, третьи еще куда-то. А осталось старье да гнилье, заросшее буйным ельником крапивы.

И Аркадий ехал по деревне, сцепив зубы, не глядя по сторонам. А за деревней для него началась новая пытка — луга.

Раньше сена у них на этих лугах было невпро-

ворот. Свой скот кормили и еще в Горки всю зиму возили. А сейчас что? Стожок там, стожок тут — пожни подменили, что ли?

Нет, «передовой» метод уборки, так сказать, по последнему слову науки делают. Середину у луга выстригут, а в кулиги, в кусты, в залузья (а там главные сена) и не заглядывают. Вот вам и результаты — два-три стожка на всем лугу.

Участок Аркадию выделили неблизко — за четыре километра от деревни, за Фалькиным ручьем, который и пехом-то не скоро возьмешь (завалило ольшаником), а с велосипедом он и подавно намаялся.

На пожню выбрался весь мокрый, от пота глаза ослепли, а когда огляделся вокруг — где Фаина, где девки? Шесть копешек, шесть грибков свежего сена на выкошенной пожне, ветерок слегка треплет сухое, еще не улежавшееся сенцо (может, и в самом деле соберется дождь), а куда девались сами сеноставы?

— Эге-гей! Давай сюда!

Он кричал, сложив руки трубой, в одну сторону, кричал в другую, в третью — никто не отозвался.

Все понятно, со вздохом сказал себе Аркадий, укатили домой. И укатили берегом, потому и не встретил по дороге. Да, девки приступили: мама,

пойдем рекой, хоть выкупаемся; а мама и растаяла: любит, когда его дочери называют мамой.

Аркадий в нерешительности поднял глаза к небу. Льняные начесы не стали гуще. И вообще мало похоже, что из них родится дождь. А с другой стороны, кто может наверняка сказать, что на уме у бога?

Больная нога ныла. От усталости? От предчувствия погоды?

Нет, нельзя до завтрашнего дня оставлять сено в копнах. Всякое может быть. И он, отвязав от багажника велосипеда топор, пошел рубить стожары.

7

Какая это работа для здорового мужика — шесть копешек сухого сена скидать в стог? Не работа, а разминка. А он проваландался целых четыре часа. Разломило больную ногу, криком кричит: не могу. Да и с головой что-то неладно сделалось — сколько раз прикладывал ко лбу мокрую тряпицу.

В общем, он выехал домой, когда уж вечерело, и на душе у него было слякотно.

Нет, нет, без Гельки ему не воевать за Лысоху. Силенка-то, правда, кое-какая еще есть, весной в

районной больнице авторитетно сказали: можно жить, ежели режим выдерживать. А кто костер в нем будет раздувать? Фаина да девки и раньше-то в сторону Горок поглядывали — надоело жить в глуши, без людей, без электричества, — а теперь, когда Гельки нет, с утра до ночи будут зудить: папа, поедем в Горки… Папа, поедем в Горки…

Гелькой, Гелькой он держался. И не только летом, а и зимой. Зимой из Горок на выходной прибежит — как солнце, как весна ворвется в избу. На всю неделю заряд. Да и летом — что за жизнь без Гельки? Кто съездит за газетами в Горки! А Гелька взяла за правило: ни дня без свежих газет! И вот дождь ли, ветер, устала, нет, хочется не хочется — поехала. В лодку села, мотор завела — «вперед за политикой!».

Кое-как дотащившись до старых полевых ворот, за которыми начиналась деревня, Аркадий слез с велосипеда: отказывается работать больная нога. Да надо и успокоиться. Нельзя в таком вот разобранном виде заявляться домой, когда там и без него вой стоит.

Привалившись спиной к одному из столбов, оставшихся от порушенных ворот, Аркадий попробовал было представить свою жизнь без Гельки (надо же в конце-то концов трезво взгля-

нуть на дело) и сразу же сплюнул. Ничего не получалось без Гельки. Трех дочерей нарожал, три дочери родные по крови, по плоти, а разве они заменят Гельку? Кто из них хоть раз по-настоящему согрел отцовское сердце?

В деревне темнота стала заметно гуще — похоже, и в самом деле собирается дождь, — и он набил же себе шишек! Деревни нет, домов нет, изгородь давно пропала, а он на каждый кол, на каждую жердину натыкался. Наконец он выбрался из мрака, глаза укололи хрупкие золотые лучики, которые венчиком разбегались от лампешки в кухне, подъехал к крыльцу.

Что такое? Музыка в доме?

Девки на всю катушку врубили приемник. Этим все равно. У этих душа ни о чем не болит — было бы только весело…

Закипая от злости, Аркадий начал заталкивать велосипед в угол между крыльцом и стеной кухни (не хотелось тащиться в сарай), и вдруг ему почудилось, что в незанавешенном окне мелькнуло Гелькино лицо.

Какое-то время он стоял с закрытыми глазами (сердце подкатило к самому горлу — не дыхнуть), затем выпустил из рук все еще теплое железо руля и подошел к окошку.

Кухня ходила ходуном — от музыки, от скачущих, обезумевших от радости девок, Фаина и Орефьевна тоже не аллилуйю пели, но он в эти минуты видел только одну ее, Гельку. Гелька улыбалась. Улыбалась мачехе и Орефьевне, улыбалась тормошившим ее сестрам, но черный-то глаз ее, настороженно, по-птичьи скошенный к входной двери, не улыбался. «Меня ждет», — догадался Аркадий.

За домом отчаянно заливался пес — не иначе как выяснял свои отношения с новой кошкой Орефьевны, — по-прежнему грохотал в доме приемник, а он, обхватив голову руками, сидел на скамейке под окном, на которой любил вечерком выкурить сигаретку, и мысленно говорил себе: боже мой, боже мой, какой же ты все-таки остолоп! Гелька не вернется, Гелька уехала насовсем… Да как ты мог так худо подумать о девке? Гельку, самого близкого человека, не знал… Дак что же ты вообще-то знаешь-понимаешь?..

Наконец он встал, выбрался из своего укрытия, поднялся на крыльцо и опять задумался. Задумался над тем, как войти в свой собственный дом.

1970–1981

Есть, есть такое лекарство!

Избушечка у бабы Мани — бывшая банька, единственная в деревне постройка, которая уцелела от войны, при ней огородик величиной с волейбольную площадку, а деревьев всего одна береза, да и та инвалид Отечественной войны — будто культяпки, подняла к небу сухую развилку, обрубленную снарядом. Но любит, обожает птичий народ бабы Манину усадебку. Горластые воробьи-забияки разживаются на ней с утра до ночи, белобокие сороки запросто, как на качелях, качаются на березе, вороны, голуби справляют свои свадьбы. А у кого весной первую песню поет красавец скворец? У бабы Мани. На березе-инвалиде, к которой она еще в тот день, когда вместе с земляками вышла из партизанских лесов, приладила немудреную, наспех сколоченную скворечню.

Соседям это было в диво. У них-то скворчиные дома — терема резные на шестах. И со всеми удобствами: тут тебе и леток с хитроумными дверками, тут тебе и полочка, и ветка березовая — садись куда хочешь да пой свои песни.

А вот не рвутся скворцы в эти терема. Весной

целыми днями за бабы Манину развалюху воюют, и только после окончательного дележа какой-нибудь неудачник поселялся в теремах.

— Баба Маня, — допытывались соседи, — скажи нам свое птичье слово, которым скворчишек к себе приманиваешь.

— Да какое у меня птичье слово? Никакого птичьего слова я не знаю. Разве иной раз от скуки выйдешь да поговоришь с ними. Вот и все мое птичье слово.

В ту весну баба Маня решила немножко подновить свою скворечню, а то, чего доброго, рассердятся скворушки — к соседям улетят. Всякая божья тварь любит заботу о себе.

В теплый солнечный день она вышла из дома, протоптала в снегу тропку к березе-инвалиду, затем принесла лесенку, приставила ее к стволу дерева.

Старенькая, дряхлая была баба Маня. На первые три поперечины кое-как поднялась, а дальше — голова закружилась — свалилась в снег.

Какое-то время она лежала в снегу без сознания, а потом слетелись на березу воробьи и давай кричать всем скопом:

— Вставай, вставай, баба Маня! А то простудишься.

Баба Маня встала. Встала, с трудом добралась до дома и слегла: у нее началось двустороннее воспаление легких.

Больше месяца не поднималась с постели баба Маня, и врачи не сомневались: умрет старуха. Нет на свете такого лекарства, чтобы старого человека воскресить из мертвых.

Есть, есть такое лекарство!

Его бабе Мане принесли скворцы.

Однажды ранним утром пришла в себя баба Маня — и что такое? Кто стуком стучит во все окошечки ее убогой лачужки?

Она подняла от подушки старую голову — и, боже ты мой: скворушки! Ее любимыши. Стучат, колотятся желтыми клювиками в рамы, бьют воронеными крылышками в стекло:

— Вставай, вставай, баба Маня! Мы тебе здоровье принесли.

Баба Маня от бессилия уронила голову на подушку, заплакала:

— Нет, нет, не могу, ребята. Мне уж не подняться, не встретить вас больше.

— Да как не встретить! Кто сказал, что у тебя сил нет?

Баба Маня сделала над собой немыслимое усилие и поднялась. Не могла она умереть, не по-

смотрев последний раз на свою любимую птицу.

Хватаясь руками за стены, за косяки дверей, она выползла на улицу, на теплое солнышко, оперлась на легкий, побелевший от старости, как она сама, батожок и долго так стояла с закрытыми глазами, с наслаждением вслушиваясь в весеннюю песню скворцов.

С этого дня баба Маня пошла на поправку.

1983

Трава-мурава (избранное)

Хóжу я по травке, хóжу по муравке.

Мне по этой травке ходить

не находиться,

Гулять не нагуляться…

Из народной песни

– Травка-муравка что, не знаешь? Да чего знать-то? Глянь под ноги-то. На травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек, да и тот наполовину ощипан – это уж как бог даст.

Из разговора

I
Памятник

Старая Пахомовна тяжело заболела. Съехались дети, стали утешать, успокаивать: поправишься, мама, а не поправишься, мы такой тебе памятник отгрохаем, какого в нашей деревне еще не видали.

— Нет, ребята, никаких памятников не ставьте, а положите мне на могилу плуг.

— Плуг?

— Плуг. В городах на памятниках про все заслуги покойника пишут, а у меня заслуга одна — плуг. После войны мне в колхозе именной плуг присвоили за то, что я двадцать пять лет бессменно за плугом выходила. А когда я по старости не замогла ходить за плугом, мне тот плуг домой привезли, за сарай поставили. Там он и сейчас стоит.

За сараем, однако, плуга не оказалось.

Дети думали-думали, как быть, и в конце концов привезли от колхозной кузницы какой-то старый, бросовый, порядком проржавевший плуг. Привезли и поставили перед окошком.

Так, глядя в окошко на этот плуг, и отошла старая Пахомовна.

Вкус победы

— Я долго, до восьми лет, хлеб победой называла.

Как сейчас, помню. Бегаем, играем с девочешками возле нашего дома, и вдруг: «Санко, Санко приехал!» А Санко — старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке.

Солдат. Медали во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит. А потом и говорит: «Я, говорит, Победу вам, девки, привез».

А мы, малоросия, что понимаем? Вылупили на него глаза как баран на ворота. Нам бы Победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло.

Ну, догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. «Вот, говорит, девки, так Победа-то выглядит». Да давай эту буханку на всех резать.

Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха да картошки, а я в слезы: «Победы хочу…»

Самая высокая награда

В Доме культуры известного на всю область совхоза — вечер встречи тружеников села с писателями.

Секретарь парткома, приветствуя гостей, по обыкновению рассказывает о трудовых подвигах, о лучших людях совхоза и с особой гордостью говорит о четырех сестрах-свинарках.

— Эта наша славная династия свинарок уже много лет занимает передовые рубежи в соцсоревновании. Три сестры отмечены высокими правительственными наградами. У Анны Клементьевны орден Трудового Красного Знамени (аплодисменты в зале), у Марии Клементьевны орден Октябрьской Революции (аплодисменты в зале), а у Валентины Клементьевны, самой младшей из сестер, орден Ленина. И будем надеяться, это не предел (аплодисменты в зале).

Секретарь на какое-то мгновение умолк, затем смущенно пожал плечами.

— Ну а что касается самой старшей сестры — Матрены Клементьевны, то она никаких орденов и медалей не имеет, потому как в те времена у нас был еще колхоз…

Неловкая пауза.

— Но, товарищи, — звонко, с энтузиазмом воскликнул секретарь, — Матрена Клементьевна, я считаю, награждена у нас самой высокой наградой — любовью народной и народным уважением.

Зал взрывается ликующими аплодисментами.

Сказка

Идем с Марьей Ивановной по Волоку. Деревенька (с детства знаю) за эти годы изрядно потускнела — ни единой новой постройки, но молодняка полно — рослого, волосатого, разодетого по последней моде.

— Отпускники? — спрашиваю.

— А всякие есть. Есть и отпускники, и из города, и свои, деревенские тунеядцы. Страда, бывало, об эту пору стар и мал на пожне, а тут стадо жеребцов да кобыл целыми днями по деревне шатается. Не знаю, не знаю, что за времена настали. Мне, старому человеку, хуже смерти это видеть, ей-богу.

Так, за разговором, мы с Марьей Ивановной дошли до верхнего конца, и тут вдруг замечаю: суровое, мрачное лицо старухи светлеет. Да и я

сам, глянув вниз, под гору, на пожню, начинаю улыбаться. Ибо то, что я увидел там, походило на позабытую сказку из 30–40-х годов. Низенький, утоптавшийся старик с косой, а за ним пять ребятишек. И все с косками — так и сверкают на солнце лезвия.

— Егор Васильевич со своими внуками. Мать у ребят три года назад умерла, самому старшему десять было, а самой малой — четыре. И отца нету — еще раньше матери себя нарушил. Спился. Как жить? Ну, ноне не старое время — детдома есть. Власти сами приехали за ребятами. А старший и говорит деду:

«Дедушко, говорит, не отдавай нас в детдом, мы потом тебя не забудем».

«Да как же в детдом не отдавать вас? Много ли дедушко с бабушкой получают — по двадцать рублей пензия. Разве нам прожить, дитятко, всемером на сорок рублей?»

А Толька — Анатолием старшего-то зовут — все уж подсчитал:

«За нас, говорит, дедушко, государство деньги платить будет (не знаю сколько, чуть ли не восемьдесят рублей за пятерых-то получают). Да мы, говорит (это Минька-то), будем прирабатывать».

И вот прирабатывают. Кажное лето с дедом на

покос выходят. Весь день с утра до вечера косешками размахивают. И я кажный день хожу сюда, на их радоваться. Да, слаще мне всякой еды, всякого питья видеть вот такие виды. Сама, бывало, семи лет косу в руки взяла и люблю, когда люди работают.

Ну эти дети, — Марья Ивановна кивнула под гору, — вообще наособицу. Не знаю, откуда такие-то и берутся. Работящие — это уж ясно, не на кого надеяться. Да ведь они еще гордые. Да, такие гордецы, что я не знаю, как и сказать.

Пошли в школу. После смерти матери. Ну власти им облегченье: не платить за питанье. В интернат на все готовенькое. Дак что ты думаешь? Отказались.

«Дедушко, говорят, ты дай нам хоть сколько-нибудь денег. Хоть по десять копеек на брата (тридцать копеек стоит питанье в школе), а то нам стыдно не платить-то».

Дед только руками развел:

«Да какой стыд! Вы ведь сироты. А сиротам век подают».

«Нет, не хотим быть сиротами. Хотим, как все».

И вот настояли. Дед по десять копеек платит.

1981

Мартынов туес

Мартыну — девяносто пять лет. Но еще баню строит.

Племянник просит:

— Дядя, сделай-ко мне туес тисненый.

Сутки сидел, думал. Сперва узоры вырезал, печати сделал. (На каждый рисунок вырезается из вереска печатка. И той печаткой отбивается узор на бересте, на туесе.) Туес сделал с узорами от верха до донышка.

— Дядя, что это за узоры?

— Это, сверху, северное сияние. А дальше планеты и звезды, а дальше земля и леса. Тетеры сидят, и полет гусей. А совсем внизу ягоды, и олени бегут. А в лесу-то охотники, тетеру бьют. А рядом-то медведи.

В одном туесе вся вселенная. Весь мир северного крестьянина на одном туесе.

А как выбирает дерево для туеса.

Два дня искали березу. Наконец кричит:

— Федюха, смотри-ко… Двести лет росла, да молодой осталась. Такую потом хоть об угол хвощи — все равно сто лет простоит.

Искал такую березу, чтобы была не суховата, да

не суковата, да не слоевата. Чтобы сук не был и полусук не был.

Расчищенный заулок

Хозяина, бывало, узнаешь по расчищенному заулку. У бедняка, как правило, от крыльца до дороги — вброд.

А у настоящего крестьянина — засмотришься. Особенно у Ивана Гавриловича. Сам разгребет, да еще дочери с метлами пройдутся.

Иван Гаврилович приговаривал:

— На молитву да красоту время не жалейте.

II
Хлебная корка

Матрена Васильевна вконец измаялась с сыном. Жизни не рада стала. Пьет, по неделям нигде не работает (корми, мать, на свою колхозную пенсию сорокалетнего мужика!), да еще постоянно пьяные скандалы дома, так что обе дочери уже два года не ездят к матери. Наотрез сказали: либо мы, либо он. Выбирай!

И то же самое ей говорили соседки. Что ты, Матреха! До каких пор будешь мучиться? Гони ты его, дьявола, раз в ем ничего человеческого нету.

И Матрена Васильевна соглашалась и с дочерьми, и с соседками. И иной раз, доведенная до полного отчаяния, она уж готова была бежать в сельсовет (председатель давно сказал: заберем, дай только сигнал!), потом вдруг вспомнит войну — и пропала решимость: в войну ее да девок, можно сказать, Пашка от голодной смерти спас.

У Пашки долго, до пяти лет, не поворачивался язык на слово (и теперь немтуном ругают), и вот за это-то, видно, его и жалела Анна, сельповская пекариха: два года подкармливала ребенка. Все

какой-нибудь хлебный мякиш или корку сунет: они-то забыли, как и хлеб настоящий пахнет.

И вот что бы сделал всякий ребенок на месте Пашки с этим мякишем, с этой коркой? В рот, в брюхо скорей — там собаки от голода воют.

А Пашка ни крошки не съест один. До самого вечера терпит, до тех пор, пока мать с работы не вернется. Да мало того: этот мякиш, эту корку разделит на четыре части.

— Что ты, Пашка, сам-то ешь да девок угости. А я-то не маленькая.

Не будет есть. До тех пор не будет, пока мать не съест свое. Плачет да ручонкой тычет (слова-то выговорить не может): ешь, ешь.

И вот через эту-то Пашкину доброту, может, они все и спаслись в войну. Так как же ей гнать его из дома?

Слово помогло

У Павлы Северьяновны утренний аврал: полдевятого, через полчаса за прилавок в белом халате вставать (в ларьке торгует), а у нее вся кухня дыбом, и сама еще не одета.

— С отцом сегодня долго проканителилась, — оправдывается она. — Вчера, вишь, зарплату

давали, часы на улице потерял — искала, да самого по частям складывала, по всей деревне опохмелку разыскивала — тоже время надо.

— А дочери?

— А дочери еще спят. Не смею будить-то. Не свои, живо люди оговорят. — Северьяновна вышла за вдовца, у которого, кроме старшего сына, живущего отдельно, своим домом, были еще две дочери, две крупнотелые девицы-школьницы.

Я рассвирепел. Я в такую работу взял ее (осточертела эта нынешняя возня с деточками!), что забыл даже про стамеску, за которой приходил. Вспомнил, когда уже из заулка выбегал.

Дней через десять встречаю Северьяновну на улице — цветет.

— Ты заговорил у меня девок-то, что ли? Ведь они как шелковы стали. Я нахвалиться не могу.

— Вот и ладно.

— Да уж чего лучше. Ты выбежал тогда от нас, дверями хлопнул, они заглядывают с другой половины: «Чего это, мама, писатель-то психует?» Так и сказали — что будешь врать. Меня, говорю, ругал. За то ругал, что с вами распустилась. И вот — чудо. На обед прихожу, у меня все дома прибрано, намыто, чайник горячий на столе меня дожидается. А назавтра-то утром встала — они

обе у меня на ногах: «Мама, что нам делать?» Подменил, подменил ты у меня девок.

Родничок

Кто сегодня поет старинные русские песни? Старые деревенские старухи да участники всевозможных самодеятельных коллективов.

А тут на сцену — был смотр художественной самодеятельности Северо-Запада — вышел нестеровский отрок, ясноглазый, светлоголовый, в белой расшитой рубашке с вязаным пояском, и давай петь одну за другой полузабытые старинные песни.

Голос у Васи Назымова — так звали полюбившегося всем паренька — был несильный, но чистоты удивительной — казалось, полевой жаворонок вдруг запел под высокими сводами зала.

В перерыв Васю Назымова обступили со всех сторон. Кто? Откуда? Как пришел к народной песне? У кого учился?

И так же просто и скромно, как пел, Вася Назымов отвечал: киномеханик с Мезени. Живу в родной деревне. Петь научился у бабушки, возле которой рос с братом.

Васю Назымова пригласили петь сразу три

известных народных хора. Но он отказался.

— Не, — сказал Вася, — к себе на Мезень поеду. Я Мезень люблю.

И уехал.

Через год я специально навел справки: где Вася Назымов?

На своей Мезени. Все так же работает киномехаником и поет в сельском хоре.

Надежда и страх

Старуха долго болела и однажды почувствовала, что не сегодня завтра умрет.

Небывалая радость охватила ее, но и страх. Радость оттого, что скоро в загробном мире — старуха была верующая — встретится с мужем, которого сорок лет назад молодым убили на войне, а страх оттого, что как встретит ее муж? Признает ли? Не отвернется ли он, молодой, от нее, старухи?

И старуха приказала дочери:

— В амбаре платье красное на дне лукошка лежит, как умру — в него оденьте.

— Что ты, мама, разве старух обряжают в красные платья?

— Ничего, с отцом там встречусь, может, так не признает — вся высохла да остарела, дак хоть по платью признает. Я в этом платье в день нашей свадьбы была. Все голодовки, все ужасти пережила, а его не продала.

1981

Когда с Богом на «ты»

Поля Манухина привела к своей бабушке жениха, учителя средней школы, знакомиться.

Бабушка приняла жениха любимой внучки с открытой душой, по всем правилам северного гостеприимства. Все, что в доме есть, даже бутылочку, на стол выставила. Одно не понравилось Поле: бабушка с первых же слов стала называть жениха на «ты». Поля терпела-терпела да и решилась наконец.

— Бабушка, Виктор Викторович, — она нарочно назвала жениха по имени и отчеству, чтобы посильнее пронять бабушку, — из города, а в городе не принято людей с первого раза называть на «ты».

— Ничего, — ответила бабушка, — стерпит. Я с малых лет с самим господом богом разговариваю на «ты», дак уж с человеком-то, думаю, можно.

III
Пляс с ладошки

— Хор Пятницкого… Ансамбль… Игорь Моисеев… А скакуны против бывалошного, вот что я тебе скажу, блохи на двух ногах. Могут они с ладошки девку в пляс пустить?

— Как это с ладошки?

— А вот так. Соревнованье. Кто кого. Кто позаковыристей да поинтересней гвоздь забьет. Микша Ряхин забил.

Подзывает это Маньку Егора Павловича, та уж всяко в девки выходила, раз на гулянье пришла. «А ну-ко, Маня, встань ко мне на ладонь (понятно, ладонь была подходяща) да сойди в пляс с ладошки».

Сошла. А ежели не веришь, поезжай к нам в деревню — она еще жива, Манька-то.

Стройное место

Красоту ландшафта на Руси создавали веками. Для деревни, для монастыря и церкви специально выбирали места, а если не находилось подхо-

дящего стройного места (название-то какое!), делали сами. Так был насыпан в свое время холм для церкви в селе Бронницы на Новгородчине. И затраты окупились. Красиво, как невеста непорочная, стоит на зеленом возвышении церковь. Один вид ее вызывает прилив сил. А что должен был испытывать верующий человек, поднимаясь на холм!

— А как на небо восходили, — рассказывает ветхая старушонка, с ввалившимся ртом, с клюкой в руках. — Голубушка наша нерукотворная. Николай Чудотворец гору насыпал. Один але с анделами со своима. Так отцы наши сказывали. Так и зовется: Николай Чудотворец. Раньше и вода на горе была. Взойдешь да лицо обмоешь — как заново на свет родишься, как глаза прорежутся. Так вся божья красота и откроется тебе.

На страду с того света

Который уже раз снится все один и тот же сон: с того света возвращается брат Михаил. Возвращается в страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой сена.

Это невероятно, невероятно даже во сне, и я даже во сне удивляюсь:

— Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как земля стоит, еще никто не возвращался.

— Худо просят. А ежели хорошенько попросить, отпустят.

И я верю брату. У него был особый дар на ласковое слово. Да и сено для него, мученика послевоенного лихолетья, было — все. Ведь он и умер-то оттого, что, вернувшись по весне из больницы, отправился трушничать, то есть собирать по оттаявшим дорогам сенную труху, и простудился.

Откуда в дом пришло счастье

Соня Алымова и Генка Коршин поженились по любви: в школе еще дружили.

Родители, не чаявшие души в детях, отгрохали молодым новый дом: живите да радуйтесь.

Но совместная жизнь у Сони и Генки не сложилась, и они, не прожив в новом доме и двух месяцев, разлетелись по родительским гнездам.

Семейное счастье увидел новый дом лишь через год.

— Поумнели немножко, вот и зажили, как люди, — говорила Анна Исаевна, мать Сони.

А старая бабка, та давала свое объяснение:

— Ленинградцы в дом счастье принесли.

— Это те, туристы-то, что ли?

— Ну.

— Да, да, — вся оживилась Анна Петровна, — жили у нас летом туристы. Приехали за тысячу верст, а сами как на прогулку вышли: с рюкзачками за спинкой, в одних рубашках. Даже худенького пиджачонка у парня-то нету. Ко мне обращается: у вас, говорят, дом пустует, нельзя ли нам две недельки пожить? Живите, говорю.

Да они в дом-то зашли, да дом-то у нас взыграл. Ей-богу, сколько месяцев стоял, как покойник с занавешенными окошками, а тут… ну просто улыбается, как человек. Всеми окошками улыбается.

И Анна Петровна, подумав, заключила:

— Кто знает, бабка, может, ты и права. Может, те туристы в дом счастье принесли. Недаром у людей-то сказано: счастье на счастье настраивает.

IV
Мать и сын

Матери — девяносто пятый, сыну — семьдесят шестой.

— Опять ты, парень, пьяный. Когда только и образумишься.

— Какой я тебе парень? Старик я, помирать надо.

— Не заговаривай, не заговаривай зубы-то. Знаю, что у тебя на уме. Это ведь ты к моей пензии опять подбираешься.

1981

Колькина любовь

На пятнадцать лет Тонька старше Николая. Все думали — быстро разойдутся.

Мужики спрашивают Кольку:

— Дак долго ли еще, Николай, будешь канителиться с Тонькой?

— А до тех пор, пока не прогонит.

— А мы думали, пока ты ее не прогонишь.

— Нет, я не прогоню. Что вы, мужики, я трид-

цать лет прожил и жизни не видел. С Тонькой только свет увидел.

Тонька — чистюля, пекариха — испечь, сварить, кто лучше? А Колька что видел? Гулящая мать. Всухомятку ел. Женился — жена больная.

Мужики по старинной привычке окликают Кольку, когда тот возвращается с работы:

— Николай, приворачивай.

— Нет, нет, мужики, я домой, домой…

— Да что дома-то делать?

— По Тоньке соскучился. Я ведь с утра, как ушел на работу, не видел ее…

V
Офимьин хлебец

— Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил — сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор с амвона пел: и возблагодариша господа нашего, единым хлебом накормиша нас… А про меня чего не поют? Я не раз, не два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом.

Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю: ох какой хорошенькой мошок! Чистенькой, беленькой. А дай-ко я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну мука! Крупчатка! В квашню засыпала, развела, назавтра замесила (мучки живой, ячменной горсть была), по сковородкам разлила — эх, красота!

Ладно. В обед, на пожне, достаю, ем — села на самое видное место. Женки глаза выпучили — глазами мои хлебы едят. «Офима, что это?» — «А это, говорю, мука пшенична моей выработки». Дала попробовать — эх, хорошо! «Где взяла? Где достала?» — «На болоте». Назавтре все моховиков напекли — ну не те. Скус не тот.

Опять: сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте — всю войну не знали горя. Уродило не уродило — мы сыты.

Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали? Тепере-ка клянут. У всех желудки больны. От Офимьиного хлебца, говорят. От моха.

Урок воспитания

Мясную проблему в Турье, маленькой, глухой деревеньке возле озерка, решали кто как мог: кто заводил у себя животину, кто расширял и укреплял контакты с ближайшими лесопунктами, которые в любое время снабжаются по первой категории, кто обращался в вегетарианскую веру, а кто и — Васька-туник, например, — обзавелся ружьем: сперва перебил в деревне и окрестностях птицу мира, благо ее за мирное время расплодилось немало, а потом принялся и за уток, которые с незапамятных времен гнездились в озерке.

Первым выстрелом Васька свалил сразу пять уток — кучно, безбоязненно утки жили, всей флотилией плавали, а второго сделать не успел, ибо в ту минуту, когда он перезаряжал свое старенькое ружьишко, как из-под земли вырос Ванька Каин, в прошлом году осужденный на пятилетнее за-

ключение, и придавил ногой дробовик.

— Раздевайся! — скомандовал.

— Зачем?

— Раздевайся, говорю, да лезь в озеро.

И что делать, полез Васька в озеро, потому как с Ванькой Каином шутки плохи: раз уже сидел за убийство, что ему стоит и второй раз кровь человеческую пустить.

— Ну а теперь крякай! — опять скомандовал Ванька.

Васька захлопал глазами.

— Крякай, говорю! Заместо уток крякай, которых убил. — И Ванька Каин взял в руки Васькино ружье.

Васька три часа сряду крякал да потом по команде того же Ваньки, весь посиневший от холода (в сентябре дело было), часа два охрипшим голосом кричал, взывая о помощи.

Но никто из земляков не откликнулся на призыв Васьки. Даже его жена не вышла из дому.

1981

Колдунья

— Евгения Васильевна, а вы знаете, что вас колдуньей люди зовут?

Евгения Васильевна, директор совхоза, молодо смеется — целый забор белых зубов вырастает во рту.

— Знаю. Это все с того женского дня пошло. Решили мы — я тогда еще управляющей отделения работала — праздник Восьмого марта отмечать. А как отмечать? Попросить, чтобы докладчика из района прислали? Нет, думаю. Я, человек закаленный, на докладах засыпаю, а придут доярки с коровника — уж их подавно укачает. Коллективный храп вместо праздника не годится. А дай-ка, говорю себе, я вечер исполнения желаний устрою…

«Марья Павловна, загадайте самое заветное желание, и мы его сейчас же исполним. Как в сказке».

Бабы ахают, дивятся потом, как я угадала, кто чего хочет. А чего дивиться-то? Так уж много мы, бабы, хотим? Незамужние — выйти замуж, у которой муж пьяница — чтобы перестал пить, мать — один-единственный сын, да и тот на стороне, сына поскорее увидеть. А еще чего?

Ну я тогда все-таки переборщила. Аксинью Подорину до обморока довела. Лучшая доярка в отделении, золото человек, а в последнее время начала прибаливать, да и прибаливать крепко,

и уж ей-то мне хотелось, как никому, радость доставить. А был у нее в армии сын — один-единственный, она мать-одиночка, и вот я в часть обратилась: так и так, дорогие товарищи, в день Восьмого марта хотела бы порадовать нашу лучшую доярку — нельзя ли отпустить сына на два-три дня.

И вот, когда дошла очередь до Аксиньи Подориной, я и брякаю на весь зал:

«Аксинья Яковлевна, скажите нам ваше самое-самое заветное желание на сегодня, и мы постараемся его исполнить».

«Нет, — машет рукой, — моего желания вам не исполнить. Не можете вы сыночка моего хоть на часик из армии прислать».

«Можем, — говорю опять на весь зал. — Будет вам сын. Музыка!»

И тут заиграла музыка, и на сцену строевым шагом выходит Иван, Аксиньин сын.

Я нарочно уговорила парня до вечера к матери не показываться.

В зале все только ахнули: чудо! Чудо, да и только. Ну а сама Аксинья Подорина в первом ряду сидела, руками всплеснула да так и хлопнулась на пол. Едва отводились.

1981

О чем думал Женька перед смертью

Женьку Ларичева, молодого механизатора, после работы зазвал к себе сосед, выставил на стол бутылку: пей!

— Это в честь чего же? — спросил Женька.

— А в честь храбрости. На Фалькин ручей поедем.

— На Фалькин? Да там, на этом ручье, как свет стоит, ни один трактор не бывал.

— А твой будет! Сено у меня там — перевезти надоть.

— Нет, — сказал Женька, — не поеду. Да и главный механик не разрешит.

— Брось: главный, главный!.. Скажи лучше, что струсил.

Запьяневшему парню (никогда до этого не пил стаканами) кровь бросилась в голову:

— Я струсил? Я струсил? Поехали!

И вот, как и следовало ожидать, авария. А значит — отберут права, позор, попреки матери.

Всю ночь промучился Женька на койке, ни на минуту не сомкнув глаз, а утром поднялся, сказал матери:

— Дай, мама, мне хорошее белье. Солдатское.

Переоделся, зашел в баню и повесился.

Нечего и говорить, какой ужас был в доме, когда нашли мертвым.

VI
Урок
(Рассказ старого рабочего)

— Выключатель у меня перегорел. Иду к управдому: так и так, авария дома небольшая. Пришлите рабочего. «Пиши заявление». — «Я неграмотный». Принципиально не захотел писать. Что это такое? По каждому пустяку бумажка. Ну заявление за меня написали — из уважения к годам.

Ладно. Назавтра жду. Утром нету, днем нету, является за пятнадцать минут до окончания работы. Молодой парень. Нынешняя, так сказать, рабочая смена.

— Чего у вас?

— Света нету. С выключателем, наверно, что-то не в порядке.

Потрогал выключатель, покрутил головой.

— Сегодня не успею. Работа тут немалая. Придется до завтрашнего дня подождать.

— А почему же, говорю, ты раньше-то не пришел?

— А раньше никак нельзя было. Раньше в других квартирах чинил…

— Значит, без света мне сидеть?

— Да уж так, — смеется.

— Посмотри-ка, говорю, на часы на стене. Сколько там накачало? Без десяти семь?

— Без десяти.

— Садись, — говорю.

Подал ему табуретку, сам снял пиджак, надел фартук, надел очки, раскрыл у него чемоданчик, взял отвертку. Починил за семь минут.

— Ну, — спрашиваю, — сколько надо времени, чтобы починить выключатель?

Ухмыляется:

— А зачем же вызывать, раз сами все умеете?

— А затем, говорю, чтобы на тебя, подлеца, посмотреть.

— Но-но…

— Без «но»! Сиди и слушай, что тебе говорят. Ты это почему же пришел ко мне без четверти семь, а не раньше? Чтобы бутылку с меня сорвать, да?

— Папаша, попрошу советского рабочего не оскорблять.

— Какой ты, к дьяволу, рабочий! Ты мерзавец, а не рабочий. Рабочий — это я. Потому что у меня совесть рабочая есть. Понятно тебе, что такое рабочий?

Тут работяга заговорил уже другим голосом:

— Дедушка, не сердись. Выпить-то кому не хочется, а где возьмешь денег? Семья. Жена песочит…

— Худо песочит! Вы спились, свиньи. В выходной день мертвые, в рабочий день еле ползаете. Докуда это будет?

В общем, преподал урок. Раскалил так, что сквозь землю провалишься.

Не провалился. Назавтра встречаю во дворе — на ногах не стоит.

Зарок блокадницы

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, о болезнях, которые косят людей, — что за жизнь? Что за век?

Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбнулась:

— После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил блокаду да войну.

План выполняем

Апрельское утро, на улице весна, солнце, от земли пар, а батареи в квартире раскалены — дышать нечем.

Звоню управдому:

— Что вы делаете?

— А ничего особенного. План выполняем по реализации топлива.

— А зимой, когда было холодно в квартире, как на улице, какой план выполняли?

Смеется:

— А зимой мы выполняем план по экономии топлива.

Завет отца

Илью Мироновича ценили и почитали на фабрике. Лучший столяр. По тем же стандартам работал, что и другие, но как все делал! Прочно, чисто, красиво. Глаз не оторвешь от его изделий. И потому продукция Мироновича до широкого покупателя не доходила. Ее скупали, что называется, на корню. На нее на самой фабрике была

очередь, список специальный даже был заведен.

Но вот пришел новый директор — и сразу же выговор Мироновичу за невыполнение плана.

Миронович подал заявление об уходе.

На фабрике поднялся чуть ли не бунт. Его упрашивали, уговаривали товарищи: дескать, не валяй дурака! Кто уходит с работы за восемь месяцев до пенсии?

Но старик был неумолим.

— Нет, — сказал он, — я так не могу работать. Мне еще отец говорил: «Не сколько сделал, а как сделал». И я этому завету следовал всю жизнь.

И ушел.

Как Нина вылечила сына от жестокости

Алешка рос жестоким смала. Отрывал крылышки у бабочек, подбивал камнями голубей, давил гусениц. Нина увещевала, совестила — бесполезно. И так было до тех пор, пока однажды Алешка не раздавил большого муравья.

— Что ты наделал?

— А что?

— Да ведь ты муравья погубил.

— Ну и что. Разве их мало?

— Дело не в количестве. А вот твою маму бы раздавили, как бы ты к этому отнесся?

— Так ведь то мама.

— А у муравья-то тоже есть дети. И представляешь, как они сейчас плачут, какое у них горе?

— Муравьи плачут?

— А как? Убили папу, их кормильца. И может, они сейчас где-то умирают от голоду.

— Муравьи от голоду?

— Неужели это неясно? Отец-муравей пошел за хлебом, за букашками, чтобы накормить деток, а ты его раздавил. Понимаешь, что будет теперь с ними? Они погибнут от голода.

— А мама?

— А мамы, может, у них нет. Мама, может, умерла еще раньше.

Алешку это потрясло (заревел).

— А как же теперь быть? Где их разыскать?

— Как же ты их разыщешь? Они не люди. Вот потому-то и надо хорошо относиться ко всяким букашкам, зверькам. Все они такие же живые существа, как ты. И всем им больно. И все они хотят есть. И у всех у них есть папы и мамы. А когда умирает папа или убивают его, умирают и они.

— А другие муравьи им не помогут?

— У них свои дети.

После молчания:

— Мама, что я наделал?

С тех пор Алешка — защитник и друг всего живого.

Если пожалеть птицу

У Ирины очень жаркая комната и окно всегда полураскрыто, даже зимой. И вот однажды утром, уходя на работу, она стала закрывать окно и вдруг увидела на подоконнике голубя — голубку, как оказалось впоследствии. Голубка была покалечена, у нее была вывихнута лапка.

Недолго раздумывая, Ирина схватила голубку и втянула в комнату, а затем поместила в корзину. Птица прожила у нее две недели. Лапка за это время поправилась, и однажды она улетела.

С тех пор прошло семь лет. Голубка состарилась, стала толстенькой, кургузой. Но каждый день благодарная птица прилетает к Ирине, садится на подоконник и часами смотрит в окно.

23 апреля 1975

Русь уходящая

Необыкновенная, сильная личность верующего человека. Работал всю жизнь над картиной «Русь уходящая», сделал очень много эскизов. Нуждался.

Однажды пришли к нему заключать договор — восемьдесят тысяч за картину предложили, но с условием: изобразить уходящую Русь так, чтобы она не вызывала симпатий у советского зрителя.

Корин ответил: не надо договора, не надо денег, я эту Русь уходящую любил и иначе изобразить не могу.

1 января 1979

Секрет врачевания

В Болгарии живет старик — лекарь. Лечит чуть ли не по глазам. Посмотрит в глаза, определит болезнь и дает совет.

Спрашивают старика, как он научился лекарскому искусству. Отвечает:

— Было мне сорок лет, болел чуть ли не всеми болезнями, врачи не помогали. Стал сам все

изучать, книги читал, народную, восточную медицину.

— Ну и в чем секрет врачевания?

— А все очень просто. Можете записать на одном ноготке.

1. Будьте чистыми в мыслях, желаниях.
2. Будьте чистыми в поступках.
3. Будьте чистыми в пище.